

*Под знаменем марксизма*

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

# ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

H. W. L.  
MAR 2 1927

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

## № 7—8

ИЮЛЬ—АВГУСТ



ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“  
МОСКВА—1926

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

**ПОД  
ЗНАМЕНЕМ  
МАРКСИЗМА**

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ  
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

**№ 7—8**

ИЮЛЬ — АВГУСТ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“  
МОСКВА—1926

ПРОДАЖА ВСЕХ СЛАН ГОДИНИКОВ

ПОД  
ЗНАМЕНЕМ  
МАРКСИЗМА

156155

### СОДЕРЖАНИЕ.

	Стр.
<i>И. Разумовский.</i> — Философская ревизия и вопросы права . . . . .	5
<i>А. Столяров.</i> — Философия «качества» и качество философии некоторых механистов (окончание) . . . . .	24
<i>Гр. Баммель.</i> — Макс Шелер, католицизм и рабочее движение . . . . .	47
<hr/>	
<i>Акад. В. Бегтерев и д-р Дубровский.</i> — Диалектический материализм и рефлексология . . . . .	69
<i>Ф. Дучинский.</i> — Дарвинизм, ламаркизм и неodarвинизм . . . . .	95
<i>В. Елоршин.</i> — К вопросу о политике марксизма в области естествознания . . . . .	123
<hr/>	
<i>А. Болотников.</i> — Социологическая доктрина Гумпловича . . . . .	125
<i>В. Борзенко.</i> — Крестьянство как класс в работах Маркса и Энгельса . . . . .	163
<i>Арк. А—и.</i> — К вопросу о социальных и классовых корнях учения и пропаганды Роберта Оуэна и его последователей . . . . .	182

### Библиография.

<i>В. Асмус.</i> — Спорные вопросы истории философии . . . . .	206
<i>Ник. Карев.</i> — 5-й Ленинский сборник . . . . .	225
<i>М. Левин.</i> — У. Г. Брэг. О природе вещей . . . . .	227
<i>Ф. Дучинский.</i> — Б. М. Завадовский. Дарвинизм и марксизм . . . . .	237
<i>М. Иовальсон.</i> — С. Ниринг и И. Фриман. Дипломатия доллара. Очерк об американском империализме . . . . .	235

## Философская ревизия и вопросы права.

*И. Разумовский.*

Дискуссия по основным вопросам марксистской философии, происходившая недавно в Москве, привлекла весьма широкое внимание. Горячие словопроения между диалектиками и механистами вызвали повышенный интерес не только у чистых философов, но и среди естественников, экономистов, историков, юристов. И в этом нет ничего удивительного. Протекавший как будто на весьма отвлеченные темы философский спор отнюдь не был, однако, «спором славян между собой», шумихой в мире философских абстракций, конфликтом тех или иных персональных самолюбий. Борьба жестокая и упорная велась за самое важное и основное в марксистской теории, одинаково важное и для естественников и для общественников в любой конкретной области—за чистоту и правильное понимание марксистского метода.

И весьма показательны здесь, что в пылу дискуссии ю «качествах», «формах», «особенном», «случайном» и т. д. вдруг как-то сами собой всплыли и вопросы общественной теории: вопросы права и нравственности. В этой «случайности» сказалась своя «необходимость», сказалась внутренняя логика всей системы методологических воззрений новейших ревизионистов. Отступление от марксистской диалектики в абстрактных вопросах метода должно было с особой силой отозваться в конкретнейшей области социальной теории...

В самом деле, в чем существо, в чем корень наших философских разногласий?

Если резюмировать вкратце основное содержание того методологического течения, которое представлял, вслед за Марксом и Энгельсом, Ленин, и которое старается сейчас продолжать его славные традиции, то этим основным содержанием, несомненно, является борьба за диалектику. Ленин во всю его широту поставил вопрос о методе, как о логической проблеме и этим

самым дал изумительно верное истолкование смущающим столь многих словам Энгельса об «учении о законах мышления, логике и диалектике», которые остаются после «упразднения» философии.

Важное подспорье при ее разрешении Ленин видел во внимательном изучении гегелевской «энциклопедии диалектики» (Энгельс), мира запечатленных им в логических категориях «форм движения». Не потому, разумеется, что Ленин мог хоть на минуту забыть о первородном идеалистическом грехе Гегеля, и, подобно Г. Лувачу, заменить исторический процесс процессом логического развития или «логическим развитием общей истины». Но Ленин прекрасно понимал, что в абстрактной и идеалистической форме у Гегеля, в силу целого ряда исторических условий, нашли свое выражение высшие достижения научной методологии, которые остались глубоко чуждыми сменившему идеалистическую философию грубому эмпиризму, релятивизму или механическому материализму. «Гегельянство» Ленина, при его исключительном внимании к развитию современного естествознания, при его постоянных призывах «учиться у опыта» крайне наивно было бы, — это делают сейчас некоторые по отношению к группе верных его заветам марксистов — объяснить каким-либо «схоластическим» уклоном, оторванностью от «точного» знания и т. д. Ленина пленяла изумительная выразительность гегелевских логических категорий, их диалектические взаимосвязанность и динамичность, благодаря которым они представляли наилучшие «слепки» in abstracto живой, многообразной действительности, наиболее благодарный материал для построения и обоснования марксистской диалектики, — чему ни в какой мере не могли удовлетворить ни эмпирические достижения естествознания, ни все затейливые «выверты» современных Махов, Пуанкаре, Фрейдов... С них, — с конечных пределов, достигнутых революционной буржуазией в деле обоснования научного метода, с их материалистического истолкования и переработки только и мог, только и должен был начать революционный пролетариат!

Отсюда — внимание к методологической чистоте, недоверие к голой эмпирии, не только проверка на опыте «принципов», но, наоборот, и систематизация опыта с помощью «принципов»; отсюда критическое отношение к естественно-научным теориям, проникнутым вульгарным материализмом, релятивизмом или психологизмом, стремление не отождествлять их с диалектическим материализмом, не «исправлять» с их помощью марксизм, но, наоборот, давать соответствующую их оценку с точки зрения последовательного, диалектического материализма. Отсюда непереставное подчеркивание у Ленина объективного характера «форм», «качеств», того каждый раз «нового», «особого» в конкретной

развивающейся действительности, которое так безнадежно проглядывает в своей «борьбе с витализмом» односторонний вульгарный материализм «количественников», поддерживаемых сейчас в этом отношении «психомарксистами».

Поход против «гегельянства», провозглашенный механистами и фрейдистами от марксизма, оказывается, при ближайшем рассмотрении, походом против марксистской диалектики, — и нет сомнения, что на нем, как это было не раз и ранее, сломят себе голову новоиспеченные Мальбруки!

## I.

Как указал во время одной из последних дискуссий тов. А. М. Деборин, под флагом «борьбы с гегельянством», в настоящее время против материалистической диалектики выступает своеобразный блок: механических материалистов, эмпириков и фрейдистов. Эта сама по себе бесспорная мысль подлежит, однако, уточнению. Что могло связать воедино такие, казалось бы, разнородные группы: марксистов-естествоиспытателей, которые сами подчас с успехом выступают против эйнштейновского релятивизма, марксистствующих последователей Фрейда, открыто подменяющих социологический анализ психологическим, и талантливых ревнителей в прошлом ортодоксального марксизма, типа Л. И. Аксельрод? Неужто одна только вражда к «гегельянству»? Или за этой явной беспринципностью образовавшегося блока кроются и некоторые объединяющие их всех «принципальные» моменты?

Имеющийся у нас политический опыт может прийти к нам в этом отношении на помощь. Мы знаем уже, например, что «ультра-левая» идеология потому так легко скатывается к оппортунизму, что она сама питается оппортунистическими настроениями. Знаем, что ультра-левая фраза всегда охотно связывается с оппортунизмом на деле и блокируется с ним в политике. «Ультра-левизна» механистов-количественников, собирающихся, как выразился один из участников дискуссии, «уничтожить качество», такая мнимая материалистическая левизна не должна нас обманывать. Методологическую опору этой «шуйцы» «антифилософского» блока нужно искать в ее «деснице»; у философов, которые, по словам Энгельса, «всегда руководят естествоиспытателями. Мостик между фрейдизмом и механическим естествознанием легко мог быть перекинут, нам представляется, уже потому, что представителем и того и другого объединяло недостаточно критическое отношение к кантовским логическим категориям.

Значительную ясность в этот вопрос внесло опубликование «Диалектики природы» Энгельса, с содержащейся в ней крити-

кой воззрений Гельмгольца и других естествоиспытателей-кантианцев. Как известно, Энгельс ставит в вину естествоиспытателям именно перенесение ими понятий, заимствованных из вычислительной механики, в иные области исследования, игнорирование ими особого характера различных «форм» движения, чисто механическое разграничение «качеств» и «количеств» и в то же время стремление объяснить качественные различия сведениями их к количественным различиям и т. д. Легко заметить, что логические категории в указанном их понимании—сознательно или бессознательно—заимствуются механическим естествознанием из арсенала кантовой, или, что еще хуже, неокантианской философии. Основная ошибка Канта—при всей плодотворности ряда выдвинутых им положений для дальнейшего развития диалектики—заключалась именно в метафизическом разрыве между формой и сущностью, именно в перенесении в субъективную область «запредельных умозрений» объективных диалектических противоречий бытия. Признание субъективности форм, качеств—прямой и последовательный вывод из методологических заблуждений Канта, преодоленных уже диалектикой Гегеля.

Между тем, первоначально материалистические критики кантианства (мы имеем в виду хотя бы ценные «Философские очерки» Л. И. Аксельрод-Ортодокс) ограничивались оценкой философии, главным образом, с точки зрения материалистической теории познания, не давая развернутой его критики с точки зрения материалистической диалектики в целом. Характерный для кантианства метод отграничения гносеологии, в качестве критики орудия исследования, вносился и в самую марксистскую его критику. Игнорировалась наиболее отчетливо выраженная Лениным мысль, что «диалектика и есть теория познания марксизма». Законченную диалектико-материалистическую критику Канта, в которой вопросы гносеологии становятся частью общих проблем диалектики, мы получили лишь совсем недавно, в содержательной работе тов. А. М. Деборина<sup>1)</sup>.

Между тем только такая законченная диалектическая критика кантианства могла бы установить, что, с признанием субъективного характера качеств и форм, значительные области человеческой психики, общественной психики выпадают из сферы объективного, общественно-обусловленного, общественно-закономерного бытия. Кантианская установка в основных категориях диалектики широко раскрывает двери как перед экономическим фетишизмом и сопровождающим его социал-демократическим оппортунизмом, так и перед психомарксизмом. Оба течения в значительной

<sup>1)</sup> См. «Диалектика у Канта», «Архив Маркса и Энгельса», т. I.



мере дополняют одно другое. Социальные «надстройки», эти общественно-необходимые формы проявления «базиса», метафизически отрываются от целостного их единства и получают, в противовес объективному, закономерному экономическому процессу, субъективное значение и психологическое истолкование. Идеологические формы перестают быть исторически-неизбежными формами реального, изменяющегося общественного содержания (gehaltvolle Formen, выражаясь языком Гегеля) они приобретают характер абсолютных «простых» форм, далее голого констатирования наличности которых не должен идти социологический анализ; или же они изображаются в качестве некоторой психологической иллюзии, удовлетворительное объяснение которой может дать лишь изучение самого аппарата мышления. Независимость, абсолютность, общеобязательность психических функций и идеологических форм, не только не обусловливаемых в том или ином специфическом своем развитии объективным общественным укладом, но еще являющихся априорным условием существования общества, всякой общественной идеологии—такова характерная особенность психомарксизма.

С этой точки зрения любопытна, напр., критика, с которой выступает такой небезызвестный эклектик от марксизма и кантианства, как Макс Адлер, по отношению к не менее известному, но более последовательному кантианцу-нормативисту, юристу Г. Кельзену<sup>1)</sup>. Для Макса Адлера «социальное» оказывается таким же «трансцендентальным», «априорным» понятием, как и основные кантовские категории; человек, еще до всякого исторического общения, «обобществлен уже в своем духовном бытии» (in seinem geistigen Sein); историческая жизнь его только развертывает заложенное в нем трансцендентальное (S. 30). Юридические формы оказываются «формами обобществления»; при этом юридическая, нормативная форма сознания обладает такою же особой, самостоятельной закономерностью, как и «теоретическое сознание» (S. 69). Маркс и Энгельс, оказывается, потому придавали юридической идеологии лишь относительную самостоятельность, что не подходили к ней с «критико-познавательной точки зрения» (S. 75). Мы не будем в данной связи останавливаться на последующей, типичной для социал-демократа, критике Адлером понятий «диктатура», «революция» и т. д. Важно лишь отметить, что, «критикуя» юридический формализм Кельзена, «марксист» Адлер в сущности узаконяет нормативную точку зрения, формально-юридический априоризм, ставя его лишь на ряду с априоризмом «сциального».

<sup>1)</sup> Marx-Studien, IV B., Die Staatsauffassung des Marxismus, von Marx Adler, Wien 1922.

Фрейдизм, точнее говоря, фрейд-марксизм, представляет собой не что иное, как одну из новейших разновидностей психо-марксизма. Используя заимствованное у Фрейда понятие «бессознательного» и отождествляя это «бессознательное» с марксовыми «несознанными» идеологией общественными отношениями, фрейд-марксисты (напр., А. Варьяш) исходят в своем объяснении идеологического процесса из особенностей психического механизма, в котором указанное «бессознательное» якобы играет видную роль. Как у М. Адлера, здесь — сознательно или бессознательно — утверждается априоризм, правда, априоризм уже не «социального» вообще, но социально-психологического, априоризм обуславливающего идеологический процесс психического механизма: разница, в сущности, не так уж велика!

Фрейд-марксизм, равно как и экономический фетишизм, чужд пониманию объективного значения идеологических форм и вытекающей отсюда их объективной исторической роли. «Борясь с идеологическими иллюзиями путем разоблачения якобы присущего всем идеологиям психического механизма, он в действительности увековечивает указанные идеологии, увековечивая эти их психологические условия. Психологическая установка фрейдизма поэтому гораздо ближе к кантовскому априоризму, чем это может показаться с первого раза.

Отсутствие правильного понимания взаимоотношений «базиса» и «надстройки», отсутствие диалектического воззрения на надстройки, как на объективные формы проявления базиса, находящие себе объяснение в том или ином историческом общественном укладе — такова характерная черта социальной теории и марксистов-механистов, и экономических фетишистов, и психо-марксистов, и фрейдистов. Теория субъективности «качества» является ее ближайшей методологической предпосылкой. Мы рассмотрим, далее, к каким печальным последствиям приводит эта новейшая форма ревизионизма в марксистской теории права.

## II.

Когда в свое время, под громы империалистической войны, Л. И. Аксельрод выступила с теоретическим обоснованием социал-патриотических увлечений Г. В. Плеханова <sup>1)</sup>, ход ее рассуждений мог показаться внешне совсем безупречным. Конечно, заявляла она, право и нравственность представляют собой результат общественного развития, но от этого «они не теряют своего

<sup>1)</sup> См. Ортодокс, «Простые истины права и нравственности», — «Дело» № 1, 1916. Недавно на диспуте в Ассоциации Научно-Исследовательских Институтов нам пришлось слышать из уст Л. И., что она остается при своих старых взглядах по данному вопросу.

собственного реального значения». Выработанные человечеством за его долгую историческую жизнь «общие нормы взаимного существования..., проникая собой всю нашу жизнь, стали такими же незаметными для простого глаза функциями, как физиологические функции организма индивидуального» (курсив наш, стр. 52). Отсюда их «общеобязательность»: каждый акт купли-продажи совершается «согласно объективной правовой норме. Без признания и подчинения этим «простым законам права и нравственности» немисливо человеческое существование»...

Нетрудно заметить, в чем основная методологическая ошибка почтенного автора «Философских очерков» и убедиться вместе с тем на наглядном примере, как жестоко в конце концов мстит за себя пренебрежительное отношение к «гегельянству». В «простых» истинах права нет никакой простоты уже потому, что они представляют собой объективную, хотя и специфическую, форму проявления крайне сложной и своеобразной экономической сущности. «Форма» же, этот необходимый элемент «содержания», не может быть вовсе ему чуждой — пустым, ждущим наполнения сосудом: содержание и форма взаимно проникают одно другое, взаимно переходят друг в друга. За общими истинами буржуазного права стоят обуславливающие их товарные отношения, за более частными же его положениями проглядывают интересы определенного класса, интересы определенной экономической структуры. Нужно понимать чисто механически взаимоотношения базиса и надстройки и развитие этих последних, нужно отказаться от диалектического анализа надстроек, как объективно-исторических форм проявления объективного базиса, и тогда легко прийти к упрощенным «истинам» Л. И. Аксельрод. Правда, Л. И. Аксельрод говорит об «объективных» правовых нормах; но «объективное» служит у нее только плохим прикрытием «абсолютного»: здесь нет и тени анализа объективно-исторической структуры правовых норм. И крайне характерно это уподобление правовых «функций» физиологическим функциям, служащее оправданием политическому оппортунизму!

До каких чудовищных извращений революционного марксизма и ленинизма можно порой докатиться, исходя из такого недиалектического понимания отношений юридической формы и экономического, классового содержания, лучше всего показывает совсем недавно пример Л. Оссовского <sup>1)</sup>. Выдвинутая им в качестве теоретической платформы оппозиции и приписанная им Ленину теория «рабоче-крестьянского государства», якобы независимого от воздействия какого бы то ни было класса и якобы представля-

<sup>1)</sup> См. «Большевик» № 14.

ющего все решительно производственные отношения,—эта теория обнаруживает в ее авторе поразительную беспомощность в элементарных вопросах диалектики. И здесь интересно провести аналогию: Оссовский, подменяет политико-юридической формой «рабоче-крестьянской власти» ее реальное классовое содержание—диктатуру пролетариата; сторонники же теории «качеств» Л. И. Аксельрод должны будут отказаться признать объективный характер политической формы «рабоче-крестьянской власти»—то, что власть действительно «рабоче-крестьянская»—из-за ее классовой сущности, из-за того, что эта специфическая политическая форма является «формой проявления» рабочего государства!

Ошибки Плеханова и теоретическая их поддержка со стороны Л. И. Аксельрод чрезвычайно характерны, как яркий пример той неразрывной связи, которая существует всегда между классово-политической и методологической позициями автора. Компромисс в политической области заставляет сделать шаг назад в кантианской логике и кантианской морали; «сверхклассовость» вызывает переоценку юридических форм и категорий. Разумеется, в сфере чистой юриспруденции эти прегрешения против марксистской диалектики вырастают до чудовищных размеров. Глубоко чуждая марксизму почти до самого последнего времени юридическая теория, даже в наших советских условиях, все еще представляет благодарное поприще для всякого рода механических, фрейдистских или нормативистских увлечений. И нужно сознаться: далеко не всегда можно легко прощупать истинную, объективную политическую подоплеку субъективных методологических блужданий того или иного юриста, к тому же распинающегося в своей преданности революции, социалистическому строительству, марксизму, диалектике!

Мы остановимся здесь лишь на двух характерных направлениях современной советской юриспруденции. Они не равноценны по своему влиянию и практическому значению, но оба отчетливо говорят о том, как сугубо тяжело отражается на общественной теории и политической практике ревизия в столь далекой абстрактной как будто бы области категорий диалектики. Это—психологический субъективизм и фрейдизм, с одной стороны, механический материализм—с другой.

Теория «субъективности» качеств и форм в ее фрейдистском преломлении нашла себе среди марксистов-юристов наиболее определенное и выдающееся выражение в лице проф. М. А. Рейснера. Две тени стоят у колыбели его юридических воззрений, оказывая огромное влияние на их дальнейшее развитие: Людвиг Кнапп, с характерной для младогегельянства «ульгра-левой» критикой «культы» права, правовых «фантазм», и Петражицкий, с его

психологическим учением о праве, как о переживании. Для Рейснера—право—идеология, «построенная при помощи идеи справедливости», «стремящаяся к компромиссу», «идеологическая форма, построенная на равенстве неравного»; каждому классу свойственно свое право, свое «правосознание», субъективно отражающее в его «мозгу» историческую действительность и отличное от такого же субъективного права другого класса. Правда, Рейснер пытается отмежеваться от Петражицкого, указывая, что его «психологическая установка субъективного права» отличается «внешней активностью» в материальном мире<sup>1)</sup>. Но, если даже и принять такую поправку во вкусе тов. Сарабянова, то все же очевидно, что для Рейснера право отнюдь не является объективной формой экономической действительности: связь классов с производственными отношениями, а правовой идеологии с объективными правовыми отношениями совершенно исчезает и растворяется в критике правовых «извращений».

Становятся понятными внезапные симпатии, обнаруженные проф. Рейснером к «новой социологии фрейдизма». Как бы ни пытался критиковать Фрейда сам Рейснер, но фрейдизмом остается проникнутой вся его собственная методологическая установка. Право, как «отражение в мозгу», «рефлекс», «условный раздражитель», «символика» и т. п.—такая подмена социологической проблемы проблемой психологической совершенно лишает Рейснера возможности понять объективный, исторически-неизбежный характер правовых «извращений», объективное значение и роль юридических форм и в нашем советском правовом порядке. Отсюда его страхи перед «чрезмерной» юридизацией общественных отношений, его недоумение по поводу того, что «мы почему-то пролетарскую диктатуру и классовый интерес перекрашиваем в какие-то загадочные правовые образы и формы», его отождествление правового мышления с религиозным построением<sup>2)</sup>. «Ультра-левая» позиция проф. Рейснера, в действительности не выходящая за пределы замкнутого круга тех же юридических понятий, тесно связана с его ошибочной методологической исходной точкой зрения—с признанием субъективного характера юридических форм!

К счастью, проф. Рейснер почти одинок в своих субъективистских уклонах: влияние его в юридических кругах ограничивается самым ранним периодом нашей законодательной практики<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> См. М. Рейснер, «Право. Наше право. Общее право». Ленгиз. 1925 г. Подробнее о воззрениях Рейснера см. нашу статью: «Детские и старческие болезни в правовой теории» («Под Знам. Маркс.» № 5—6, 1925).

<sup>2)</sup> Там же, стр. 34.

<sup>3)</sup> Наиболее верен методологической позиции Рейснера из советских юристов, пишущих по вопросам права, И. Ильинский, хотя этот последний вынужден порой переходить на более правильную точку зрения. В праве



Зато огромным авторитетом пользуются еще куда и находят себе несомненное отражение и в нашей юридической практике теоретические воззрения проф. А. Г. Гойхбарга. Антиисторизм, упрямое механическое истолкование правовых явлений, бессознательная рецепция «юридического социализма» и теоретического солидаризма на ряду с лучшими намерениями вести «борьбу» с буржуазным правом — таковы характерные черты его позиции в вопросах юридической теории.

Проведя аналогию между правовой идеологией и религиозной идеологией, А. Г. Гойхбарг принимает право только как термин для обозначения «правил, установленных советской властью»; по мнению его, Ленин «называет правом такое целесообразное правило, обсуждая результат которого мы приходим к заключению, что мы были правы (?!) И. Р.» установив его». Гойхбарг отказывается «видеть в праве некоторую идею, которая явилась бы полезной и для рабочего класса... В свое время эта идея имела некоторый смысл, но в настоящее время в идеологии пролетариата она излишня, и ее необходимо вытравлять из пролетарских мозгов<sup>1)</sup>. Таким образом, если буржуазное право было окутано мистическим туманом, нужным для того, чтобы держать в повиновении эксплуатируемые классы, то, в отличие от него, советское право обращается в систему сознательных, целесообразных «организационных правил», в рациональное выражение нашего социалистического планирования. Такая техническая, не историческая точка зрения на правовую форму обнаруживает целый ряд ошибочных моментов. Прежде всего, хотя Гойхбарг порой и говорит о праве, как о форме капиталистических отношений, но для него — это чисто внешняя форма, не связанная внутренне со своим экономическим содержанием, некая «мистическая вуаль», представление о которой может быть и должно быть «вытравляемо». Иными словами, правовая форма теряет у него свою историческую объективность, и становится лишь субъективной формой представления в буржуазном обществе. С другой стороны, в советских условиях юридическая форма утрачивает для А. Г. Гойхбарга всю свою историческую специфичность, черты, которые делают ее качественно особой идеологической формой. «Мистическая вуаль» и «целесообразное, организационное правило» — таково то основное про-

он видит «огромную систематизированную фикцию»; воздействие ранних форм права рассматривает, как «проблему оглушения» («Введение в изучение советского права», Ленгиз, 1925). Применение понятий «справедливости», «кары» и т. п. он склонен рассматривать не с точки зрения объективного характера этих категорий в современных условиях, но как уступку правосознанию «серой демократической массы» и т. п. (См. журнал «Советское Право» № 2, 1926).

<sup>1)</sup> А. Г. Гойхбарг, Хозяйственное право РСФСР, стр. 9, 10, 19 и т. д.

тивопоставление Гойхбарга, которое чисто механически разрывает истинную диалектическую связь существующую между советской юридической формой и ее социалистическим содержанием и заставляет вспомнить об аналогичном противопоставлении законов «социалистического накопления» и «стоимости» у тов. Е. Преображенского.

Отсутствие историзма ведет далее проф. Гойхбарга к заимствованию ряда теоретических положений у тех буржуазных и социал-демократических идеологов (Леон Дюги, Гедеман, Карнер), которые представляют собой эпоху смены свободной конкуренции монополией и, поэтому, теорию неограниченного и свободного в своем распоряжении собственностью «субъекта права» заменяют теорией «социальных функций» права. Известное «самоотрицание» капиталистической собственности при империализме истолковывается ими в реформистском смысле мирного вращения в социализм, а последнее в сфере юридического мышления выражается в новой разновидности юридического социализма — в построении юридической теории на новых «социальных» принципах. Совершенно игнорируется тот факт, что сама современная юридическая форма имеет вполне определенное историческое происхождение, что ее особенности происходят из товарного производства. А. Г. Гойхбарг, хотя отчасти и сам сознает неприглядную подоплеку теории «социальных функций», однако, пытается применить эту незатейливую схему «социализации» права к советским условиям: «Мы предоставляем права, — пишет он, — поскольку того требует, поскольку этим достигается развитие производительных сил, т. е. развитие народного хозяйства в целом, предназначенного удовлетворять потребности широких и широчайших масс населения... Мы сознательно стремимся к развитию производительных сил... Поэтому мы принимаем меры, устанавливаем правила, даем «права» в пределах, диктуемых этой основной целью<sup>1)</sup>. Легко заметить, насколько бледно, обще, расплывчато и недостаточно понятие «развития производительных сил», которое Гойхбарг изображает как «основную цель» нашей политики, как совершенно растворился в нем классовый подход к вопросам права, как совершенно ступшевдалась основная, социалистическая тенденция нашего строительства. Неудивительно, что это понятие весьма охотно приемлют и цитируют на все лады и юристы-сменовеховцы из «Права и Жизни».

А между тем, такое упрощенство отразилось и на теоретической вступительной части нашего гражданского кодекса, в составлении которого проф. Гойхбарг принимал ближайшее участие.

<sup>1)</sup> Там же, стр. 31, 33.

«Гражданские права,—гласит ст. 1,—охраняются законом за исключением тех случаев, когда они осуществляются в противоречии с их социально-хозяйственным назначением... «В целях развития производительных сил страны РСФСР предоставляет гражданскую правоспособность всем гражданам, неограниченным по суду в правах» (стр. 4) и т. д. И подумайте только, что эти «догматские», ничего не говорящие, каучуковые формулировки, расшифровка смысла которых в каждом отдельном случае может легко привести к политическим ошибкам судебных инстанций,—должны играть роль теоретического обоснования специфических особенностей нашего гражданского права!

### III.

Отчетливое представление об особенностях юридической формы в условиях переходного периода может создаться лишь при правильном понимании диалектического двустороннего характера нашего экономического развития. Его ни в коем случае нельзя изображать чисто механически—как борьбу двух голых «начал», сознательно-социалистического и стихийно-капиталистического, совершенно исключают друг друга. Если даже иметь в виду только наше советское государственное хозяйство, то ведь и характерные для него социалистические производственные отношения существуют не в чистом виде: они переплетаются внутри самого государственного хозяйства с пережитками прежней общественно-экономической формации—с товарными отношениями. Взаимоисключение этих двух начал, их «борьба» сосуществуют в диалектическом единстве с их «взаимопроникновением». Изменившиеся в своей экономической сущности товарные формы во взаимоотношениях между трестами, в кооперации и т. д. играют на первых порах роль форм развития социалистических отношений. Постольку «целесообразность» и плановость далеко не всегда должны противопоставляться ценностным отношениям, но могут выступать и в форме этих последних.

Современная юридическая форма, по своему историческому происхождению, как неоднократно указывали Маркс, Энгельс и Ленин, представляет собой «слепок» с отношений товарного производства: свобода и равенство товаровладельцев лежат в основе всей идеологии буржуазного права. Но товарно-меновые отношения сами претерпевают существенные изменения, будучи связаны с различными экономическими структурами, с разными типами производственных отношений: и это последнее обстоятельство не может не отразиться на выявляющей их юридической форме. Простое товарное производство, капиталистическое производство, социалистические производственные отношения в переходную эпоху—всею законы обмена порождают одну и ту же форму

права, отличную от исторически-предшествующей ей феодальной юридической формы. И вместе с тем во всех этих общественно-экономических формациях право не остается совершенно чуждым своему изменяющемуся экономическому содержанию, существенно изменяясь в соответствии с этим последним.

Маркс подчеркивает оба эти момента в диалектике правовой формы: «Пока,—говорит он,—при каждом акте обмена, взятом в отдельности, соблюдаются законы обмена, способ присвоения не может совершенно изменить своего характера, не затрагивая так или иначе права собственности, соответствующего товарному производству. Одно и то же (курсив наш. И. Р.) право собственности действует и в начале, когда продукт принадлежит производителю..., и в капиталистический период... «В той самой мере, в какой товарное производство, развиваясь сообразно своим собственным законам, превращается в производство капиталистическое, в той же самой мере законы собственности, свойственные товарному производству, переходят в законы капиталистического присвоения»<sup>1)</sup>. Но за этой видимостью сохранения прежней юридической формы скрывается уже новое экономическое содержание—капиталистическая эксплуатация. В процессе купли-продажи рабочей силы «закон присвоения или частной собственности, покоящийся на производстве и обращении товаров, превращается путем собственной, внутренней, неустрашимой диалектики в свою прямую противоположность. Обмен эквивалентов... оказывается лишь внешней видимостью... Меновое отношение между капиталистом и рабочим становится, таким образом, простой видимостью процесса обращения, простой формой, которая чужда своему собственному содержанию и лишь затемняет его действительный смысл... Первоначально право собственности казалось нам основанным на собственном труде... Теперь же оказывается, что собственность для капиталиста есть право присваивать чужой неоплаченный труд»<sup>2)</sup> и т. д. Однако, ошибочно было бы думать, что замаскировывающая истинную сущность капиталистических отношений и обособляющаяся от своего содержания юридическая форма представляет в капиталистических условиях лишь нечто «субъективное», иллюзорное, что она не имеет вовсе объективных корней в этой капиталистической действительности. Правда, «форма проявления» и «сущность» вещей уже не совпадают так, как это имело место при простом товарном производстве, в обществе действительно свободных и равных товаровладельцев. Но «свобода» субъекта права получает при капитализме другой смысл:

<sup>1)</sup> «Капитал», т. I, Гиз, 1920, стр. 595, 596.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 591, 592.

как свобода, с одной стороны, рабочего от феодальных пут и «свобода» его от средств производства, как независимость, с другой стороны, от общества производителей капиталиста-собственника<sup>1)</sup>,—словом, как свобода заключения договора. То же и с «равенством», поскольку капиталистическое отношение необходимо реализуется через «посредствующее звено добровольной продажи рабочей силы». Обособление юридических форм от своего общественного содержания, иллюзорность их в смысле искажения капиталистической действительности, таким образом, отнюдь не лишает их, как и все категории товарного фетишизма, определенной исторической объективности.

Сопоставление простого товарного производства и товарно-капиталистических отношений дает возможность понять, в каком смысле претерпевает изменения «одно и то же право собственности» в процессе развития общественного производства. Прежде всего, очевидно, что сохраняется и еще более укрепляется—вместе с всеобщим распространением товарной формы и товарного фетишизма—основная юридическая категория буржуазного права—свободный и равный юридический субъект: овеществления общественных отношений предполагает, с другой стороны, персонализацию вещи и олицетворение средств производства в капиталисте, вкладывающем в вещи свою волю. С формальной стороны, таким образом, в праве не происходит никаких изменений: объясняется это тем, что формально само капиталистическое отношение может создаваться лишь через посредствующее звено того же менового отношения. И, тем не менее, по своему экономическому содержанию право собственности превращается в право присвоения чужого труда: «равное право» превращается в «право неравенства», в приложение равного мерил к тому, что не является равным.

Какова же должна быть дальнейшая эволюция юридической формы—с развитием нового типа производственных отношений, в переходный период? Очевидно, что значительная роль товарных отношений,—не только в отрезках простого товарного и капиталистического производства, сохраняющихся еще в переходной экономике, но даже в системе государственного хозяйства, должна привести к сохранению прежней юридической формы во всех формальных особенностях ее построения: и здесь, пока «соблюдаются законы обмена, способ присвоения не может совер-

1) Ср. в «Немецкой идеологии»: «Само *jus utendi et abutendi* выражает, с одной стороны, тот факт, что частная собственность стала совершенно независимой от общества, а с другой, ту иллюзию, будто сама частная собственность основывается на голой частной воле...» («Архив Маркса и Энгельса», т. I, стр. 252).

шенно изменить своего характера, не затрагивая так или иначе права собственности, соответствующего товарному производству» (Маркс). Но если формально «способ присвоения» остается тот же, с характерным для него посредствующим звеном обмена, то значительные изменения происходят уже в его общественном содержании. Прежде всего, от товарных отношений, господствующих в частном производстве, нужно отличать меновые отношения, вкрапленные в систему государственного хозяйства. Меновое отношение в нашей госпромышленности или в кооперации, связывающее эту госпромышленность с мелким крестьянским хозяйством, здесь перестает быть «простой видимостью процесса обращения, простой формой, которая чужда своему собственному содержанию»; собственность государства на средства производства перестает быть «правом присвоения чужой неоплаченный труд». Обмен эквивалентов в рабочем договоре здесь также уже не одна только «внешняя видимость». Таким образом, обособление «форм проявления» от «сущности», характерное для капиталистического производства, начинает уже стираться, уступая место гораздо большей ясности, «прозрачности» наших общественных отношений.

А последнее ведет к постепенному отмиранию юридического фетишизма в используемых нами категориях «буржуазного права». Оно и создает тот целесообразный характер нашего советского права, который утрирует проф. А. Г. Гойхбарг своей «технической» точкой зрения на юридическую форму. «Целесообразность» обеспечивается не тем, что мы по своему произволу, механически отбрасываем те или иные специфические юридические категории. Целесообразность, прежде всего, в самой экономической организации, позволяющей, по выражению Ленина, найти надлежащую «степень соединения частного интереса, частного торгового интереса, проверки и контроля его государством, степень подчинения его общим интересам...»<sup>1)</sup>. С точки же зрения законодательного творчества, целесообразность—в революционном использовании юридических форм,—в том, чтобы «соблюсти грани между тем, что является законным удовлетворением любого гражданина, связанным с современным экономическим оборотом, и тем, что представляет собой злоупотребление им»<sup>2)</sup>.

Этими словами Ленина лучше всего определяется употребленное им однажды и усиленно пропагандируемое у нас сейчас понятие революционной законности. Оно глубоко диа-

1) Ленин, Собр. соч., т. XVIII, ч. 2, стр. 139.

2) Там же, стр. 76.

лектично и, как всякое диалектическое понятие, двусторонне. Совершенно недостаточно, например, рассматривать наше законодательство только, как «плановую полигику», а революционный закон только, как «наилучшее при данных обстоятельствах выражение интересов трудящихся масс»<sup>1)</sup>. Таким путем мы легко скатываемся к «технической» точке зрения, видящей только содержание советского права, но забывающей об его юридической специфичности. Такая внешне «левая» позиция неминуемо ведет «вправо» — к культуре всякой законности, — законности во что бы то ни стало, к юридическому формализму.

Истолкование «революционной законности» в духе римского «*durā lex*», в смысле одного лишь безусловного следования тексту закона, очень легко может перейти в формальное понимание закона, свойственное буржуазной законности. Все дело в том, что юридическая форма, как бы хорошо ни была она применена, никогда уже по самой исторической природе своей не может охватить полностью всего разнообразия проявляющегося в ней и бесконечно развивающегося общественно-экономического содержания. Мечтать о такой всепроникающей законности — значило бы уподобиться одному из глуховских градоначальников у Щедрина, с его «сумраком законов». Жизненные отношения слишком сложны для того, чтобы целиком укладываться в какие бы то ни было слишком неподвижные грани юридических норм. Юридическая логика, законная, как и всякая формальная логика, в определенных пределах, должна слишком часто сдавать позиции в этих случаях марксистской диалектике!

Диалектическое понимание революционной законности, т. е. учитывающее особенности как самой юридической формы, так и вкладываемого в нее революционного, социалистического содержания, должно сказать, прежде всего, на нашем отношении к так называемой «системе буржуазного права». Мы имеем в виду логическую связанность между собой отдельных буржуазно-правовых категорий, видимо вытекающих из основного понятия — права частной собственности. В действительности, и в буржуазных законодательствах мы имеем немало внутренних противоречий, отмечаемых самими буржуазными юристами: категории частного товарного производства не всегда оказываются непогрешимой формой проявления противоположности капиталистических интересов и капиталистического права на чужой труд. В советском праве, поэтому, не может быть и речи о чисто механиче-

<sup>1)</sup> Ср. «Советское право» № 2, 1926 г., стр. 4, 15 и т. д. Как легко такая техническая точка зрения усваивается нашим юридическим сменовеховством, видно хотя бы из любопытной в этом смысле статьи проф. А. М. Винавера («Право и Жизнь», № 2—3, 1926 г.).

ской рецепции целого ряда понятий буржуазного права. Правильно сочетать охранение «частных интересов» с подчинением их «общим интересам», соблюсти должную «грань» между легальностью и легализованном в других странах «злоупотреблением» — это значит, иными словами, помнить о пределах, в которых приемлется нами те или иные рецептированные понятия.

Так обстоит, например, с принципом формального равенства. Как выразился в одном месте Ленин, «формальное равенство не может быть формой борьбы за материальное равенство, против фактического неравенства»<sup>1)</sup>. И, действительно, принимая принцип равенства субъектов в правоотношении, советское законодательство должно было уделить значительное внимание «исключительным правам», правовой привилегии. Мы имеем в виду ст. 3 Гражд. Кодекса и целый ряд других, подчеркивающих преимущества государственных органов в договорах. Последнее понимание сказалось и на состязательных формах советского судебного процесса: формальное равноправие сторон не должно заслонять активности, проявляемой самим судом в разборе социального содержания дела, равно как не должно выражаться в чересчур формальном применении «прейс-куранта» преступлений и наказаний...

Но так обстоит и с самим правом собственности. Совершенно правильно отметил в одном месте тов. П. И. Стучка, что, в противоположность буржуазному праву, собственность (бесхозяйственная) у нас всегда презюмируется, как государственная собственность. Во взаимоотношениях наших трестов с государством обнаруживается также ряд новых моментов для понятия «правосубъектности». Тресты — юридические лица, несущие полную ответственность за выделенное им имущество, и в то же время за государством остается не только верховное распоряжение этим имуществом, но и основное руководство деятельностью этих юридических лиц. Претерпевает изменение также понятие свободы договора, поскольку для госучреждений эта «свобода» зачастую превращается в «обязанность». Мы не будем здесь уже останавливаться на целом ряде новшеств, вносимых в юридическую теорию нашим трудовым кодексом или нашим брачно-семейным правом.

И, тем не менее, в определенных пределах мы не можем отказаться от понятий «равенства», «субъекта права», как не отказываемся в известных пределах от признания прав частной собственности. Ибо понятия эти приемлются нами не по произвольному выбору, но навязываются нам самой экономической обстановкой, ролью и значением в ней меновых отношений. Более того: в наших условиях еще более, чем при

<sup>1)</sup> Ленинский сборник, III, стр. 495.

капитализме, эти понятия получают объективную, реальную значимость, постепенно насыщаясь определенным фактическим содержанием. Все возрастающая «прозрачность» наших общественных отношений должна привести к тому, что, как и при простом товарном производстве, эти понятия будут становиться все более близким выражением экономической действительности. Поэтому нужно решительно предостеречь от якобы революционного, а на деле недialeктического пренебрежения этими и другими юридическими категориями. А между тем такие попытки нередки. Достаточно указать хотя бы на перемены народничества в некоторых теориях советского земельного права<sup>1)</sup>.

То же относится и к понятию «справедливости». Нет никакого сомнения, что это понятие имеет, согласно своей исторической анкетке, весьма подозрительное буржуазное происхождение. Но оно сохраняется вместе с ценностными отношениями, как критерий юридической оценки в случаях, не охватываемых юридической нормой, хотя несомненно также, что ценностные отношения получают в головах пролетариата особое, отличное от буржуазной справедливости, преломление. При этом «справедливость» отнюдь не может быть заменена «целесообразностью»: понятие юридической справедливости таит в себе, наряду с классовой оценкой, момент оценки по меновому, ценностному, эквивалентному принципу. По сравнению с т. н. «классовой справедливостью», юридическая равносправедливость носит менее обостренный, более относительный характер. Справедливым может показаться возложить возможно более тяжелое наказание на провинившегося в чем-либо перед советским правосудием нечестного. Но такое чрезмерно тяжелое наказание будет противоречить не только целесообразности с точки зрения интересов советского государства, но и «меновому», эквивалентной равносправедливости, вносящей известную устойчивость в юридическое положение отдельных субъектов права.

И, наконец, так же обстоит дело и с категорией «наказания». Господствующим взглядом в современной советской теории уголовного права является стремление вовсе отказаться от этой, свойственной религиозному и буржуазно-юридическому мышлению категории, заменив ее понятием «меры социальной защиты». Нетрудно заметить, что здесь социальная сущность нашего уголовного права ставится на место юридической формы ее проявления. Нет сомнения, что советская «кара» по своему социально-классовому содержанию преследует не какие-либо религиозные соображения, а является средством социальной безопасности и медико-педагогического воздействия на преступника. Однако юридической формой этой «меры» в условиях господства товарных

<sup>1)</sup> См., напр., Д. С. Розенблюм: «Земельное право».

отношений могут быть только построенные преимущественно по принципу эквивалентности «кара», «наказание». И неудивительно, что этот термин проникает в построения советских юристов, при всем их желании совершенно от него отказаться.

Так диалектическое рассмотрение юридических категорий устанавливает их правомерность, их историческую объективность в определенных общественных условиях, их действительную историческую роль на переживаемом нами этапе развития. Пренебрежение философией мстит юристам не менее жестоко, чем естествоиспытателям. И нужно надеяться, что начавшаяся во всех областях борьба за материалистическую диалектику внесет свое оздоровляющее начало и в советское юридическое мышление.

## Философия „качества“ и качество философии некоторых механистов.

А. Столяров.  
(Окончание).

### V. Методологическое значение категории «качества».

Логический анализ категории «меры» у Гегеля достаточно убедительно доказывает, что вопрос о категориях качества и количества, об их отношении и, прежде всего, об их единстве не так прост, как это представляется с вульгарной механической точки зрения.

«В механике мы не встречаем никаких качеств» (Энгельс)<sup>1</sup>. Поэтому также в механике всякое противоречие представляется в простейшей форме антагонизма двух (или нескольких) сил, «внешних» по отношению друг к другу.

Воззрение, рассматривающее механические отношения, как всеобщую форму отношений, и всякое движение, как механическое, сводит всякое противоречие, легшее в основу развития, к внешнему столкновению количественных моментов, а «качество» — к отношению количеств. «Качество» с этой точки зрения представляется некоторым равновесием количественных моментов, т. е. по существу «качество», как самостоятельная категория, упраздняется. Вместе с тем, диалектическое отрицание подменяется механическим отрицанием, закон отрицания отрицания заменяется сложением и вычитанием, как это, в частности, имеет место у т. Сараянова<sup>2</sup>). Всем этим устраняется самая основа метода диалектики.

«Условие познания всех предметов мира в их «самодвижении», в их спонтанном развитии, в их живой жизни есть познание их, как единства противоположностей» (Ленин). Но механическое понимание противоречия заслоняет момент единства. Поэтому также с этой точки зрения нельзя говорить о «саморазвитии»: механическое понимание в переводе на язык логики — это формально-логическое понимание. Оно знает тождество, которое есть только тождество, или различие, которое является только различием. Никакого «единства», которое является единством их различия и тождества, с этой точки зрения понять невозможно.

<sup>1</sup>) «Архив Маркса и Энгельса», т. II, стр. 223.

<sup>2</sup>) Отсылаю интересующихся непосредственно к названному автору. См. его учение о «триаде», беспримерное по своей схоластичности (В. Сараянов, «Основное в едином...», стр. 121 и далее).

Но тогда нельзя понять также единства количества и качества, «меры», нельзя понять связи, их переходов.

«Количество переходит в качество» — так обычно мы выражаемся сокращенно. Правильнее было бы сказать: одно качество меры сменяется другим в результате количественных изменений. Старое «отрицается», появляется новое нечто. Что лежит в основе этого процесса? Внутреннее противоречие, присущее каждой реальной «мере», в процессе ее «самодвижения».

«Отличительный характер всего конечного составляет то, что оно снимается само собою». «Все конечное не ограничено только извне, но по своей собственной природе снимается и переходит в свое противоположное»<sup>1</sup>).

«Отрицательное принадлежит самому содержанию и представляет собой также положительное, будучи имманентным движением и определением этого содержания»<sup>2</sup>).

Именно в этом «самодвижении», в этом имманентном и «положительном» объективном характере отрицания заключается отличие диалектического отрицания от метафизического, не-диалектического. Анархисты «отрицают» государство, пацифисты «отрицают» войну, идеологи буржуазии, ее экономисты и ее жандармерия «отрицают» падение буржуазного режима. Однако конечная реальная ценность этого отрицания так ничтожна, как и его методологическая ценность.

Чисто методологическая разница между анархистским или пацифистским «отрицанием» войны, государства, насилия и пр. и «отрицанием» марксистским, ленинским, — эта разница бросается в глаза. В чем здесь основное? В том, что марксизм, диалектика требуют в самой системе капитализма, в самом объективно-историческом смысле империалистической войны и т. д. отыскать те силы, те противоречия, опираясь на которые революционный класс может эту систему, эту войну и т. д. опрокинуть.

Исторический смысл, историческая «правда» империалистической войны состоит в том, что через нее производительные силы мирового хозяйства стремятся освободиться от стесняющей их системы распределения, от системы капиталистической конкуренции. «Недостаточность» этой «правды» заключается в том, что империалистическая война может устранить только отдельных конкурентов, но не уничтожить всей системы, препятствующей развитию производительных сил. Полное решение вопроса — в устранении всей этой системы, в уничтожении конкуренции вообще через уничтожение капитализма. Таким образом, гражданская война против буржуазии оказывается единственным путем к дальнейшему развитию, являясь вместе с тем единственно возможной формой «восполнения недостаточности» (выражаясь в терминах Гегеля) объективно-исторического «смысла» империалистической войны. «Если опровержение основательно, — говорит Гегель, — то оно борется и развивается из самого принципа, а не делается извне путем противоположных уверений и случайных мыслей. Таким образом, оно, собственно говоря, представляет собою развитие принципа, и, следовательно, воспол-

<sup>1</sup>) Гегель, «Энциклопедия», § 81.

<sup>2</sup>) «Феноменология», стр. 27.

нение его недостаточности, если бы оно обращало внимание не только на свою отрицательную задачу, но создавало бы также свой прогресс и результаты с положительной стороны»<sup>1)</sup>.

«Опровержение» метафизического, как, например, «опровержение» анархистами всякой государственной власти, действительно «делается извне путем противоположных утверждений». Таков их метод. Но именно к этому методу скатываются некоторые механисты. Возьмите, например, тов. Сарабянова. Он, разумеется, далек от анархизма, но, говоря о переходе количества в качество, он дает чисто механическую концепцию: антагонизм двух сил, количественный перевес одной — и вот вам «скачок», переход к новому качеству. Переход от капитализма к социализму он рисует так: «Силы пролетариата количественно нарастают, силы буржуазии тоже растут, но не так быстро. Наступает какой-то момент, когда количество сил обоих классов одинаково. В этот момент наступает скачок»<sup>2)</sup>.

Если к этому прибавить, что по Сарабянову оба класса одинаково по-своему исторически правы, что нет единой объективно-исторической истины («множественность истины»), что можно бороться за капитализм, как и против него — смотря на вкус — одинаково «несколько не расходясь с самой действительностью»<sup>3)</sup>, если все это свести воедино, то совершенно ясным должно стать, что тов. Сарабянов скатывается к вулгарной (в смысле не-научности) метафизической, антидиалектической методологии, которая может быть приемлемой для каких-нибудь анархистов, нигилистов и пр., но которая ни в коем случае не является методологией марксизма. Именно о методологии я говорю в данном случае.

Но почему с тов. Сарабяновым мог случиться такой грех? Он механически понимает «отрицание», потому что механически понимает «противоречие». А последнее непосредственно связано с механическим же пониманием отношения «количества» и «качества», т. е. внутренней диалектики «меры». И чего он не понимает в «мере» из двух составляющих ее моментов, так это «качества». А непонимание объективной диалектики, диалектики бытия, приходится подменять, «восполнять» субъективной диалектикой, субъективизмом и релятивизмом.

Но в данном случае нас интересует только вопрос о том, как механическое понимание «качества» (лучше сказать: непонимание его) связано с рядом неизбежных искажений чисто-методологического характера.

Совершенно не существенно, что сам тов. Сарабянов себя к лику механистов причислять не хочет. Гораздо интереснее, что тов. Сарабянов, столько книг написавший по вопросам диалектики и столько в этих книгах топтавшийся именно вокруг вопроса о «качестве», не считал нужным очень задерживаться на

<sup>1)</sup> «Феноменология духа», перевод Радлова, стр. 10.

<sup>2)</sup> В. Сарабянов, «Исторический материализм», изд. 7, стр. 114. Подробнее на сарабяновском понимании перехода количества в качество я останавливался в своей статье в № 10—11 «Под Знаменем Марксизма» за 1925 г., во второй главе.

<sup>3)</sup> См. последнюю статью т. Сарабянова в «Под Знаменем Марксизма» № 6 за 1926 г., стр. 73 и 74. Нечто исключительное по явному отходу от материализма и диалектики!

вопросе о методологической ценности этой категории, ограничиваясь поисками схоластических определений. Зато он хорошо знает «введение в философию», не углубляясь без нужды в «историю»...

Мы здесь сможем в этой статье остановиться лишь на некоторых моментах методологического характера, связанных с вопросом о качестве.

Успехи, достигнутые в науке в результате успехов количественной обработки опытных данных, имели, между прочим, тот результат, что математическим методом кой-где стали придавать абсолютное, универсальное значение. «Царство качества — темное царство инстинкта, период начал; царство количества постепенно его вытесняет в области познания — это будущее нашего духовного владычества»<sup>1)</sup>. Эти высшие слова являются в некотором роде «знаменем времени».

«Только измеренное является изученным», говорил Гегель. И это совершенно верно также с точки зрения марксизма. Каждая вещь представляет из себя известную «меру», и она еще далеко не изучена, если неизвестна точно та амплитуда «количественных» изменений, которая в разных условиях данной «меры» присуща и с ее качественной определенностью совместима. Есть науки, где количественные измерения даются сравнительно легко, как в астрономии, в физике и пр., есть другие науки, где они даются с большим трудом, как в психологии и пр. Но нет сомнения, что повсюду все больше проникает и должен проникать количественный анализ.

Это, однако, вовсе не значит, что категория «качества» теряет свое значение и меркнет в сиянии количественного изучения, как луна на заре. Примером может служить статистический метод. Его успехи огромны; за последние десятилетия он завладел большими новыми областями в биологии, в физике и пр. Но если в биологии и физике его применение весьма отдаленно связано с классовыми интересами, то в области изучения общественных явлений эта связь близка и несомненна. Эта связь и является, между прочим, социальным источником тех методологических ошибок, которые в статистике можно резюмировать, как недостаточную оценку значения качественного, «материального» анализа.

«Политика есть счет миллионами», говаривал Ленин. Статистика также «считает миллионами». Вопрос в том, как считать. Для Ленина эти «миллионы» были миллионами пролетариев, полу-пролетариев, буржуазии и т. д. В основе лежит классовый анализ общества, т. е. определенный «качественный» его анализ. Наоборот, буржуазная социология стремится заглушать классовую природу общества, и соответственно с этим буржуазная статистика качественного характера классовых различий обычно игнорирует, сводя дело к чисто-количественному различию в степени «дохода», в «имущественном положении» и пр.

<sup>1)</sup> А. Б. Рой, «Энергетическое и механистическое понимание», СПб. 1910 г., стр. 199.

Государственная статистика дает, например, общую группу «лиц, занятых в сельском хозяйстве», или в транспорте и т. п., сваливая туда, вместе и мелких хозяйчиков и капиталистов и бедняков и пр.

Ленин уже 30 лет назад назвал подобные приемы статистики «игрой в цифирки». Раньше чем создавать план измерения, счега, Ленин предварительно определял само понятие, давал «материальный», качественный анализ подлежащего изучению явления. Это и есть единственно теоретически состоятельный метод. Все экономические работы Ленина 90-х годов, в особенности «Развитие капитализма», являются прекрасной иллюстрацией этого метода.

В 1914 году Ленин пишет «О задачах земской статистики» и в первую голову останавливается на вопросах методологического порядка. Основное сводится у него к тому, что количественное научение должно быть поставлено на основе изучения качественных различий. «Данные о каждом из 300.000 дворов... могут быть великолепны,—пишет В. И.,—но для научных целей, для понимания экономики России эти данные могут пропадать почти совершенно, если неудовлетворительна обработка их. Ибо общие средние... говорят мало». «Цифры должны быть размещены в таблицах так, чтобы эти таблицы отражали различные типы переходных хозяйств от натурального до торгово-промышленного». «Желательно и необходимо группировать дворы не только по землевладениям, но и по величине посева... по величине посева торговых растений» и т. д. И дальше:

«Без разносторонних и рационально составленных групповых и комбинационных таблиц богатейшие подворные данные прямо таки пропадут. В этом—наибольшая опасность современной статистики, которая все чаще страдает... я бы сказал, «статистическим кретинизмом», за деревьями исчезает лес, за горами цифр исчезают экономические типы явлений»<sup>1)</sup>.

Я извиняюсь перед «марксистами», которые не любят, когда им говорят о Гегеле, но все же рискну здесь указать, что ленинское замечание насчет «игры в цифирки» ближайшим образом напоминает то, что Гегель писал в своей «Малой логике» (и именно там, где он переходит от количества к «качественному количеству», к мере): «В статистике числа, которые стараются определить, представляют интерес также только по отношению к устанавливаемым ими качественным результатам. Чисто числовые изыскания, делаемые без указанной здесь руководящей точки зрения, справедливо считаются за праздное любопытство, которое не удовлетворяет никакому, ни теоретическому, ни практическому интересу» (§ 106 приб.)<sup>2)</sup>.

Статистические средние величины, над которыми иногда смеялся Ленин, имеют какое-либо значение только тогда, когда они обладают определенным качественным значением. «Дело статистика,—пишет М. Смит,—уметь выбрать надлежащий тип

<sup>1)</sup> Ленин, Собр. сочин., т. XII, ч. 2, стр. 311 и 309. Подчеркнуто мною.

<sup>2)</sup> Статистика и математика,—говорит Гегель также в «Науке Логике»,—только тогда заслужат название науки, когда они будут заниматься не только количеством, но и мерою.

средней, определить, нужны ли в каждом конкретном случае простая средняя, мода, медиана и т. д., но он может принять за эту работу лишь после того, как соответствующие знагоки специалисты определили природу и границы того коллектива, который должна характеризовать средняя или, иначе говоря, произвести предварительную аналитическую работу. Ибо вне этого условия мы как раз и получим тот вид арифметической средней, о которой Боули так остроумно сказал, что «арифметическая средняя сама по себе скорее способна затемнить, чем выявить важные факторы и по природе своей пригодна для сокращенных выводов и часто служит оправданием лениости»<sup>1)</sup>.

Такое же ограниченное значение имеют и кривые Гауса и Пирсона, система которых «подчиняется лишь чисто-математическим требованиям, а не требованиям того материала, для обработки которого она предназначена»<sup>2)</sup>.

В предисловии к сборнику: «Статистический метод в научном исследовании» М. Смит совершенно справедливо ставит основной вопрос: «От числа к материи или от материи к числу—такова в общем и целом постановка вопроса. В конце концов, защитники статистического мировоззрения, горячо отстаивавшие сперва положение, что при всяком научном исследовании «вначале быть число», постепенно перешли на другую точку зрения, согласно которой при каждом количественном изучении вначале должна быть «организующая идея», при чем сама организующая идея является плодом материального анализа объекта количественного изучения»<sup>3)</sup>.

Вопрос: «от материи к числу или от числа к материи» приобретает особое значение в виду существования в современной буржуазной науке такого «увлечения» математическими методами, такого абсолютизирования их, которое выходит за рамки теоретически состоятельного и приводит прямым путем к философскому идеализму. Особенно это заметно в современной физике. Очень значительное направление физиков-математиков отрывает исследование от его материальной базы и, в конце концов, свои априорные математические конструкции выдает за истинную действительность. Это делается так, что если, например, физика приходит к некоторой постоянно встречающейся величине, в роде так называемой постоянной  $h$  Планка, «физическая» материальная сущность которой остается некоторое время неизвестной, то это дает повод некоторым исследователям успокоиться на мысли, что в данном случае имеется чисто-математическое отношение—и только.

Подобным же образом электроны принимаются за простые математические точки трехмерного пространства (а если мир принимается за «четырёхмерный», то точки становятся «линиями»). Электромагнитное поле, масса, энергия—все это, весь мир, создается взаимоотношением математических точек. Материи нет. Мы возвращаемся к своему рода пифагорейскому представлению: сущность мира—это число!

<sup>1)</sup> «Статистический метод в научном исследовании», сб. под редакцией М. Смит и А. Тимирязева, М. 1925 г., стр. 13.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 209.

<sup>3)</sup> Указанный сборник, стр. 3.



Соответственно с этим причинные соотношения также объявляются фикцией. Для математика нет понятия причинности, а есть только функциональная зависимость.

Наконец, пространство и время также исчезают. С точки зрения теории относительности то качественное различие, которое материализм и классическая физика устанавливает между пространством и временем, несостоятельно. Время и пространство заменяется понятием четырех измерений, которые в системе мировых координат выступают как равноправные и могут целиком замещать друг друга. Нет материи, нет времени и пространства, нет причинных связей, есть математические отношения, символы, формулы, зависимости. Нет качеств—есть только количества. Эта чисто-количественная точка зрения, разумеется, есть также чисто-идеалистическая точка зрения.

Ленин назвал это направление в физике «физическим идеализмом». «Реакционные популяризаторы»,—пишет Ленин,—порождаются самим прогрессом науки. Крупный успех естествознания, приближение к таким однородным и простым элементам материи, законы движения которых допускают математическую обработку, порождает забвение материи математиками. «Материя исчезает», остаются одни уравнения. На новой стадии развития и, якобы, по-новому получается старая кантрианская идея: разум предписывает законы природе». И дальше Ленин заключает: «Герман Копен, восторгающийся идеалистическим духом новой физики, доходит до того, что проповедует введение высшей математики в школы для ради внедрения в гимназистов духа идеализма, вытесняемого нашей материалистической эпохой»<sup>1)</sup>.

«Физический идеализм» воображает, что он возвышается на высшую ступень науки, если игнорирует материальную качественную природу изучаемых объектов, так сказать, «освобождается от качества». Довольствуясь только математической оболочкой мира, он делает из бедности добродетель. На самом деле углубление в мир чистых математических признаков—это выражение бессилия проникнуть в действительный мир и дать ему более или менее законченное не только количественно, но и качественно определение.

В науке нередко проникнуть в качественную природу явления бывает труднее, чем дать ему количественное выражение. Так, в политической экономии количественные различия стоимостей были известны и до Маркса, но неизвестна была их качественная природа. Стоимость у Маркса приобрела полную определенность меры, потому что Маркс открыл ее доколе неизвестное «качество». В письме к Энгельсу в 1867 г. Маркс пишет о «Капитале» следующее: «Самое лучшее в моей книге: 1) в первой же главе подчеркнутая особенность двойственного характера труда, труда смотря по тому, выражается ли он в потребительской или в меновой стоимости. На этой теории о двойственном характере труда покоится все понимание фактов»<sup>2)</sup>.

Заработная плата, как определенное эмпирическое явление, с его количественными определениями, была известна задолго до

<sup>1)</sup> Ленин, Собр. сочин., т. X, стр. 259—260.

<sup>2)</sup> Маркс и Энгельс, Письма, Москва 1923 г., стр. 168.

Маркса. Но не было известно все то, что Маркс раскрыл, как природу «переменного капитала».

В физике природа тяготения оставалась неизвестной, когда была дана количественная характеристика закону тяготения. Для целей астрономии и для многих других теоретических и практических целей было достаточно ньютоновское представление о тяготении, как о приложенной силе, действующей пропорционально массам и обратно пропорционально квадрату расстояния. В этом не было ничего «антинаучного». Но если сделать «из бедности добродетель», если огульно отказаться от проникновения в качественную природу различных явлений, ограничиваясь нахождением для них соответствующих математических символов и формул, то мы уйдем из действительного мира в мир призраков, погрузимся в ту ночь абсолютного тождества, о которой сказано, что в ней «все кошки серы».

«Сравнительный метод имеет своей задачей привести наличные различия к тождеству. Материализм и является той наукой, которая осуществляет эту цель наиболее полным образом, т. е. она приводит различия к тождеству. Но это тождество есть чисто формальное, внешнее, отвлеченное тождество. Однако за отвлеченным тождеством вещей не следует забывать их различия»<sup>1)</sup>.

Ленин потому и отвергал статистические «средние», что они ступеньвают все «различия», замаскировывают их.

«Подведение множества случаев под один общий принцип Гегель никогда не называл диалектикой»,—писал Маркс по поводу Лассалля<sup>2)</sup>.

Для Ленина, писал я, те «миллионы», которыми «считает» политика, были качественно определенными классовыми миллионами. Но и самый класс Ленин рассматривает не как нечто сплошное, но в его исторически складывающихся прослойках.

«Капитализм»,—говорит Ленин,—не был бы капитализмом, если бы «чистый» пролетариат не был окружен массой чрезвычайно пестрых переходных типов от пролетария к полупролетарию, от полупролетария к мелкому крестьянину и т. д., если бы внутри самого пролетариата не было делений на более или менее развитые слои, делений земляческих, профессиональных, иногда религиозных и т. п.»<sup>3)</sup>.

Что этому противопоставляет буржуазная социология?—Социальный атомизм, ступеньвание всех классовых граней, маскировку. Примером такого рода методологии «социального атомизма» является в частности и буржуазная политическая экономия с ее «робинзонадами», политическая экономия, исходящая из отношения отдельных индивидов, из индивидуальных психологических моментов (австрийская школа) и т. п.

В лучшем случае, что может дать подобный метод—это более или менее удачное описание отдельных моментов изучаемого явления. Но это описание не только еще далеко от объяснения, но может увести в сторону от объяснения, т. е. сыграть чисто отрицательную роль (как это в частности и имеется у Бем-Баверка и его школы).

<sup>1)</sup> А. Деборин, «Философия и марксизм», Гиз, 1926 г., стр. 265.

<sup>2)</sup> Маркс и Энгельс, Письма, М. 1923 г., стр. 121.

<sup>3)</sup> Ленин, Собр. сочин., т. XVII, стр. 162.

Вообще говоря, чисто количественный метод является методом описательным. Он в разных случаях (как в статистике, где качество тоже необходимо вторгается в исследование) только подводит к объяснению сущности явлений. Поэтому также само по себе математическое познание не знает категории «сущности», не вводит в «сущность» вещей, не знает причинных зависимостей. Оно внешне прилагается к предмету изучения, не будучи в состоянии раскрыть предмет в его «самодвижении». А без того, чтобы понять предмет в его «самодвижении», без того, чтобы за «явлением» предмета вскрыть его «сущность»—без этого нет диалектического понимания.

Мы не можем здесь останавливаться подробнее на этих моментах. Укажем только на то, что Гегель уже в «Феноменологии духа» дал прекрасную общую характеристику «математического познания», которая в наше время прямо может быть направлена как против математического мистицизма современных физиков-идеалистов, так и против наших домогоченных механистов, которые усердно этим идеалистам подпевают.

«В математическом познании,—пишет Гегель,—рассмотрение есть действие внешнее для знания». В математике все приведено в абстрактное мертвое господство. Те различия, которые там есть, сами являются различиями в абстракции тождественных моментов. «Принцип величины, различия, не достигнутого в понятии, и принцип равенства абстрактного безжизненного единства, не могут сочетаться с чистым беспокойством жизни и абсолютным различием».

«Мертвое не движется, так как оно не устанавливает различий сущности, существенного противоположения или неравенства, поэтому не достигает перехода в противоположное, не приходит к качественному имманентному движению, к самодвижению» (курсив наш).

И вот еще для современных «физических идеалистов», воображающих, что в своих априорных математических построениях они создают действительную ткань мироздания: «Действительное не есть пространственное в том виде, как оно рассматривается в математике; такой недействительностью не занимаются ни конкретное чувственное созерцание, ни философия. В такой недействительной сфере может быть также только недействительное истинное, т. е. фиксированные мертвые положения»<sup>1)</sup>.

Здесь мне хотелось бы остановиться еще на некоторых моментах, связанных с вопросом о «качестве», о «переходах» и пр. Но, чтобы быть кратким, я коснусь только мимоходом вопроса о методологическом значении категории «постоянства» или «относительной устойчивости» (с этой категорией связано определение «качества», как я об этом уже говорил в предыдущих главах настоящей статьи).

У нас обычно, говоря о диалектике «переходов», ограничиваются вопросом о «скачке». Это, конечно, очень важный и значительный вопрос. Переломные моменты, повороты, «скачки» предполагают, однако, свое противоположное: периоды относительного постоянства, относительной устойчивости. И этого не следует забывать. В природе и в обществе постоянно одно пере-

1) «Феноменология духа», перевод Радлова, стр. 19—21.

ходит в другое, но из-за этого не следует игнорировать границ, игнорировать различий.

«Нет ни одного явления,—пишет Ленин,—которое бы не могло, при известных условиях, превратиться в свою противоположность». «Но,—продолжает он,—только софист мог бы стирать разницу между империалистской и национальной войной на том основании, что одна может превратиться в другую» (XIII, стр. 439).

«В природе (и обществе) нет ни абсолютного постоянства, ни абсолютной изменчивости» (Деборин).

Смена моментов крутого перелома и периодов относительной устойчивости дает некоторую «узловую линию развития» в общественной жизни, с диалектическим характером которой следует считаться и со стороны переломов и со стороны ее периодов «постоянства». Если бы не было этого относительного постоянства, было бы невозможно на сколько-нибудь продолжительный период вперед принимать решения тактического, а тем более стратегического характера.

Что такое стратегия партии?

Я обращаюсь к определению т. Сталина: «Стратегия есть определение направления основного удара пролетариата на основе данного этапа революции. Борьба за проведение этого плана на всем протяжении этого этапа». «Стратегия имеет дело с основными силами революции и их резервами. Она меняется в связи с переходом революции от одного этапа к другому, оставаясь в основном без изменения за весь период данного этапа»<sup>1)</sup>.

Но в пределах данного этапа, периода и проч. могут быть и неизбежно бывают свои особые времена переломов и проч. Ленин говаривал, например, о «переходных периодах в переходном периоде». Относительно устойчивый период сам состоит из цепи более «мелких» этапов развития.

С этим связана необходимость в политике, кроме стратегического плана на сравнительно большой период, иметь еще тактический план для каждого отдельного этапа внутри этого периода.

«Тактика,—говорит Сталин,—есть определение линии ведения пролетариата за сравнительно короткий период прилива или отлива движения, подъема или упадка революции» и т. д. «На основе данного этапа революции тактика может меняться несколько раз».

В области организационной, в области партийного строительства, если остановиться на положении: «все течет» и проч., и игнорировать существование и необходимость относительной устойчивости форм—можно прийти к формуле: «организация—процесс», против которой большевизм боролся в первые годы существования партии в России.

В 1904 году Троцкий писал: «Мы не ставляем самостоятельных организационных задач и думаем, что самые неотложные из них разрешаются попутно, в процессе политической борьбы». Ленин, выступая против этого, отстаивал необходимость «поспо-

1) Сталин, «О Ленине и ленинизме», Гиз, П., стр. 68 и 69. Подчеркнуто мною.

инной политической организации пролетариата» с твердым организационным уставом и пр. и обрушивался на людей, которые готовы нарушать правила организации, «рассуждать потом, что организация есть процесс, организация есть тенденция, организация есть форма, идущая в ногу с содержанием, и что поэтому нелепо и утопично требовать соблюдения правил организации»<sup>1)</sup>.

Форма действительно меняется с содержанием, но она меняется «скачками» и должна носить между моментами поворотов более или менее определенный, законченный характер. В противном случае получится такое «и да, и нет», которое с диалектикой имеет общего очень мало. Это будет то самое: «с одной стороны, нельзя не признаться, с другой стороны, нельзя не сознаться», которое так прекрасно характеризует типичные штатские мелкобуржуазной, соглашательской политики и очень мало общего имеет с революционным марксизмом, с ленинизмом.

Весьма характерно для понимания тов. Сарабьяновым марксистской диалектики то, что он считает, что «логика движения», «логика противоречия» «оперирует с формулами... пожатия плечами»<sup>2)</sup>. Для тов. Сарабьянова это не случайно вырвавшаяся фраза, это связано с его уклоном к релятивизму и субъективизму, это связано также с его «пониманием качества, с его «пониманием» методологического значения этой категории.

В данном случае т. Сарабьянов, стоящий особняком и желающий, чтобы его причисляли к «механистической» братии, разделяет, тем не менее, участь всех «механистов» от марксизма. Непонимание категории «качества» также имманентно механистам, как непонимание диалектического противоречия, как непонимание категории «целого» и «частей» и пр. Все это, разумеется, совершенно необходимо связано одно с другим, тащит одно другое. «Дедка за репку, бабка за дедку»... Но диалектической «репки» все же механистам из марксизма не вытащить.

#### VI. Механический материализм и категория «качества».

«Если выделить самое ядро, самое существо спора, то будет ясно, что развернулась борьба между двумя непримиримыми точками зрения»<sup>3)</sup>.

Так писал по поводу спора в марксистском лагере между механистами и диалектиками тов. Степанов, сам являющийся как известно, одним из «лидеров» наших современных механистов. «Философскому нейтралитету нет теперь места», — писал он другой раз<sup>4)</sup>.

Недурно сказано! Умные речи приятно слышать. В чем же «ядро спора»? Я думаю, что вопрос о категории качества является как раз одним из тех центральных вопросов диалектического материализма, которые входят в это «ядро».

Механисты отрицают качество. Было бы, разумеется, верхом наивности предположить, что они просто-на-просто заявляют

<sup>1)</sup> Ленин о Троцком и троцкизме, Москва 1925 г., стр. 19 и 20.

<sup>2)</sup> В. л. Сарабьянов, Беседы о марксизме, М. 1925 г., стр. 3. Подчеркнуто мною. А. С.

<sup>3)</sup> См. «Под Знаменем Марксизма» 1925 г., № 3, стр. 212.

<sup>4)</sup> И. Степанов, Исторический материализм и современное естествознание, М. 1924 г., стр. 9.

нет никаких качественных различий и баста! Дело обстоит значительно сложнее.

Тов. А. К. Тимирязев в одной своей речи на диспуте по вопросам «механистического естествознания» таким образом формулировал спорную проблему: «может ли марксист, стоящий на почве диалектического материализма, говорить о «механическом объяснении явлений, протекающих в живом организме, и можно ли вообще сложное сводить к простому?»<sup>1)</sup>.

«Можно ли сводить сложные явления к простым»? И тов. Тимирязев, примыкающий в данном случае к механистам, на этот, по его словам, «основной вопрос» отвечает положительно, считая, что именно этим методом пользуется, как правилом, научное исследование.

Этот вопрос можно формулировать иначе, как вопрос об отношении целого и частей. Механистическое понимание считает, что в целом нет ничего, чего не было бы в частях, целое может быть «сведено» к частям, оно есть сумма своих частей. Но в этом случае целое не является по отношению к своим частям чем-то качественно новым, между ним и частями его признается лишь количественное отношение. Т.-е., собственно, — целого, как такового, нет.

Речь тов. А. К. Тимирязева, в которой он ставит указанный вопрос, любопытна тем, что тов. Тимирязев тут же сам на голову разбивает свой собственный «тезис», сам того не замечая. Делает он это столь артистически, что ложность механической концепции становится кристаллически ясной. Судите сами. Он говорит:

«Можно ли говорить о температуре одной молекулы? Вопрос не имеет смысла, можно говорить только о скорости, с которой она двигается. То качество, которое мы называем словом температура, появляется только тогда, когда мы имеем достаточно большое количество движущихся и взаимодействующих между собой молекул. И дальше: «Два твердых цилиндра, движущихся в воде, двигают вместе с собой значительно больше воды, если они расположены вблизи друг от друга; таким образом, производимое ими действие не равно простой арифметической сумме действий каждого в отдельности. Здесь опять мы видим, что коллектив не есть простая сумма его членов».

Что верно, то верно! Однако, как же отсюда сделать тот вывод, что «вообще» сложное можно сводить к простому? Это, повидимому, особый секрет тов. Тимирязева, залугавшегося между совершенно верными рассуждениями из области физики и совершенно ложными «механистическими» выводами методологического порядка.

Вели поверить философским рассуждениям тов. А. К. Тимирязева, будто научный метод состоит в «сведении» сложного к простому, то в политической экономии прав будет Вем-Баверк, а не Маркс. Вем-Баверк оперирует с индивидуальным сознанием хозяйствующего субъекта, а Маркс исследует «закономерность

<sup>1)</sup> «Механистическое естествознание и диалектический материализм». Дискуссионный сборник. 1925 г., стр. 18. Подчеркнуто мною; у автора подчеркнута вся эта фраза целиком.

общественных явлений безотносительно к их связи с явлениями из области индивидуального сознания» 1).

Буржуазные экономисты обвиняли Маркса в «логическом реализме» за то, что он исходил, как из самодействующего целого, из такого «сложного» явления, как общество.

Подобно этому в наше время наши доморощенные механисты из марксистского лагеря готовы упрекать «школу Деборина» в средневековом «реализме» за признание реальности таких «общих понятий», как виды в животном мире или как классы в обществе. Ведь, видите ли, «истинным бытием» обладают только индивиды!

Для механистов такая позиция естественна, несмотря на всю нелепость отрицания реальности таких конкретных понятий, как общество, класс и пр. Ведь общество, класс и пр. есть целое, есть нечто качественно новое по отношению к входящим в состав его индивидам. А с точки зрения механистов реально существует только «простое», реальные части, но нет целого, как чего-то отличного от суммы частей.

«Чисто количественная операция деления имеет границу, у которой она переходит в качественное различие: масса состоит из одних молекул, но она по существу отлична от молекул, как и последняя, в свою очередь, отлична от атома. На этом-то отличии и основывается обособление механики, как науки о небесных и земных массах, от физики, как механике молекул и от химии, как физике атомов» 2).

О чем говорит Энгельс в этих словах? Он говорит здесь, что: 1) сложное нельзя свести к простому, 2) потому что сложное не только количественно, но качественно отличается от «простого», 3) поэтому также физику и химию нельзя свести к механике, ибо между ними качественное различие. Разумеется, это не в меньшей степени относится и к органике, к социологии и пр.

В противоположность этому самая «суть» механического понимания заключается в стремлении все отношения свести к механическим и в полном отрицании тех качественных различий, о которых пишет в данном случае Энгельс.

Очень решительно высказывается на этот счет тов. Степанов. Качественные различия—это грех молодости человеческого познания, дань невежеству. Наука сотрет эти различия: «То обстоятельство, что бытие до сих пор остается многокачественным, для нашего познания свидетельствует, мой милейший критик, не о прогрессе науки, а о ее большой молодости» 3).

Они все еще ищут «качества»—говорит тов. Степанов о своих философских противниках из марксистского лагеря 4). Качества уже даны, говорит он. Но вот он предлагает «грубое выражение» «качества» заменить «неравненно более тонким и гибким»: «формы движения» 5).

1) Бухарин, «Политическая экономия райтуса».

2) «Архив Маркса и Энгельса», т. II, стр. 223.

3) «Под Знам. Маркс.» 1925 г., № 8—9, стр. 66.

4) Выше указанный «Дискуссионный сборник», стр. 17.

5) «Под Знам. Маркс.» 1925 г., № 3, стр. 224. При этом т. Степанов все упоминает имя Энгельса.

Зачем вдруг понадобился т. Степанову этот «терминологический» переворот? Конечно, его цели выходят за пределы «терминологии». Он просто хочет свести все изменения, все формы движения к механическому движению, стирая качественную разницу между ними и всякую закономерность—к закономерности механической.

Я не буду здесь останавливаться на том, что, вопреки тов. Степанову, Энгельс не «сводил» всех форм движения к механическому движению. Об этом достаточно писалось, в особенности в статьях тов. Деборина 1).

Плеханов также писал, что материализм отнюдь не «сводил» всех сил к движению 2).

Но у механистов их утверждение, что механическим движением исчерпываются все виды движения, это утверждение связано с непониманием особых закономерностей, которые отличают «органичку» от химии и физики, явления социального порядка от явлений естественных и г. п.

Так, тов. Степанов считает, что «задача научного познания процессов органической жизни» заключается в том, чтобы «открывать в них те общие и относительно простые закономерности, которые установлены физикой и химией» 3).

Таким образом, у тов. Степанова выходит, что достаточно быть блестящим физиком и химиком, чтобы быть также прекрасным лекарем, ибо в организме нет никаких процессов, кроме тех, которыми занимается физика и химия.

Указание на то, что мертвая и живая материю качественно различны, приводит его в состоянии священного негодования. Он считает это «витализмом».

Вот другой механист, Г. Г. Боссэ. Он ополчается в защиту позиции т. Степанова и нападает на т. Стена за то, что тот, видите ли, «объявляет недопустимость одного количественного изучения мира, как метода абстракции» 4).

Подобно т. Степанову, Г. Г. Боссэ думает, что качественное изучение—это временное зло, с которым пока приходится мириться «там, где количественный анализ не удастся». Совершенно в духе механического мировоззрения он хочет также все сложные и своеобразные закономерности различных областей жизни «свести к простому», например: подвести под законы общественной жизни... «механистический фундамент».

Сможем ли мы, спрашивает Боссэ, выработать приложимый к анализу социальных явлений «метод физико-химико-биологический»? И отвечает, подчеркивая: «У нас не сделано ни одного шага в этом направлении». Были, дескать, неудачные попытки некоторых буржуазных социологов; но... «Но ведь прошлые неудачные подходы не доказывают принципиальную невозможность подведения количественного диалектико-материалистического, механистического фундамента под социологию» 5).

1) См. «Под Знам. Маркс.» 1925 г., № 10—11.

2) «Критика наших критиков», 1906 г., стр. 158 и 161.

3) «Под Знам. Маркс.» 1925 г., № 3, стр. 219.

4) Указанный Дискуссионный сборник, стр. 60.

5) Там же, стр. 63 и 64.

Я не думаю здесь останавливаться на том, сколь далека от марксизма попытка специфические социальные закономерности свести к естественным. Это совершенно ясно для каждого, чуждому знакомому с марксизмом.

И Маркс, и Энгельс, и Ленин достаточно резко и определенно высказывались на этот счет. Все подобные рассуждения механистов свидетельствуют о полном их незнании с основами марксизма.

«Перенесение биологических понятий вообще в область общественных наук есть фраза,—говорил Ленин 1).—Нет ничего легче, как наклеить «энергетический» или «биолого-социологический» ярлык на явления вроде кризисов, революций, борьбы классов и т. п., но нет и ничего бесплоднее, схоластичнее, мертвее, чем это занятие». Суть в том, что «приемы этого подгоняния, этой «социальной энергетике» сплошь фальшивы» 2).

Физические и прочие законы, конечно, продолжают действовать; но 1)—и это главное—они несколько не могут ни объяснить, ни заменить своеобразных законов общественного развития, 2) общественные условия могут сами видоизменить действительные законы природы (как в случае законов размножения расы и пр.). Совершенно справедливо говорит тов. Невский: «Сами анатомические, физиологические и всякие иные изменения в организме человека—разве они не носят на себе кантов отпечаток классовой структуры общества? Несят, это очень хорошо знают теперь даже студенты, прошедшие курс политической грамоты» 3).

Старые предрассудки живучи. Мне как-то полгода назад пришлось в одном советском журнале читать рассуждения о том, что революции связаны с... солнечными пятнами. Понятно, что буржуазия заинтересована в том, чтобы вносить путаницу в изучение социальных закономерностей под видом «ужасно» ученых рассуждений о связи революции со спутниками Юпитера или с кольцом Сатурна или что-нибудь в этом роде. Но при чем тут марксизм?

Тов. Степанов по существу тоже не очень далеко ушел от Босса в этом вопросе. Он пишет, что «исследователю нечего и мечтать» о том, чтобы сложные социальные явления выразить «в единицах механики или в калорийных единицах». Но что это означает у т. Степанова? Это означает, что пока мы не в состоянии свести общественные явления к физико-химическим законам, ибо фактически слабы еще наши научные силы и средства, но это не значит, что принципиально невозможно подобное сведение.

Как раз по этому поводу тов. Степанов цитирует Энгельса: «Исключительное применение мерил механики к явлениям, природы которых химическая и органическая, к явлениям, в которых законы механики, конечно, продолжают действовать, но оттесняются на задний план другими высшими законами (курсив наш. А. С.),—составляет специфическую, но для своего времени неизбежную, ограниченность классического французского материализма».

1) «Материализм и эмпириокритицизм», изд. 1920 г., стр. 336.

2) Там же, стр. 335.

3) «Воинствующий Материалист», сб. № 3, стр. 29.

По поводу этих слов Энгельса, искажая их смысл, т. Степанов замечает: «Значит, оперируйте высшими, более сложными законами лишь до тех пор, пока это необходимо. Но смотрите не переждитесь на этом: когда наука даст возможность сводить химию и биологию к молекулярной... механике, производите это сведение» 1).

Ясное дело: если т. Степанов не «сводит» законов революции к механике, то только «вследствие «эмпирической» невыполнимости этой операции, а не потому, что этот прием кажется ему «принципиально», т. е. методологически, неправильным. Наоборот, «принципиально» механический материализм сводит все формы движения к одной: к механическому движению. Только это последнее является истинным и действительным, существует «в себе и для себя». Все остальные существуют лишь «для нас» в силу ограниченности наших познавательных способностей.

К такому же абсолютному тождеству приводит механистическая философия и понятие материи. Материя для них, совершенно в духе старого до-марксовского атомизма, состоит из простейших частиц, которые качественно однородны, не сводимы даже ни к чему, которые составляют «первоматерию»—простейшую, бескачественную основу всего. Естественное, по мнению т. Степанова, «находит единую материю как таковую (!!), как единую первооснову (!) всех форм материи» 2). Этой материей, «как таковой», является, конечно, электрон и положительные ядра атомов.

«Материя, как таковая, это чистое создание мысли и абстракция», пишет Энгельс. «Материя, как таковая — это нечто бескачественное. Действительные предметы мира не бывают бескачественными никогда. Электрон—это простейшее, «первооснова», думает тов. Степанов. «Электрон так же неисчерпаем, как и атом», пишет Ленин (т. X, стр. 220) 3).

Свести все к бескачественной «единой материи, как таковой»,—это значит признать, что за видимым качественным миром лежит «истинный» мир—бескачественный. Естественно, что механисты только так называемые «первичные качества» считают объективно существующими (я писал об этом по поводу т. Сарабьянова). Но это означает также, что истинной является феноменализм: мы видим вещи не такими, какими они существуют «в себе». Качественное разнообразие мира—это «видимость». Сущность мира—число! Неудивительно, что т. Степанов после этого пишет: «Не приходится ли действительно сказать, что электронная теория строения материи возвращает нас к Пифагору, для которого сущности вещей—в числе, в количественной определенности? Если и возвращается, то «на основе всех научных приобретений» громадного последующего за Пифагором периода» 4).

1) «Под Знам. Маркс.» 1925 г., № 3, стр. 233 и 234. Подчеркнуто мною.

2) «Под Знам. Маркс.» 1925 г., № 8—9, стр. 59.

3) Энгельс о механической точке зрения пишет: «Если мы должны сводить все различия и изменения качества к количественным различиям и изменениям, к механическим перемещениям, то мы с необходимостью приходим к тому положению, что вся материя состоит из тождественных мельчайших частиц» («Архив Маркса и Энгельса», II, стр. 145).

4) См. «Под Знам. Маркс.» 1926 г., № 8—9, стр. 59.

Поздравляем с возвращением к Пифагору («на основе всех научных приобретений»).

Разумеется, после этого тов. Степанов может спохватиться и сказать: а все-таки электроны тоже обладают качествами. Но в его системе это будет только «словом». Да он и сам как будто сознает это: «Впрочем,—заявляет он,—относительно первичных элементов материи, электронов, будет правильно повторить следующие слова Гегеля: «Абстракция материи есть как раз то, в чем хотя и имеется форма, но только как безразличное и внешнее определение». Оно безразлично,—продолжает тов. Степанов,—потому, что для современного исследования чисто количественные изменения этих первичных элементов дают все формы материи. Только для современной науки эти первичные элементы—реальность, а не мысленная абстракция материи»<sup>1)</sup>.

Что говорит в этих словах т. Степанов?

1) Что для «первичных элементов материи» «форма», т. е. качество, безразлично (математические точки—не так ли?).

2) Что его «первичные элементы»—это та самая «абстрактная материя» или «материя как таковая», реальность которой по собственному признанию т. Степанова, отрицали и Гегель, и Энгельс.

3) Что эта абстрактная, равнодушная к «формам» материя и есть по Степанову подлинная реальность.

Словом: сущность мира—число!

Воспринимаем же мы мир, как качественный также. Логический вывод: мы «видим» не тот мир, который существует на самом деле, «в себе».

От «механистического материализма» ведет дорожка к феноменализму.

Когда тов. Сарабьянов старается уверить почтенных читателей, что он никак не может согласиться с Лениным в вопросе о знаменитых плехановских «иероглифах», что он соглашается считать наши представления чем-то соответствующим внешним объектам, но ни за что не согласится считать их снимками, копиями, отображениями и пр.<sup>1)</sup>—то он протягивает руку феноменализму.

Тов. Бухарин недавно писал о «борьбе со всеми оттенками и отпочковками идеалистической метафизики вплоть до ее маленьких зернышек—плехановской «теории иероглифов»—о борьбе, которую беспощадно вел Ленин.

Но когда теперь тов. Сарабьянов на ошибке Плеханова настаивает, за это «зернышко идеалистической метафизики» цепляется, то это значит, что «зернышко» пустило уже основательные корни в кое-каких головах.

Возьмите изданный механистами «Дискуссионный сборник под названием: «Механистическое естествознание и диалектический материализм». Просмотрите речи представителей «механистического» направления в марксизме и вы увидите, насколько несты-

<sup>1)</sup> «Под Знам. Маркс.» 1926 г., № 6, стр. 64 и 65.

армия механистов. Одни из них идут в своих выводах дальше, другие останавливаются ближе. Но для философской оценки их позиции в целом важно не то, что кто-либо из них останавливается на тех или других неполных, половинчатых выводах. Важна логика их позиции в целом, внутренняя логика их системы.

Если задаться вопросом, в чем главный корень их ошибок, где тот фокус, в котором сходятся нити этих ошибок, то, мне кажется, надо будет ответить, что корень—в непонимании основной категории диалектики—единства противоположностей. Я уже писал, что механисты понимают противоречие, как внешнее. Поэтому у них может быть или тождество, или различие, но не может быть единства тождества и различия.

Часть (простое) и целое (сложное). Они в известном смысле тождественны, так как целое состоит из своих частей. Но они и различны. Формальная логика и механическое (формально-логическое) понимание схватывает только одну сторону: тождество их. Тождество, оторванное от различия, становится ложью. «Первичные и вторичные качества». Звук и тепло, взятые не как ощущения, а в качестве объективных явлений, в известном смысле тождественны с механическим движением: это формы движения молекул. Но они и отличны от него, ибо они объективно представляют особую форму движения, с особыми закономерностями, так что, например, нельзя говорить о «температуре» одной молекулы. Механисты же видят только тождество и говорят: объективно существует только механическое движение; звук, тепло и пр.—только субъективные качества. Абсолютное тождество в объективном мире переходит в абсолютное различие субъективного и объективного: в субъективном восприятии много качеств, в объективном мире только одно механическое движение.

Закономерность. Физика—это «механика молекул», химия—«физика атомов». В организме продолжают действовать законы физики, в обществе—биологические законы. Момент тождества налицо. Но законом сохранения энергии, несмотря на всю его универсальность, не объяснишь классовой борьбы и экономических кризисов. Замечая тождество, механисты игнорируют различие. Социальные законы не свести к биологическим и т. д.

В общем: явление и сущность. Сущность—думают механисты—это количественные отношения. Качественное, многообразие принадлежит миру явлений. Сущность и явление различны. Здесь нет тождества, т. е. нет и «конкретного тождества»—единства, как его понимает диалектика. Здесь только различие.

Такова законченная концепция механистической философии, безразлично, додумывают ее до конца отдельные механисты или нет.

Позволительно будет закончить эту характеристику следующими словами Маркса:

«Все грубиянство «здравого человеческого рассудка»... скрывается в том, что там, где ему удается заметить различие, он не видит единства, а там, где он видит единство, он не замечает различия. Когда он устанавливает различные определения,

они тотчас же затвердевают у него под руками, и он видит самую вредную софистику в стремлении так столкнуть между собой эти понятия, чтобы они вспыхнули огнем».

### VII. Итоги «сарабьяновского вопроса».

В настоящей статье я не ставил себе специальной задачей ответить на новые попытки тов. Сарабьянова «оправдаться». Но я мимоходом, говоря о механистах, обстреливал философские позиции т. Сарабьянова и думаю, что заткнувшимся спорам с ним надо подвести короткий итог, чтобы уж кстати покончить с этим невеселым вопросом.

Во-первых: т. Сарабьянов заявляет мне: «На вас лежит обязанность показать, что я сам о себе думаю»<sup>1)</sup>.

Признаться, мне это казалось несущественным. Это важно лишь в том смысле, что, если бы т. Сарабьянов «сам о себе думал», что его система гнет к махизму, к субъективизму, ничего не имеющему общего с марксизмом, если бы он сам это понимал и заявлял вслух, то нам не о чем было бы спорить. В том, ведь, и загвоздка, что Сарабьянов считает себя благонамереннейшим материалистом и диалектиком, а я утверждаю, что его философский корабль, идущий под флагом диалектического материализма, дает здоровеннейший крен в сторону «релятивизма, объективизма, актуализма»...

Изымайте вас целиком, от доски до доски—покорно благодарю! Не моя задача. А вот, если я среди ваших доспехов нахожу оружие, которое явно заимствовано из арсенала идеалистической философии, то это я вытаскиваю на свет божий, чтобы добрые люди знали, что туг пахнет «изменой» материализму.

Да вы и сами, т. Сарабьянов, нет-нет, да прямо и назовете вещи своими именами:

«Думаю, что и «мой» субъективизм не так уж легко опровергнуть»<sup>2)</sup>. Куда там! Я как раз не опровергаю, а доказываю, что вы—субъективист. Дальше:

«Нас, конечно, релятивизмом не запугаешь»<sup>3)</sup>. Релятивизм активный мы признаем (там же).

Можно было бы, конечно, сказать: отдельные описки, ошибки, ложные формулировки,—но центр моей аргументации в том и заключался, что все эти ошибки-то направлены в одну сторону, что, следовательно, «в его безумии есть своя система».

Вот в последнем номере нашего журнала («П. З. М.» № 6) т. Сарабьянов снова поместил статью с целью доказать свою материалистическую чистоту и невинность. Что же, опровергли он те обвинения, которые возлагались на его систему? Ничуть!

Во-первых, ряд вопросов он просто проглотил. А то, что он пишет, делится на две части: в одной он утверждает, что  $2 \times 2 = 4$ ; в другой—снова путает и поправляется... из кулбк в рогажу.

Разберем по порядку. Уже в статье «Субъективизм и марксизм» (№ 1—2 наст. журнала) я указал, что в своем первом

<sup>1)</sup> «Под Зн. Маркс.», 1926 год, № 6, стр. 73.

<sup>2)</sup> «Под Знам. Маркс.» 1925 г., № 12. Заметьте: в кавычках поставлено не слово: субъективизм, а «мой». Подчеркнуто мною.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 190.

ответе мне т. Сарабьянов обошел вопросы о следующих моментах диалектики, в непонимании коих его упрекали: единство противоположностей, значение «переходов» в диалектике, «отрицание отрицания» и «триада», отношение количества и качества, переход одного в другое, скачок» («П. З. М.» № 1—2, стр. 118).

Я констатирую, что по всем этим вопросам т. Сарабьянов «благополучно» отмолился и во втором своем «вынужденном ответе».

Затем, говоря я, немало страниц своей последней статьи наш «субъективный философ» посвятил уверениям, что  $2 \times 2 = 4$  и что он, Сарабьянов, всегда так думал. Так, он уверяет, что психическое есть психическое, что ощущения суть ощущения, а не фунт изюму, что «все наши ощущения... марксизм относит именно к психическому, духовному миру»<sup>1)</sup>.

Вот удивительно! А мы и не знали!

Зато т. Сарабьянов не обнаружил ни словом, чтобы он как-нибудь понимал разницу в подходе к тому наз. «вещичным качествам», которая разделяет механистов и диалектических материалистов. Он даже не понял, о чем идет речь.

Затем в таком же духе он уверяет, что «без субъекта нет представления, нет ощущения»<sup>2)</sup>. Он уверяет, что только это он и писал все время в своих книжках,—ничего больше. Но тогда он на свою голову цитирует Плеханова: «Твердить: наше знание субъективно—значит повторять тавтологию».

Тов. Сарабьянов старается доказать, что он «повторял тавтологию», и только. Если бы даже это было так, то это плохо бы вас рекомендовало, т. Сарабьянов. Ибо тогда, ведь, это о вас говорит Плеханов теми словами, которые вы цитируете: «Нужно много философской наивности для того, чтобы считать в высшей степени важным гносеологическим открытием обнаружение того, что заранее дано в самом понятии знания».

На самом деле т. Сарабьянов не только «повторяет тавтологию». Наивность его лежит в другой плоскости. Он лаявен, когда воображает, что говорит то же, что и Плеханов, если говорит: всякая истина субъективна, и «те товарищи, которые думают, что существует объективная истина... обеими ногами стоят на почве идеализма»<sup>3)</sup>.

Вот подлинная фраза т. Сарабьянова из его последней статьи. И он еще думает «почтенных читателей» призвать в свидетели своей невинности, уверяет, что его оклеветали!

«Зачем нам свидетели, вы слышите, как он... путает!»

Сарабьянов считает, что Столяров очернил его в глазах неосведомленных читателей, незнакомых с его философскими брошюрами.

«Напраслина, батюшка сизый орел, напраслина!»

Знакомому с философией марксизма читателю совсем не надо заглядывать в старые брошюры т. Сарабьянова, чтобы достаточно оценить, каково, в общем, качество его философии. Последняя «оправдательная» статья дает для этого сама по себе немало «обвинительного» материала.

<sup>1)</sup> «П. З. М.» № 6, стр. 62, 63.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 66.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 67.

В этой последней статье г. Сарабьянов разбирает, собственно, только один основной вопрос: о суб'ективизме. И, если он что-нибудь доказал там, так это то, что он действительно и основательно увяз в таком суб'ективизме, который ничего общего с марксизмом не имеет. Назову здесь несколько отдельных вопросов, которые затрагивает в своей статье Сарабьянов и в которых он сбивается на суб'ективизм: 1) о категории «качества», 2) «множественность истины» и «готтентотская мораль», 3) плехановские «иероглифы», 4) суб'ективизм и теория классовой борьбы, 5) существует ли объективная истина.

Первый вопрос. О суб'ективизме в понимании «качества». Об этом я уже писал выше в соответствующей главе этой статьи («Под Знам. Марксизма» № 6). Сарабьянов сам называет здесь свою точку зрения в этом вопросе суб'ективизмом<sup>1)</sup>.

Второй вопрос. Сарабьянов настаивает, что «возможность задержать распад капитализма дана объективно, но тоже объективно дана другая возможность—ускорить его распад». «Конкретный субъект выбирает: развивать ли капитализм или организовывать пролетариат против капитализма». «Любой из нас может действовать в данном случае в том или другом направлении, несколько не расходясь с самой действительностью»<sup>2)</sup>. И монархия разумна, и борьба с ней разумна—выбирай, что хочешь. «Вот вам две истины».

Вместо «болтовни (!) об объективно-исторических процессах» тов. Сарабьянов выдвигает свою теорию «множественности истины».

Все это такая заведомая чепуха, так далеко от марксизма, что просто немислимо в марксистской среде вести споры на этот счет.

Как же после этого не сказать, что т. Сарабьянов ровно ничего не понимает в философии, в методологии марксизма? Ведь марксизм, по словам Ленина, — да и кому это теперь неизвестно! — изучает, как естественно-исторический процесс, рождение нового общества из старого, переходные формы от второго к первому.

Тов. Сарабьянов заявляет в одном месте (стр. 69), что он признает объективную «диалектику» бытия, и тот клеветает, кто думает иначе. Но где же ваша объективная диалектика? Это пустая фраза, а ваши «дела», т. е. ваши рассуждения, ничего общего с объективной диалектикой не имеют. В этом сугь, тов. Сарабьянов, а не в том, что вы говорите: «господи, господи!» — верю в объективную диалектику бытия».

Нечего болтать о струвизме. Струвизм ничего общего с объективной диалектикой не имеет. Струвизм — это вульгарный, метафизический объективизм. А ваша позиция, т. Сарабьянов, — это вульгарный, метафизический суб'ективизм.

Сюда же относится и ваше утверждение, что так называемая «готтентотская мораль» — это и есть принцип марксистской морали. Жалкая пародия на марксизм! Тов. Сарабьянов слышал, что мораль всегда является классовой моралью, что у каждого

1) «Вот вам и суб'ективизм, от которого ваша «марксистская» душа пятки ушла», — пишет он. «Под Знам. Маркс.» № 6, стр. 70.

2) Там же, стр. 74.

класса — свои этические представления, и из этого бесспорного положения он делает вывод: и эксплуататоры и эксплуатируемые одинаково, по своему праву, нет объективных критериев, истина «множественна».

Неужели же еще в марксистской среде эту чепуху нужно опровергать!

Вопреки Сарабьянову, но в духе диалектического материализма мы считаем, что объективной истиной является то, что существуют объективно-реакционные классы и классы объективно-революционные и что объективно-историческую роль того или иного класса определяется общий характер его «морали». Подобно этому, вопреки философии т. Сарабьянова, я считаю, что мы, коммунисты, как в теоретическом, так и в практическом споре с буржуазией являемся объективно правыми (в смысле правоты, разумеется, а не в смысле «правизны»).

То, что предлагает тов. Сарабьянов, есть суб'ективная диалектика, иными словами: софистика. Это есть прямая дорожка к поверхностному скептицизму и к нигилизму. Вот почему я совершенно убежден, что сарабьяновская философия не только неверна, но и вредна для нашей советской молодежи, среди которой она распространяется.

Вопрос третий. Тов. Сарабьянов по вопросу о плехановских «иероглифах» пишет: «Не всякая запятая даже у Ленина закон для меня. И в данном случае я решительно (!) встал и сгнул на точке зрения Плеханова»<sup>1)</sup>.

По вопросу об «иероглифах» я уже немного писал в предыдущей главе. Эти «иероглифы», по правильному замечанию Бухарина, есть «маленькие зернышки» идеалистической метафизики. Это шаг в сторону суб'ективного идеализма. Плохо, когда на нем настаивают.

Четвертый вопрос. Видите ли, «суб'ективизм» и «классовая точка зрения» (то и другое равно берется т. Сарабьяновым в кавычки) — «одно и то же»<sup>2)</sup>. Ибо: и человек — субъект, и класс — субъект, и общество — субъект.

Верно, что общество может рассматриваться как субъект в определенном отношении. Но сказать, что «суб'ективизм» и «классовая точка зрения» — одно и то же, это обычная сарабьяновская путаница. Беру пример: Бухарин пишет: метод Маркса в полит-экономии есть объективный метод, метод Вейс-Баверга — субъективный. Почему? Потому, что первый исходит из явлений общественного порядка, второй — из явлений индивидуального порядка. «Противоположность между объективным и субъективным методами есть противоположность между методами социальным и индивидуалистическим»<sup>3)</sup>.

Тов. Сарабьянов все эти различия смазал, так как у него вообще все кошки... «суб'ективны».

Вопрос пятый и последний из этого цикла. Но тут начинается снова такая ужасающая сарабьяновская путаница, что можно прийти в отчаяние.

1) Там же, стр. 65.

2) Там же, стр. 76.

3) Бухарин, «Полит. экономия рантье», стр. 34.



Видите ли, те, кто утверждает, что существует объективная истина—«стоят на почве идеализма». Почему? Во-первых, потому, что всякое знание—субъективно (« $2 \times 2 = 4$ »). Во-вторых, потому, что... «разве может материалист утверждать, что имеются представления, не соответствующие объективному положению вещей».

Это напечатано в журнале «Под Знаменем Марксизма» № 6 за 1926 г., на 67 странице. И дальше: «Представление бога соответствует объективным процессам».

Гм! «Процессам»... Сказано «темно и вяло». Но в общем ясно, что страшная путаница.

Сколько веков ведется в философии спор о «критериях истины» и пр.! Все стерто одним взмахом пера.

В чем заключается объективность истины по Богданову? В общезначимости ее.

В чем заключается объективность истины по Марксу?—В соответствии наших представлений с независимо от нашего сознания объективно существующим бытием.

Все это смазал т. Сарабьянов. По его убеждению представления о существовании ведьм и о существовании женщин с живой горячей кровью в жилах являются, с одной стороны, одинаково «субъективной истиной» (всякая истина—субъективна), с другой стороны—оба представления «соответствуют объективному положению вещей».

Стоит ли доказывать, что это нелепость? Стоит ли доказывать, что это «богдановщина» чистой воды?

Так-то «поправляется» тов. Сарабьянов—из кулька в рогожку.

И при этом он уверяет, что Ленин стоял на такой же позиции, как и он!

А вопрос об «условности» качеств, вопрос о том, что разница между живым и мертвым, бородастым и безбородым и т. д. «условна»! Опроверг ли тов. Сарабьянов мое бесспорное утверждение, что все эти его штуки—это богдановщина, это купое канитанство, подкрашенное «марксизмом»? Ничуть он этого не опроверг.

Он жалуется, что на него «вешают собак». Не я вешал, а сам тов. Сарабьянов обвешивается в старые облезлые лохмотья из обрывков махистерской философии. Пусть о философии т. Сарабьянова судят не по моим статьям, а хотя бы по одной его собственной последней статье—при внимательном отношении результаты марксиста будут тот же.

Я в своих статьях даю только подлинный портрет философской системы тов. Сарабьянова. Ему не нравится—что поделаешь. «На зеркало неча пенять, коли рожа крива».

## Макс Шелер, католицизм и рабочее движение.

Гр. Баммель.

Кто бы ни писал о послереволюционной Германии,—профессиональный ли философ, пропагандированный и пронумерованный, публицист ли, читающий проповеди на духовные темы со страниц какого-нибудь «Deutsche Rundschau», последний рантье-попляр, полисывающий музыкальные рецензии, признанный экономист-теоретик, соединяющий с политической экономией богословие, чтобы прикрыть собственную наготу, мелкий буржуа, обшипанный инфляцией, тот самый, кто в крахе своих сбережений увидел светопредставление и конец мира, присяжный фельетонист, ученый, у которого имя интернационально, но у которого на лбу написано, что он—немец, а потом уже ученый,—каждый из них начинает, примерно так:

«В то время, как германская политика и германское хозяйство напрягают все силы в борьбе за скудное существование безжалостно истерзанной и бесконечно униженной родины, для больших и очень значительных по своему влиянию течений в нашей духовной жизни стало чем-то вроде сокровенной уверенности, что наступает новый день духовной Германии»<sup>1)</sup>.

В трагические минуты буржуазия любит красивые слова и тонкие мысли. Но за эстетизирующей шелухой ее фразеологии для всех очевиден один смысл: она хотела бы вновь видеть Германию «великой державой», «государством силы», экономически и политически возрожденной силой,—но униженная, разбитая, лишенная лучших промышленных центров, ограбленная такими же как она колониальными хищниками, буржуазия с жадностью набрасывается на... духовное возрождение. Модные эпидемии душевного самоочищения, мечтательство, мистицизм, скептицизм, поиски необыкновенного «смысла жизни» в Китае и Индии, отказ от рациональной борьбы, борьба против «мертвой» науки во имя «живой» веры, пессимизм и жажда таинственного—такова та психология, с которой буржуазия вступила в бурные послевоенные годы. Пусть военная мощь уничтожена, а выхода из экономического кризиса не видно,—ведь душа Германии воспрянула «к более высокому мышлению и бытию» (zu höheren Denken und Sein).

<sup>1)</sup> Сборник „Die Dioscuren“, 1 (статья А. Dietrich'a), 1921 г.

Эта мысль имеет бесчисленные варианты, она подчас получает различное толкование у католиков и протестантов, у историков и математиков, у художников и журналистов, у философов и дипломатов, из нее делаются дикие, совершенно невероятные выводы о всемирно-духовной миссии возрожденной Германии в тот день, когда настанут сумерки культуры, но психология, подсказавшая этот крик отчаяния, эту жажду былой силы и величия, остается одной и той же, — психологией духовного реванша.

Дауэсовская стабилизация позволила этой психологии оформиться, окристаллизоваться в различных идеологических линиях, и в партийном сознании немцев гинденбургской республики отложиться теоретическими программами-максимум и программами-минимум «духовного возрождения Германии». Если раньше прирожденные идеологи и выбитые из колеи труппы потерю материального могущества компенсировали «духовной мощью», прозреваемой в кофейной гуще, или «духовной проповедью», выслушиваемой на спиритических сеансах, то теперь эпоха, одиозно известная комиссией экспертов, ставила практические задачи, для разрешения которых надо было от слов переходить к делу. Попыток перекинуть мост от абстрактных высот «философии» к текущим боевым вопросам дня германская буржуазная мысль дала достаточное количество. Политическая экономия (Генрих Пеш), теория права и государства (Отмар Шпани), рабочее движение и социализм (В. Зомбарт), учение об обществе и его составных силах (Руд. Штейнер), социология (ученики М. Шелера), — во всех этих областях всегда и, в частности, в предвоенное десятилетие, литературные наездники упражнялись на самой обыкновенной тапированной мистике, но только сейчас эти упражнения превратились в стройные системы мысли, которые издаются сотнями тысяч лучшими издательствами, перелетаются в тисненые золотом папки и рассылаются в лучшие магазины.

Общей чертой всех этих идеологических попыток, к какой бы области сложной буржуазной идеологической надстройки они ни относились, является возврат к религии, полное господство религиозной точки зрения. Охарактеризовать на живом, вырванном куске современности, на философе Шелере, возрождение религии в современной философии, как служанку капитала, и является задачей нижеисследующих страниц. Но так как Макс Шелер относится к числу самых серьезных болтунов, самых тонких и глубоких филистеров, самых образованных и талантливых пошляков нашего времени, то нам придется сперва проследить логические корни его философии, идеологические нити, ведущие от него к его учителям, а затем заняться социально-экономическим объяснением этого направления в современной философии.

### 1. Гуссерль и католицизм. Возврат к схоластике.

Что всякая идеалистическая философия в той или иной форме, в той или иной степени, теми или другими путями, — это зависит от ее исторических корней, — по логике своего развития приводит к понятию сверхчувственного существа, к предмету религиозной веры, это доказано всей историей идеализма. Но

для нашего времени эта задача принижения знания для очищения места вере никем, быть может, не выполнена в столь яркой агитационной форме, как А. Бергсоном. Борьба против научного знания под флагом критики крайностей рационализма, борьба против материализма в естественных науках, борьба против естественно-научных методов в психологии, — все это дополняется и подкрепляется живописным воспроизведением красоты и глубины так называемой психической жизни. Интуиция призвана дать человеку обладание абсолютной истиной, а природа существует лишь постольку, поскольку внутрь ее погружается интуитивное созерцание, переживание и т. п. Представление о материи возникает тогда, когда психическая жизнь распадается, рассеивается на ряд моментов, которые рассудок в состоянии обозреть и взвесить.

Но если я в состоянии интуицией непосредственно воспринимать абсолютное бытие, вопреки смертному рассудку, то что же мне мешает воспринимать и бытие божие? Религиозность является истинным намерением всех писаний Бергсона. «Бог, — говорит он в «Творческой эволюции», — не имеет ничего законченного, он есть непрекращающаяся жизнь, дело, свобода». Интуиция и открывает бога в природе. Совершенно понятно, если некий Эмиль Отт выпустил целую книжицу под названием: «Анри Бергсон, философ современной религии»<sup>1)</sup>. «Ведь основное положение религии, — говорит наш попик, — состоит в непосредственном «имении» бога, в действительном переживании бога, в бытии бога», — и он с исключительной добросовестностью шаг за шагом, понятие за понятием исследует, какое огромное значение имеет каждое положение бергсоновской философии для «обоснования» его профессии. «Творческая эволюция, — говорит он, — есть гимн богу. Ни один из ученых и философов мира не пролагал дороги действительно существующему богу так, как это сделал Бергсон».

Это характерное мистическое значение философии Бергсона оставалось бы бессильной психологической реакцией мелкой буржуазии против железной логики развития истории, естествознания, рабочего движения, рациональной техники крупной индустрии, если бы всесторонне «разработанная», схоластически отшлифованная, выводящая все законы мира из законов «логики чистого мышления» философия неокантианцев не заставляла распылчатую мистическую психологию мелкого буржуа, в свою очередь, идеологически откладываться в сосуд «теории», окристаллизовываться в форме мировоззрения, и уж во всяком случае заставляла искать в прошлом традиции и имена, которыми можно было бы прикрыть свою наготу (разве этот филистер второй раз не «откроет» своих «великих предшественников» — Шопенгауера и Ницше?).

Еще недавно, в самом начале этого века, буржуазная философская мысль металась в преподносимых с высоты университетских кафедр, «эклетических похлебках», от крайнего субъективного идеализма к крайнему объективному идеализму (в условном значении этих терминов). Бергсонизм и неокантианство — противоположны, насколько могут быть противоположны

<sup>1)</sup> Teubner, Lpz. u. Brl. 1914.

два направления в пределах общего им идеализма. Идеализм этот и накладывает общую печать на то, как оба направления толкуют «психическое» и «логическое»: одни и те же эпитеты, одни и те же сравнения, почти те же «проблемы». Неокантианцы говорят о «чистой логике». Бергсон исходит из «чистого психического». Путем чисто логического «обоснования» неокантианцы надеются разрешить все основные вопросы философии. Бергсон признает истинным лишь все, что открывается в чистом переживании. Неокантианцы устанавливали, что объективный мир существует, как «порождение» логических законов. Бергсон не только пишет специальную работу, но и в каждом произведении твердит о творческой эволюции. Для неокантианцев эволюция в природе есть эволюция понятия развития в чистой логике. Развитие в природе, по Бергсону, возможно постольку, поскольку, отказываясь от обычных в науке «схем», мы улавливаем в природе психическое развитие, напряжение, внутреннее развертывание...

Достаточно было поставить вопрос во всеоружии теории, чтобы понять, как мало мы выигрываем от того, что весь мир мы выводим не из моего переживания, а из моего мышления, или наоборот. Но неспособное к теоретическому пониманию как логики, так и психологии и поэтому погрязшее в путанице и бессвязности одинаково вышедших из психологии и высосанных из пальцев формул психологизма или логизма, буржуазное мышление целиком лежало между этими двумя «направлениями», пока Эдмунд Гуссерль не догадался перенести неокантианское логическое «сознание вообще» в бергсоновскую «живую длительность» индивидуального сознания, а на все бергсоновское «индивидуальное», «жизненное», «красочное» посмотреть как на «общее», «идеальное», «значимое». В этом—весь Гуссерль, в этом вся феноменология <sup>1)</sup>. В этом—объяснение того, почему эта пресловутая «наука», утверждающая возможность непосредственного интуитивного созерцания последней «сущности» вещей, неизбежно должна покоиться на схоластическом реализме общих понятий.

Эти два источника гуссерлевской метафизики и сыграли роль в дальнейших судьбах буржуазной философской мысли. Как бы Гуссерль ни ухищрялся «соединить» «чистую логику» с «интуицией», с «умственным созерцанием сущностей», как ни сильна была внутренняя логика, заставляющая переносить индивидуальное «сознание» в логическую сеть абстракций, а пустое «сознание вообще» помещать рядом с ощущениями и восприятиями,—эклетизм был заложен в самом мышлении того класса, который давно утратил творческую мощь теоретической мысли: философия Гуссерля расплодилась, и швы обнаружили белые нитки, которыми они были сшиты: формальную «чистую логику» и мистическую «интуицию».

Правда, это «расположение»,—раз мы уже так выразились,—означало собою дальнейшее развитие и видоизменение гуссерлианства, охарактеризовать которое в полной мере не входит в наши задачи. Развитие гуссерлианства выразилось в том, что

<sup>1)</sup> Изложение его философии см. у В. Юринца, «Под Знаменем Марксизма» за 1923 г., № 4—5, и у меня, «Вестник Комм. Академии» 1923, № 4.

чистая логика, которая ведь не перестала быть логикой от того, что ее точку зрения перенесли в описательную психологию, этику, эстетику, историю,—превратилось в универсальное формальное беспредметное учение о «данностях вообще», а чистая интуиция, которая, когда она была спрессована, логизирована, приведена в систематическую связь с естествознанием и сформулирована, уже не нуждалась в подпорках неокантианства,—эта интуиция выросла в религиозное мировоззрение. Первое логическое направление гуссерлианства приняло в теории предметности Мейнонга <sup>1)</sup>, затем в логистике Ресселя, Пеано и др., в аксиоматике Гильберта достигло высшей ступени логического формализма, и после этого то самое противоречие логизма и психологизма, из которого оно возникло, повторилось в совершенно другой области, в математике, когда в ней столкнулись аксиоматика и интуиционизм.

Второе психологическое направление в гуссерлианстве, которое только и интересует нас в этой статье, не только вернуло главной мысли бергсонизма ее подлинное значение, ее реакционнейшее религиозное значение,—но благодаря формальной законченности, логической связанности гуссерлевской «феноменологии», «приобрело крупное идеологическое значение, приблизилось, так сказать, вплотную к действительности, к массам, ответило на все вопросы социально-политической борьбы, развернув борьбу против марксизма и пролетарской революции.

Говоря о схоластическом реализме понятий, мы уже определили философскую суть этого направления: это—католическая схоластика, приспособляющаяся к современному животрепещущим проблемам буржуазного общества философию Фомы Аквината. На этом вопросе, однако, стоит остановиться:

Аристотелевское учение о силлогизме, доказательстве и опровержении схоластика оторвала от чисто-научных интересов, которыми логика питалась у Аристотеля, и превратила в пустое искусство рассуждения. Она ставила своей задачей не доказывать, не убеждать силой аргументов, не исследовать, но вызывать удивление в слушателе тонкостью понятий или неожиданностью вывода, игрою противоположностей, искусством выпутываться из противоречий. Так смотрели на свою задачу творцы схоластической логики.

Было бы неправильно совершенно не видеть диалектических моментов в схоластической логике. Но это была софистическая диалектика,—взгляд на диалектику, как на некую самоцель, как на искусство доказательства как их угодно истин. Софистически пользовались диалектикой для того, чтобы доказать одно положение и тут же его опровергнуть. Не фактами, не исследованием, а голым остроумием, выискиваемым противоположностей в голых наименованиях, словах думали придать убедительность рассуждению.

Что могла дать софистическая диалектика схоластики? Для научного исследования ничего выдающегося. В лучшем случае, она развивала способность рассуждения, превращая научное знание в искусство комбинирования «научных» терминов. Все «мышление» выражалось в том, чтобы поставить так назы-

<sup>1)</sup> Изложение его взглядов см. у меня, «Вестник Комм. Академии» 1923, № 5.

ваемую «проблему» (problema)—ею мог служить при этом любой вопрос, начиная с насморка и кончая божественным откровением,—затем «проблема» подразделялась на все логически возможные частные «проблемы», потом они классифицировались и соподчинялись по степени общности; после этого по поводу каждой из них приводились доводы «за» и «против», доводы «против» опровергались и таким путем доказывалась истинность доводов «за» и выносилось решение (solutio). Естествознание теряло самостоятельное значение. Наука должна была служить логике, доставляя ей материал для ее упражнений в формальных спорах и умозаключениях. Такое отношение к естествознанию рождало поверхностность мышления, стремление не исследовать, а классифицировать, т. е., в конце концов, или критиковать, а классифицировать, и природу, и историю, все сохранять—и науку, и евангелие, и природу, и историю, и чорта, и бога. Отсюда вытекала и относительность того «вреда», который несла схоластика: если она не двигала вперед развитие науки, то и не тянула ее назад, не боролась против науки. Она консервировала, но не разрушала. Наоборот, естествознанием она пользовалась для того, чтобы укрепить доверие к себе со стороны всепобеждающего исторического перелома.

Не исследование, а систематизация, не критика, а вера, не знание фактов, а искусство образования понятий, не анализ, а классификация—все это в высшей степени характерно и для Гуссерля. Пресловутые «феноменологические анализы» Гуссерля не что иное, как выуживание различных значений из одного слова, а это производилось Фомой Аквинатом в более «остроумной и, так сказать, «классической» форме. Феноменологическое «сомнение», которое Гуссерль связывает с декартовым cogito (я мыслю), восходит к латинскому словечку utrum схоластиков, которым Фома Аквинат неизменно начинал каждое из положений в Summa theologiae и которое должно было звучать, примерно: «так ли это или не так»<sup>1)</sup>.

Общая характеристика схоластического мышления, данная выше, показывает, что схоластика, как мировоззрение, совершенно не поддавалась историческому развитию. Это очень характерно и для Гуссерля. Колоссальное преимущество великих идеалистических систем Лейбница, Канта, Гегеля перед идеалистической системой того, кого так назыв. «современники» прозвали «Кантом нашего времени», состоит в том, что эти философы на почве идеализма приходили к идее эволюции, движения, непрерывного развития, понимая развитие идеалистически. Натурфилософия Лейбница и Канта, учение о развитии мирового духа Гегеля содержали зачатки того философско-материалистического миропонимания, из которого до сих пор черпает силы естествознание. Учение Гуссерля о «вечных» и «неизменных» сущностях, его стремление мыслить всякую научную теорию «завершенной», «системой знания», «идеальным единством», его стремление все абсолютизировать, видеть во всем «вечное», как источник существования,—на все это не кто иной, как сам же Гуссерль, смотрел, как выпад против Гегеля. По его словам, Гегель

виноват в том, что философия перестала интересоваться абсолютными истинами. Учение Гегеля об относительной истинности всякой философии для своего времени, о диалектической необходимости развития и преобразования идеи расчищило почву, по выражению Гуссерля, для скептицизма и историцизма. «Целые поколения утратили веру в абсолютную философию», жалуются Гуссерль<sup>1)</sup>.

Борьба с историцизмом—характерная черта гуссерлевской метафизики. Идея, наука, знание вообще—все это имеет какую-то идеальную «значимость», в которую «история» не имеет права вмешиваться. Для такого мракобеса, как Гуссерль, характерен пример, который им приводится: «История, эмпирическая наука о духе вообще,—говорит он,—не в состоянии своими силами ничего решить ни положительно, ни отрицательно относительно того, нужно ли различать между религией, как культурным образованием, и религией, как идеей, т. е. значимой религией, между искусством, как культурным образованием, и значимым искусством, между историческим и значимым правом и, наконец, между исторической и значимой философией, а затем и относительно того, существует или не существует между теми и другими, выражаясь по-платоновски, отношение идеи и ее затемненной феноменальной формы»<sup>2)</sup>. После этого Гуссерль замечает: «Ведь и математик не обратится к истории за познаниями относительно истинности математических теорий; ему не придет в голову ставить в связь историческое развитие математических представлений и суждений с вопросом об истине» (там же).

Интересно, что антиисторицизм Гуссерля выражается методологически в том же, в чем выражался антиисторицизм схоластики. Феноменология исходит из анализа языка, из обычных в языке различных наименований и путем «вживания» в них созерцает «сущность» обозначаемых ими вещей.

Но замечательнее всего, что отношение Гуссерля к современному естествознанию вполне сходится с тем, как схоластическое богословие относилось к современному ему естествознанию. Богословие Фомы Аквината вовсе не задается целью разрушить науку. Наоборот, наука в средние века не развивалась именно оттого, что слишком злоупотребляли ее именем. Фома Аквинат задается целью сделать предметом научного оправдания и систематизации христианское учение об откровении, о божественном вдохновении и т. д. и пр. Слово scientia (наука) у него всегда стоит рядом с sancta doctrina (святое учение). Он говорил, что «святое учение» есть «высшая наука», которая изучает мир с точки зрения «разумной формы», лежащей в его основании. Ни разу в своей «Теологии» Аквинат не выступает открыто против современной ему науки. Напротив, в свое богословие он пытается внести «научность» точно так, как в наши дни Гуссерль строит метафизику на «созерцаниях», якобы доступных каждому. Философия Гуссерля может быть названа индуктивной метафизикой. Это новое сходство Гуссерля и схоластика Аквината отражаются и в области специальных вопросов.

<sup>1)</sup> В дальнейшем Аквинат по изданию: Petri Lombardii... episcopi parisiensis sententiarum libri quatuor... Divi Thomae Aquinatis summa theologia... Parisiis, 1841.

<sup>1)</sup> «Философия как строгая наука», Логос, 1911, I, стр. 5.

<sup>2)</sup> Логос, 1911, I, стр. 39.

Учение об «актах» и «потенциях» сознания прямо заимствовано у схоластиков. Intellectus agens и actus Аквината могут быть названы в первую очередь. Познание состоит в особом акте, когда рассудок перенимает в себя объект<sup>1)</sup> (cognitum est in cognoscente), «творческий рассудок» очищает вещи от их чувственных свойств, благодаря способности воображения создает «образы» вещей и затем, как бы направляя яркий свет (lumen, illuminatio, lux), создает понятие, выражающее сущность вещей (essentia, spiritualia, ratio formalis)<sup>2)</sup>. Учение о «сущностном созерцании» по существу у Гуссерля то же, что у Аквината: учение о «сущностях»<sup>3)</sup>. Разница лишь в том, что божественный свет изливается в вещах, как их чистая сущность, и называется он богом, а у Гуссерля этот божественный свет не называется богом. Человеческий рассудок и у Гуссерля и у Аквината может заблуждаться, но зато он черпает свою силу у одного из «божественного света», у другого — из «чистого сознания». Феноменология могла быть названа по-аквинатовски: doctrina sancta или speculativa, а богословие Аквината — «феноменологией». И та и другая признают лишь истину в себе», в которых «документируется»<sup>4)</sup> абсолютное знание. Чистая «сущность», «эйдос», по Гуссерлю, не существует, как существуют осел, человек, но «значат» и притом в созерцании. Аквинат говорит, что материя сама по себе в вещах не существует, но есть духовное основание, именно вообще (р. 507). Гуссерль устанавливает длинную градацию ступеней предметов — от «низших предметов» восприятия до созерцания, т.-е. до «предметов идеальных или более высоких»<sup>5)</sup>. Аквинат, следуя Аристотелю, выводит в своем «богословии» целую иерархию ступеней «субстанционального оформления материи — от ens in actu до astus purus творца мира (р. 489). В отношении к Платону взгляды наших аристотеликов также совпадают. «Сущность» вещей находится в самих вещах: «идеи» не ведут в особом царстве самостоятельного существования, как учил Платон. Для усмотрение общего в индивидуальном достаточно созерцание одной вещи. Аквинат<sup>6)</sup> против Платона выдвигает авторитет естественных наук, которые исключают всякую возможность неподвижных, неизменных и отделенных от тел субстанций. Напротив, правильнее думать, что нематериальные ideas находятся в самих телах. Природа камня, человека или осла может быть познанный и в том случае, если брать частный случай (ut in particulari existens) их существования, и вообще сущность, идею, можно постигать лишь в единичных вещах<sup>7)</sup>. Душа же познает их потому, что они духовны. Душа постоянно обладает «идеями», а так как душа есть отражение божественного света, то идеи, вечные rationes, также находятся в «черу творном свете»<sup>8)</sup>.

После этого сопоставления не трудно понять, почему Гуссерль мог пленить профессиональных мистиков, богословов и других

1) Summa theolog. I qu. 56 art. 2 (p. 920).

2) Summa theolog. I qu. 85 art. 1 ad. 4.

3) Ibid. I qu. 44 art. 1 (p. 837).

4) Выражение Гуссерля, Log. gent. II<sup>2</sup>, 2, S. 90.

5) Log. Unters. B. II<sup>2</sup>, 2, S. 145.

6) I qu. 88 art. 1.

7) I qu. 84 art. 7. p. 1165.

8) I qu. 84 art. 5.

безработных представителей этой распространенной, как известно, в буржуазном обществе профессии. Некий Роберт Винклер написал даже специально статью о том, какое значение имеет феноменология для богословия. Излагая с большою симпатией мысли Гуссерля о «созерцании сущности», Винклер доказывает, что лучшего психологического понимания религии, чем феноменология, богословам не найти. Эмпирическая психология, по его мнению, «объяснить ничего не может, ибо «факты» сами по себе ничего не означают по сравнению с теми «сущностями», которые открывает в них чистое созерцание»<sup>1)</sup>.

Если существует феноменология действительности, то почему не быть феноменологии религии? Как учение о непосредственном созерцании «сущностей», феноменология может оказать огромную пользу при обосновании религии. Логизированная, приведенная в связь с остальными науками, интуитивная наука есть настоящая почва для богословия. Существует или не существует бог, — Гуссерля этот вопрос не интересует, потому что это к делу не относится. Все религиозные истины объективны и созерцаемы так же, как и все остальные факты. Вот на какой теме упражняются официальные, припечатанные представители католической церкви (J. Geuser, Przywaga и др.).

Этот же Гейзер доказывает в своих работах, что априорно созерцаемая «сущность» (эйдос, по Гуссерлю) есть «старое-престарое положение аристотелевско-схоластической теории познания и что гуссерлианство «ориентируется в кругу католицизма и схоластики»<sup>2)</sup>.

Что эти присяжные мыслители церкви правы в своем толковании Гуссерля, видно из того, какого сорта литература выходит из-под пера учеников Гуссерля.

Гедвига Конрад Марциус написала сочинение внушительных размеров под не менее внушительным заглавием «Realontologie», «реальная онтология». А что значит эта «реальная онтология», понять не трудно. Путем феноменологического «созерцания» она подробно исследует, какова природа небесного царства в отличие от земного, каковы отличия тела от души, духа от ангелов и ангелов от бога. Потом — дикий бред о том, что свет есть экстаз вещества, что горение есть освобождение духовного начала от телесного, что и в текучести, в жидкости, заложено нечто духовное, ибо ведь душа тоже охватывается своим «сосудом», т.-е. телом и т. д., и т. д.<sup>3)</sup>

Другие ученики, напр., Жан Геринг, следуя схоластическому реализму понятий, в то же время сближают феноменологию с учением Платона об идеях и рассматривают «сущности» не в смысле объектов интуиции, не психологически, а метафизически, т.-е. (как в монадологии Лейбница) в смысле духовных идеальных первопричин существующего мира.

Последние работы школы Гуссерля полны невыносимой пошлостью, невыносимой от того, что, не называя вещи своими именами, авторы этих работ все еще делают вид, что они «за

1) Rob. Winkler, Das Programm der Phänomenologie in ihrer Bedeutung f. syst. Theologie, «Zeitschrift f. Theol. u. Kirche» 1921, S. 103 и сл.

2) J. Geuser, Erkenntnistheorie, 1922, M. Schelers Phänomenologie der Religion, 1924, S. 16.

3) Jahrbuch f. Phänom. u. phänom. Forschung hrsg. v. Husserl, Band IV.

науку», что они «против мракобесия». Напротив, откровенно-религиозное, богословское направление, считающее Фому Аквината своим духовным отцом, прямо заявляет, что оно стремится возродить схоластическую философию католицизма, приспособив ее к новым условиям и расширив поле ее зрения животрепещущими социальными проблемами.

Характернейшей особенностью этого движения является то же, что было наиболее типичным и для средневековой схоластики: современную католицизм притягивает быть универсальным принципом решения всех вопросов. Парламент, дипломатическая борьба, пресса, университет и школа, профессиональное движение, идейное руководство рабочим движением, вся научная работа, в какой бы отрасли знания она ни производилась, наконец, организация хозяйства, экономическая политика, колониальная политика—все эти области должны быть втянуты в круг католического мировоззрения, идеологически переплавлены в единую систему как орудие давления на массы и организации политической власти.

В теоретическом органе схоластики, основанном несколько месяцев тому назад в Германии («Scholastik», Viertelj. f. Ebeol. u. Philosophie), хотя и призывают «отыскивать сокровища, безжалостно погребенные в научном знании, но устанавливают тем не менее связь с научным знанием для того, чтобы «естественные науки гармонично включить в систему богословия», чтобы естествознание «переплавить» и дать ему место рядом с евангелием; здесь гадают и взвешивают, что из новейшего развития философии может быть использовано в угоду церкви, что должно быть совершенно отброшено, что должно быть изменено. «Ясно, что, выполняя эту задачу, придется внести в поле зрения многое из того, что историческому понятию схоластики было чуждо. Ведь схоластик не может отказаться ни от науки о праве, ни от психологии, ни от какой-либо естественной науки».

Совершенно схоже с этим отношением католицизма и к социальным проблемам. Слова, брошенные одним из сотрудников уже цитированного сборника «Die Dioskuren» о том, что «если современная философия претендует на нечто большее, чем цеховые разговоры о вопросах человечества, она должна понимать внутреннюю психологию экономически страдающих и духовно измученных масс»,—хорошо отражают настроения и католической философии. «Борьба за религиозное возрождение души должна остановить процесс огубления и духовного обнищания масс—читай: процесс революционирования и духовного освобождения масс,—таков лозунг этого направления в философии современной буржуазии, одного из самых боевых и самых крупных по своему влиянию. Наиболее полное, наиболее последовательное выражение оно нашло в работах Макса Шелера».

## 2. От высот философских абстракций к классовой борьбе.

Под именем «философии религии» Макс Шелер развивает христианское, именно, католическое толкование теории познания Гуссерля. «После Гуссерля,—говорит Шелер,—мы знаем, что наше знание ничего из себя не создает: оно непосредственно «усматривает» или «созерцает», и знание доставляет нам именно это чисто

наглядное созерцание, а не «логика», «умозаключение», «суждение». Для подлинного, т.-е. интуитивного, познания совсем не нужен аппарат умозаключений, выводов, суждений, доказательств и т. д. «Ни одно положение,—говорит Шелер,—не опровергнуто теперь столь радикально, как старое философское положение: nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu. Теперь мы знаем, что такие данности, как отношение, порядок, субстанциональность, пространство, время, множество, качество, единство и т. д. суть настоящие и истинные данности, а не конструкции рассудка, и в то же время они еще менее суть асенсуальные (внечувственные) данности, независимые и преднаходимые во всяких опущениях»<sup>1)</sup>. До того, как сознание направлено на предметы, предметов не существует, но и сознание их не производит, а непосредственно находит и созерцает.

В таком же смысле, как дан внешний мир, окружающие вещи, я, люди, дано нашему сознанию божество. «Идеализм» и «критицизм», по Шелеру, покоились на антихристианской враждебности к миру; надо проникнуться, напротив, любовью к миру, к объективно существующему миру, и мыслить его непосредственно познаваемым во всей его объективности. Точно так все, что воспринимается в «религиозном акте», есть первично данное и ни откуда не выводимое. О «доказательствах» не может быть и речи, как не может быть речи о «доказательстве» в области всего мышления». Феноменология устанавливает непосредственный контакт души с божеством<sup>2)</sup>.

Особенность шелеровской точки зрения состоит в том, что религиозное понимание феноменологии он, в дополнение и развитие работ Гуссерля, переносит в область этики, истории, социологии, поставив во главу угла своего мировоззрения именно этику. Логическое мышление с его умозаключениями, суждениями, доказательствами совершенно изгоняется и из области нравственности. Априоризм,—т.-е. учение о том, что наше познание достигается независимо от чувственного опыта, прямо из сознания,—Шелер распространяет на этику. Чувство, любовь, ненависть, предпочтение, отвращение—все это имеет априорную ценность и не нуждается ни в каких единичных умозаключениях. Этические ценности так же непосредственно созерцаются интуицией, как созерцаются ею у Гуссерля «сущности» вещей. Все учения религии суть высшие этические ценности, а общественным воплощением высшей морали является духовное сотрудничество в церкви.

Установив эти, уже до него ставшие модными, религиозно-этические абстракции, Шелер переходит к конкретному развитию их в применении к различным областям жизни, т.-е. к выполнению своей программы, которая, по его мысли, должна стать боевой идеологией «всех живых и прогрессивных слоев буржуазного общества». Интуитивная теория познания, учившая о том, как можно хватать прямо руками доспехи божественных воинов, оставалась как-никак абстрактной «философской» теорией», при всей своей близости к отцам церкви. И в предисловии к 3-му тому своих Schriften zur Soziologie u. Weltanschauungslehre (1924)

<sup>1)</sup> Vom Ewigem im Menschen, I, S. 542.

<sup>2)</sup> Ibid., S. 3.

Шелер рассказывает о том, как тяжелые исторические потрясения отвлекли от теоретических занятий по философии и возбудили в нем желание перекинуть «идеологический» мост от абстрактных проблем этики и философии к «практической действительности настоящего времени». И Шелер ставит своей целью дать такую «идеологию» (его выражение), которая была бы способна спасти «смертельно больную родину».

В одной статье, носящей характерное заглавие: «Не коммунистический, но христианский социализм», Генрих Пеш писал: «Борющемся за влияние марксистскому социализму должна быть противопоставлена другая, лучшая, практически выполняемая система «христианского социализма». Мы, католики, имеем то преимущество, что эта социальная система почти готова в нашей научной литературе».

Шелер горячо соглашается с тем, что марксизму надо противопоставить новую социальную идеологию, но он сомневается, готова ли уже «у нас», у католиков, такая идеология, т.е. идеология христианского социализма, которая могла бы уже сейчас соперничать с марксизмом как по своей формальной законченности, так и по глубокой укорененности в общественных отношениях современности. Даже сочетание слов «христианство» и «социализм» оспаривается многими католиками: эти понятия берутся ими как противоречащие друг другу. «Я сам, — говорит Шелер, — долго колебался, как назвать свою систему: «христианским социализмом» или «солидаризмом», но в конце концов я склонился к первому названию». И Шелер пространно рассказывает, почему он так сделал.

Нас никоим образом не должно удерживать от выражения «христианский социализм» то обстоятельство, что обычно при слове социализм представляют себе «марксистский социализм немецкой социал-демократии». На самом деле марксизм есть только одна из разновидностей социализма и при том наиболее распространенная на немецкой почве до начала войны. Во Франции, Англии, Америке, Италии, России существуют другие формы социалистических учений наряду с марксизмом.

Но и для Германии, — продолжает Шелер, — марксизм не является типическим и основным социалистическим учением. И он не без злораства указывает, что «война и революция потрясли марксизм до основания, а социалистическое мышление, как и социалистическая практика, разбилось на непримиримые направления. Единого марксизма не существует, как не существует и единой марксистской партии; «стальная догматика марксизма разбита вдребезги, и смешно отказываться от выражения «христианский социализм», когда даже внутри марксистского социализма уживаются рядом враждующие, противоречащие друг другу учения».

Христианский социализм Шелер отмежевывает: 1) от утопического социализма, который «с моральной проповедью и техническими предложениями обращается к господствующим классам, уговаривая их добровольно осуществить социалистические принципы; 2) от «так называемого, по выражению Шелера, научного социализма Маркса, утверждающего, что социализм наступит в силу естественной необходимости»; 3) от «романтически-феодалного реакционного социализма, который хочет во-

скресить и восстановить остатки средневековых отношений собственности». Наконец, свой христианский социализм, который он с этой целью называет «пророческим», Шелер отграничивает от «практически-реформистского социализма», при этом — что очень интересно для нас — он объединяет этим именем катедросоциалистов, ревизионистов с.д. и проповедников — христианских социалистов обеих вероисповеданий. «Все они хотят лечить грехи, но принципиально сохраняют капиталистический строй, поскольку капиталистический строй не мешает религии». Это относится, по мнению Шелера, в частности, к представителям католической немецкой науки, которые отличаются от марксистов-ревизионистов лишь по степени, höchstens graduell, а не в качестве христианского, католического, социалистического направления, т.е. не создают новой идеологии.

В противовес всем этим социалистическим учениям Шелер выступает с «пророчески-христианским» обоснованием социализма. Почему он называет его «пророческим»? За этим новым словечком, — мы это увидим еще, — никакого нового содержания на самом деле не скрывается. Шелеровский христианский социализм ничего не предсказывает, ничего не говорит о будущем, ибо «это противоречило бы свободе бога, который один управляет миром». Пророческим он называется потому, что воспринимает действительность, как «духовную связь тенденций» и, в противоположность марксизму, признает неповторимость исторического процесса.

С марксизмом, по мнению Шелера, у христианско-пророческого социализма есть то общее, что и он отвергает утопии и исходит из глубокого философского понимания действительности. В этом смысле христианско-пророческий социализм тоже можно назвать «историко-реалистическим». Он отвергает реакционный феодальный социализм и так же, как и марксизм, ограничивает себя только историческими относительными законами западно-европейского человечества на определенной, именно, буржуазной ступени развития общества; в той форме, в какой она постепенно наступает, начиная с XV и XVI веков. Но, говорит Шелер, «в глубоком противоречии с Марксом христианско-пророческий социализм проводит в жизнь свою программу не путем каких-то астрономических предсказаний, но констатированием всего, что вытекает из принципов разумного и христианского социального учения, из христианской этики».

«Христианский социализм руководствуется мерлом, которое он заимствовал не из истории, но из вечных идей добра и зла, справедливости и несправедливости. Маркс вообще отрицал такие идеи (solche Ideen)». И Шелер в следующих словах дает такую «сравнительную» характеристику христианского социализма и марксизма.

«Между христианско-пророческим социализмом и марксизмом существует одно глубокое различие. Правда, христианско-пророческий социализм признает вместе с Марксом, что в западно-европейской действительности за последнее столетие обнаруживаются сильные и живые тенденции к принудительному коммунизму, подготовляемому переходившим от поколения к поколению в течение веков чрезмерно греховным либерализмом и

капитализмом. Подобно Марксу, христианско-пророческий социализм констатирует эти тенденции. С точки зрения христианско-пророческого социализма, как и с точки зрения Маркса, новая история в собственном смысле слова все более и более определяется не идеями, а экономическими массовыми стимулами. Христианско-пророческий социализм в значительной степени сходится с Марксом и в оценке фактов; он способствует опровержению противников Маркса, в особенности тех, которые истовковывают новую историю в смысле все более и более явного обнаружения в ней бога (Гегель), и тех, которые отрицают такие живые тенденции к коммунизму. Но в этих фактически тенденциях к коммунизму и в этом преобладающем влиянии экономических факторов в эпоху буржуазии христианский социализм вовсе не усматривает необходимых результатов всемирной истории человечества, а усматривает лишь отречение европейца от истинного назначения человека—назначения, вытекающего из первоначального свободного грехопадения, из относительно наследственной и всеобщей греховности. В фактических тенденциях на земле христианский социализм усматривает не грядущий рай на земле, а как бы наказание божие, угрожающее в будущем отрешенному от своего назначения человечеству, если оно не обратится свободно к христианскому социализму. В совершающихся в новое время движениях, поскольку они в самом деле соответствуют марксистским законам, христианский социализм усматривает не прогресс, не стремление так называемого человечества к достижению более высокой степени развития,—стремление, с которым ничего общего не имеет, благодаря самому происхождению своему западно-европейско-американское явление либерализма и капитализма,—но упадок Европы и гибель культуры, грозящую Западу. Ведь и Маркс логически не имеет ни малейшего права историю, в которой господствует лишь слепая экономическая причинность, истовковывать как «прогрессивное» движение. Он заимствовал эту тенденцию без критики у Гегеля; но у Гегеля эта тенденция правомерна, по крайней мере, в его системе, так как с его точки зрения в истории должна обнаруживаться божественная идея. у Маркса же она не имеет никакого оправдания. Таким образом, христианско-пророческий социализм является, так сказать, предсказывающим бедствия, а не пророком, предсказывающим счастье, как это делает Маркс<sup>1)</sup>.

Обратимся же к тому, о чем учит этот «христианско-пророческий социализм». Мы уже знаем, что германскому народу нужна новая педагогика. Новая педагогика должна пробудить «религиозную» энергию для формирования общественного бытия. Спасти несчастную Германию в состоянии лишь одна христианская церковь, как она оформлена в римском католицизме. На почве признания христианской церкви должны объединиться все политические партии. «Только в том случае, если противоречия между партиями мы сможем преодолеть посредством того небольшого святого, что еще теплится в нашей душе, мы сможем избежать гражданской войны, как и большевизирования». Процесс разложения и падения бывшего величия зам-

<sup>1)</sup> Schriften z. Soz. u. Weltanschauungs<sup>1</sup>, 1923, III, 1. S.; VIII, 1—26.

так далеко, что пора призвать к миру все «вероисповедания»—религиозные, философские и социально-политические. «При мирении» между враждующими направлениями и партиями будет осуществлено, если активную роль во взаимном сближении и размежевании будет играть религия. Это относится не только к протестантам и католикам, но и к философам, к церковным публицистам, к социальным реформаторам. В области философии,—продолжает Шелер,—положение за последние годы улучшилось. Католические и не католические философы начинают понимать друг друга. Такие имена, как Франц Брентано, Мерсье, Гейзер, Гуссерль, Беймкер, Грабманн, показывают, что католицизм проник в философию. Задача, которую себе должен поставить каждый мыслящий философ в настоящее время состоит в том, чтобы протолкнуть католицизм и в рабочий класс. Надо развязать имеющиеся в католической церкви «силы веры и духа» для спасения народной души.

Отсюда понятно, как глубоко ошибаются немецкие католики,—продолжает Шелер,—в своем огульном отрицании и равнодушии к политическим партиям. Они должны, после уроков войны, заново продумать все, что говорит католицизм о революции и пересмотреть свое отношение к так называемым революционным партиям<sup>1)</sup>. Католическая философия должна разрабатывать вопросы, волнующие эти партии. Чтобы проникнуть в рабочий класс, она должна выступить с собственным пониманием тех или иных социальных проблем, а не замыкаться в абстрактно-религиозной мистике.

Война, утешает себя Шелер, вытравила из рабочих масс дух революции, дух социализма, «веру в социалистическое государство будущего». «Этот идол социалистических масс теперь разрушен, ибо он противоречит законам человеческой природы<sup>2)</sup>. Разочарование в социалистических опытах, распространение скептицизма во всем, что касается практического выполнения социализма, объясняются тем, что в течение десятилетий вожди обещали освобождение человечества и своих обещаний не сдержали. Положение сейчас таково,—изумляется Шелер,—что класс как бы проснулся от опьянения и открыл глаза, но классовое обещание вождей еще властвуют над его воображением<sup>3)</sup>. Вера в социалистическое будущее у этого класса была наполнена религиозным содержанием, да иначе и не могло быть, потому что социалистическое государство будущего—в корне религиозная идея. Ведь Маркс был еврей, «мессианизмом» характеризуется психология всякого еврея, а в мышлении Маркса это выразилось самым ярким образом<sup>4)</sup>. Мало того! «За деятельностью большевистских вождей горит пламя религиозно-христианского пафоса, которое носит все черты русского христианства и панславизма<sup>5)</sup>».

Поэтому, продолжает Шелер, если «социализм» теперь не в состоянии отвечать тем религиозным потребностям, которые он раньше удовлетворял, то мы, католики, должны позаботиться

<sup>1)</sup> Schriften... III, 1, 204.

<sup>2)</sup> Vom Ewigen im Menschen, I, 196.

<sup>3)</sup> Schriften... III, 1, 38.

<sup>4)</sup> Vom Ewig. im Menschen, I, 197.

<sup>5)</sup> Schriften... III, 1, 47.



о том, чтобы наше, религиозное мировоззрение заполнило великую пустоту духа в рабочем классе в ту минуту, когда наступит последнее крушение идеалов и с глаз спадет пелена»<sup>1)</sup>. Пока этот момент не наступил, боевой задачей философии, призванной «возродить» Германию, является борьба с материалистическим пониманием истории и, в частности, с материалистическим пониманием религии. Историк-материалистическое понимание религии, «производящее религиозные представления из производственных отношений и отношений господства и подчинения классов, могло иметь некоторое основание до войны, когда религия и церковь фактически находились на службе сословных и государственных интересов господствующих слоев (Шелер боится сказать: классов) населения».

Отдельные злоупотребления авторитетом церкви и религии исторический материализм принял за причины, направляющие их развитие. Авторитет религии применялся слишком часто неправильно и в глазах масс был скомпрометирован. Поэтому религиозное воспитание в пролетарских массах должно быть поставлено на должную высоту: напр., католикам следует отказаться от сектанского лозунга: «все или ничего». Смешно требовать, чтобы рабочие массы сразу сделали католиками: надо сперва внушить им веру в бога и бессмертие души<sup>2)</sup>. Положиться на этом участке фронта очень трудно, так как огромные массы пролетариата «полонены марксистской догматикой, но зато, — достоянием добавляет Шелер, — есть все признаки того, что выдающиеся вожди начинают сознавать, что без религиозно воодушевленного пафоса не могут быть разрешены и социальные проблемы»<sup>3)</sup>.

Верный приказчик своего класса, не затушевывающий, а наоборот, подчеркивающий всю классовую последовательность своей мысли, Макс Шелер правильно оценивает политику социал-демократической партии и II Интернационала, используя ренегатство с.-д. в классовых целях наступающей реакции. Он приводит, как пример рассуждения с.-д. в «Sozialistische Monatshefte». «В той мере, — говорит он, — в какой первоначально социалистическое движение с его хилиастическими надеждами, будучи пролетариат в борьбе против буржуазии не только сам выдвигается победителем, но и освобождает все общество от классового государства, скатывается назад, как бы засыпанное песком в политику оппортунизма, в мелочную борьбу за зарплату, интересы и вопросы практического управления — в той мере все движение угрожает смертью. Если же рухнет уже сильно шатнувшаяся хилиастическая вера в государство будущего, вместо нее должен быть выставлен новый фермент. Нечего и говорить, что он не может быть иным, как религиозным, и именно христианским. Этот ход мысли, — заключает Шелер, — излагаемый столь многими молодыми вождями с.-д., беспорочен»<sup>4)</sup>.

История начинается с того момента, когда у человека появляется религиозность. Вообще всякая социальная проблема может

быть правильно решена лишь с «духовной точки зрения». Понять законы развития общества значит понять общество, как духовное объединение личностей. Поэтому, например, капитализм, вопреки марксистам, «не означает ни естественно-необходимой фазы общего экономического развития, ни преобладающего на данной ступени способа технического и общественного изготовления благ (благодаря машинам и определенным формам производства, т. е. индустриализму), ни типа общественных правовых учреждений (свободная конкуренция в противоположность государственному предприятию). Слово капитализм первоначально означает лишь определенный хозяйственный дух (Wirtschaftsethos) и господство определенного типа людей, являющихся его носителями»<sup>1)</sup>. «Капитализм является определенным видоизменением исторического «духа»<sup>2)</sup>.

До какого цинизма может дойти взбесившийся мелкий буржуа, можно видеть из того, как со своей «духовной» точки зрения «критикует» капитализм Шелер. Христианский социализм, — говорит он, — признает справедливой марксистскую критику капитализма, когда она указывает его влияние на семью, на развитие социальных уродств, но «главное теоретическое заблуждение марксизма состоит в том, что им совершенно не учитываются духовные, религиозные и нравственные ценности». Но вот как рассуждает о проституции наш спаситель христианских ценностей. «Само собой разумеется, и христианское мировоззрение считает проституцию злом; но, с его точки зрения, проституция глубоко коренится в самом человеке, греховность которого наследственна, так что, с его точки зрения, дело должно идти, главным образом, о том, чтобы ограничить и правильно урегулировать проституцию, так как оно должно считать утопическим полное ее устранение»<sup>3)</sup>.

Такова «духовная» точка зрения на капитализм! Мы узнаем в дальнейшем, что «духовный пафос» в понимании капитализма вовсе не отрицает практической предпринимательской деятельности католиков, как «частных лиц или как членов экономических организаций». Стремление к практическому участию в работе по поднятию экономического благосостояния страны надо всячески приветствовать. В системе капитализма лежит нравственная «ненормальность», которая должна быть осознана католиками, и чем выше будут подниматься католики по капиталистической лестнице, тем сильнее будет их духовное влияние на общество, и они смогут вернуть и укрепить свое былое, ныне утраченное влияние<sup>4)</sup>.

Исследование «духовной» сущности капитализма подкрепляется для вящей убедительности целой философией труда, иначе говоря, философией эксплуатации. Для чего она понадобилась Шелеру? Каков смысл этой «философии» в общей системе его мировоззрения?

Шелер спрашивает: Как примирить религиозное понимание труда с тяжелыми и жестокими требованиями текущего дня,

<sup>1)</sup> Ibid., III, 1, 38.

<sup>2)</sup> Ibid., III, 1, 40—41.

<sup>3)</sup> Ibid., III, 1, 34.

<sup>4)</sup> Ibid., III, 1, 35.

<sup>1)</sup> Ibid., III, 1, 192—193.

<sup>2)</sup> Ibid., S. 201.

<sup>3)</sup> III, 1, 168.

<sup>4)</sup> III, 1, 198.

которые «вытекают из нашего крушения»? Как могут быть развиты новые религиозные и нравственные двигатели (Motore) в душе нашего народа?—спрашивает Шелер. Откуда черпать живые силы, удовольствие работы, радость труда, которые только и могут спасти наш народ, наше государство и всю немецкую духовную культуру? Как вывести последнюю из той пропасти, которая все еще угрожает нам в виду жестоких требований Антанты и еще более усиливающейся, благодаря им, опасности большевизма?

Такими вопросами задается Шелер. Речь идет не о многочисленных,—добавляет он,—юридических, экономических и технических орудиях, благодаря которым мы можем привести в движение и пустить по правильным и плодотворным каналам имеющуюся у нас волю к работе. Нет, надо вернуть германскому народу радость труда, сознание своей силы и воли, бодрость духа. Утрата радости, «предательство радости» началось, по мнению Шелера, еще со времени Канта, который плоскому эвдемонизму эпохи просвещения противопоставил свой идеал возвышенного долга, как категорического императива и вместе с водой выплеснул и ребенка. Он не понял духовной радости, которая заключена в самой деятельности и которая называлась у Аристотеля эвдаймонией, hilaritas—у римлян, блаженством—у христиан.

В этой борьбе за духовное возрождение Германия вовсе не одинока. Перед Европой стоит такая же задача. После русско-японской войны, говорит Шелер, началось пробуждение Азии. Спящие гиганты зашевелились. Из объектов колониальной политики они становятся субъектами мировой истории. Следовательно, заключает Шелер, Европа должна вооружиться духовно, чтобы противостоять великой опасности, грозящей с Востока.

Кто же объединит человечество и поставит на новую высоту духовную мощь Германии? Силы «снизу» или силы «сверху»?—спрашивает Шелер и переходит к развенчанию «низов», этой основной задаче своей философии. Он сразу выставляет следующее положение: «Не снизу, не из материи и потребностей, но только сверху, из духа, из любви, из бога». По его мнению, «все теории, ожидавшие, что внутреннее освобождение человечества придет «снизу», отвергнуты фактами истории». Мировая война и послевоенные события, если верить верному приказчику своего класса, Макс Шелеру, опровергли «известную теорию», которая в экономических классовых битвах видела главный двигатель истории и от победы одного международного класса ожидала «прыжка из царства необходимости в царство свободы». И Шелер обрушивается на теорию исторического материализма, видя в нем главного врага и разоблачителя всякого окопачивания рабочего класса католицизмом.

«Интернациональные классовые интересы пролетариата и организация в «Интернационале»,—иронизирует Шелер,—тоже являлись силой, объединявшей людей «снизу». Отдельные факты и постановления, которые принимались этой организацией после того, как началась война, показали лишь его полное бессилие действовать в духе постановлений, принятых незадолго до войны: все это изложено и рассмотрено в «Социалистических Ежемесяч-

никах». За исключением Италии, Интернационал во всех странах стал политическим орудием Антанты»<sup>1)</sup>.

Но одно дело выставить предельное желание своего класса видеть «низы» подчиненными «верхам», и другое дело—заставить эти «низы» служить «верхам» или «государству», «справу». И Шелер строит новую философию труда и капитализма, которая, по его замыслу, предвещая духовное возрождение Германии, должна оправдать угнетение класса трудящихся, «придать этому гнету смысл», убедить трудящихся «примириться» со своим рабочим положением.

Политически угнетенная и экономически растерзанная Германия должна воспрянуть духом. Она должна в корне уничтожить все, что говорит о растерянности и пессимизме. Пробудить бодрость духа и работоспособность народных масс—вот основная задача господствующих классов в области идеологии. При этом Шелер предостерегает не предаваться бесплодному мечтательству, модному увлечению мистикой и т. д. С мистикой, как средством убежища, он не хочет мириться. «Вечное,—говорит он,—не есть место, где пытаются найти убежище те, кто не может вынести жизни и истории»<sup>2)</sup>. Напротив, место бесплодного мечтательства должна занять практическая, социальная по своему содержанию «философия труда», которая на самом деле, как это видно из дальнейшего, является религиозным оправданием капиталистической эксплуатации.

«В основе нашего чрезмерного труда до войны,—говорит он,—как и в основе нынешнего нежелания трудиться, лежит широко распространенная неправильная точка зрения на труд. И в том и в другом случае преувеличивается значение мотивов к труду, имеющих только гипотетический и только относительно земной характер. Слишком слабы оказываются религиозно-моральные и абсолютные внутренние побуждения к труду. Не мудрено, что огромные изменения в конъюнктуре относительно того, что можно приобрести за свой труд материально, что можно прочно удержать и чего никто не может отнять, должны были вызвать и столь глубокое изменение в готовности трудиться. Ведь готовность, основанная на таких относительных, земных, изменчивых мотивах, подвержена колебаниям... Лишь возбуждение абсолютных, религиозных мотивов к труду и наслаждений, вытекающих более из духовно-религиозной точки зрения на труд, чем из того, что труд дает для удовлетворения и упрочения эгоистического интереса, может спасти наш народ»<sup>3)</sup>.

Человек своим трудом приносит жертву, которая необходима для его морального спасения. Труд несет в себе, видите ли, «нечто царственное, чистое, великое, свободное». «Бог» сотворил весь мир,—поучает рабочих проф. Шелер,—но ему было угодно, чтобы люди в малом размере принимали участие в его творчестве, и вот как бог во Христе пожертвовал себя для людей, так и человек в малом масштабе должен жертвовать собою в труде. Труд есть настоящая школа покорности, есг несчастье,

<sup>1)</sup> Ib. III, 1, 102.

<sup>2)</sup> Vom Ew. im Menschen, I, 1921, S. 2.

<sup>3)</sup> Schriften... III, 2, S. 112—113.

но духовное понимание труда спасает нас от рабства. «Марксистски мыслящий рабочий,—заявляет Шелер,—думает, что своим трудом он изготовил этот стол, этот стул и их ценность. На самом же деле он придал дереву духовную форму, в которой сотрудничает все человечество»<sup>1)</sup>. «Как во грехе и наказании, так и в труде все человечество представляет собою одно солидарное целое»<sup>2)</sup>. Труд есть «слепая, различная в нравственном отношении деятельность, которая своей положительный или отрицательный в нравственном отношении характер получает впервые благодаря руководству со стороны объективных целесообразных организаций, которые выходят от семьи через общество и государство к праву и заключают в себе всех людей»<sup>3)</sup>. Только христианство дает правильное понимание труда, как необходимой жертвы.

Понятно, Шелер—ярый враг трудовой теории стоимости. Он заявляет, что «и в этом пункте марксизм есть дитя либерализма». Марксизм и либерализм в одинаковой степени не доценивают тех объективных систем, целесообразных установлений (Zwecksystem), которые проявляются в «государстве» и «организации», которые «слепому» до того труду дают цель, т. е. и в марксизме и в либерализме не хватает «государственного сознания», сознания организаторски-руководящих функций предпринимателей. Наоборот, в самом факте «труда» они ищут нечто разумное. Понятие «труда» возвышается до трагического величия, и слово «трудиться» употребляют таким образом, как будто в нем самом уже заключается указание на цель, объект,—словом, на нечто разумное. «Труд есть творец всякого богатства и всякой культуры»,—сказано в готской программе социал-демократической партии. Здесь «трудиться» значит «творить», и это вытекает,—продолжает Шелер,—из известной теории стоимости Маркса, согласно которой стоимость блага определяется количеством общественно-необходимого времени, потребного для его изготовления. «Противники этой теории,—говорит Шелер,—при чем мы вообще не намерены отождествлять себя со сторонниками субъективной теории стоимости,—во всяком случае правы в том отношении, что, употребляя слово «трудиться» в его истинном смысле, в котором нет никакого указания на цель, объект, они говорят не «труд» вообще создает стоимость, а только такой определенный труд, который удовлетворяет действительные потребности; следовательно, мерилом стоимости экономического блага оказывается не заключающийся в нем труд, а его пригодность, которая дает цели и объекты для той обозначаемой словом «трудиться» деятельности, которая сама по себе не разумна»<sup>3)</sup>.

Марксистские социалисты,—поучает наш профессор,—думают, что религия есть символическое отображение отношений господства и подчинения, существующих между классами общества. Философия, этика, религия—все это для «позитивистов» и социалистов есть производная от той или другой организации труда. Католическое мировоззрение, наоборот, отказывает труду в такой почетной роли, но дает ему «этико-психологическое

<sup>1)</sup> Ibid., III, 2, S. 102.

<sup>2)</sup> Ibid., III, 2, S. 98.

<sup>3)</sup> Ibid., III, 2, S. 79.

оправдание». Католицизм должен направить все свои силы к тому, чтобы убедить рабочий класс, что правильное понимание социально-экономического труда возможно лишь на почве метафизики: «без метафизики этические учения не имеют логической силы и освобождающей силы живой веры».

Доказав, что труд необходим для религиозного очищения души рабочего и что ценность и смысл труда определяется выше данными «целевыми установлениями», Шелер, понятно, ставит вопрос о частной собственности. «Метафизика», «духовная точка зрения» и прочая штукавина, конечно, должна быть здесь на посту. Дело, видите ли, в том, что душа обладает земным телом, тело ей принадлежит,—поэтому телу также принадлежит часть окружающего мира в его естественных границах. Отсюда вытекает целый ряд естественных прав человека—«право на существование», «право на труд», «право на собственность»... Хотеть уничтожить частную собственность или обобществить средства производства поэтому означает противоречить христианству. Это—антихристианское требование.

Неудивительно, что после этого все свое красноречие Шелер направляет на «обоснование» благотворного значения этой самой «метафизики». Как же рабочему классу обойтись без метафизики? Это никак невозможно. Без метафизики массы огрубеют, превратятся в «материю» (Шелер так и называет «проклятые низы»—«материей»), в «бездушные твари», не имеющие даже «сознания своей тварности». Умирают научные теории, преодолеваясь с течением времени, метафизика никогда не стареет и не умирает, не повторяется, как нечто «вечное и великое». Ошибка позитивистов, по мнению Шелера, состоит в том, что ими ограничивается «предрасположение души к непосредственному чувствованию трансцендентного», которое доказано интуитивной теорией познания.

Какое же выводит, каков итог этой «метафизики», без которой «массы огрубеют»? Шелер на это охотно ответит, а мы охотно предоставим ему слово:

«Все установленные отношения подчинения и господства между исторически выросшими классами связаны идеей христианской солидарности и представляют собою сокровенное желание (Sehnsucht) человеческой природы. Всякая историческая революция вовсе не является проявлением злой природы масс, которые якобы выступают против господства, но революция всегда есть некоторое падение. Всюду и во все времена народ искал хороших начальников (Herrscher). Все революции были лишь стоянками (Stationen) в этих трудных поисках». Вообще Шелер думает, что человек по природе своей поклоняется или богу, или дьяволу. Земная иерархия есть только отражение небесной потусторонней иерархии. Отсюда вывод: земная иерархия не может быть изменена, отношения подчинения и господства—проявления вечных законов человеческой психологии.

Таков Шелер. О Шелере напишут много книг. Ему посвятят не фельетоны, не статьи, а целые монографии, и не малое число этих монографий будет принадлежать перу общепризнанных привлеченных представителей так называемой «духовной культуры». Его имя будет украшать распухшие, как и его книги, богословские трактаты. Будут его превозносить за «тонкость» мысли,

удивляться его «чуткости души», а на невероятно витиеватое построение его пышнопорожних фраз будут указывать, как на образец художественности. Одни назовут его величайшим психологом нашего времени, другие — гениальным основоположником нового понимания религии. Будут ли при этом его читать, трудно сказать, но, нет сомнения, его размышления о социальных недугах капиталистического общества положат на музыку, чтобы пролетарским массам поны затыкали уши лирической ватой.

Пролетариат еще раз отшвырнет эту лирику, потому что пролетариата есть свое, исторически вместе с ним выросшее мировоззрение. Философские абстракции современной схоластики становятся понятными, только будучи положенными на весы этого мировоззрения.

(Окончание следует).

## Диалектический материализм и рефлексология <sup>1)</sup>.

Академик В. М. Бехтерев и д-р Дубровский <sup>2)</sup>.

Известный труд Карла Маркса «Капитал», легший в основу его социальной теории, дополненной и развитой Энгельсом, не только не утрачивает своего значения с течением времени, но, наоборот, время, истекшее после первоначального появления этого труда, еще более выдвигает его ценность для объяснения условий социальных процессов. В этом отношении не без основания можно сказать, что, насколько учение Дарвина дало основу для понимания происхождения различных видовых форм биологического мира, настолько же и марксизм положил основу для понимания различных форм и отношений в деле развития социальных форм и социалистического строительства.

За последнее время литература о марксизме разрослась до необычайных размеров. В особенности ей посчастливилось на русской почве как благодаря тому глубокому социальному сдвигу, который осуществился в русской истории за последний период времени, так и благодаря тому толчку, который был сделан в толковании этого учения В. И. Лениным (Ульяновым).

В. И. Ленин в статье «Три источника и три составных части марксизма» говорит: «Учение Маркса возникло как прямое и непосредственное продолжение учения величайших представителей философии, политической экономии и социализма. Оно есть законный преемник лучшего, что создало человечество в XIX веке в лице немецкой философии, английской политической экономии и французского социализма». Для разбираемого нами в данный момент вопроса «Диалектический материализм и рефлексология» главное значение имеет один из источников марксизма, а именно: немецкая философия XIX века.

Рефлексология, завоевавшая для себя особое положение в изучении человеческой личности и идущая на смену старой психологии, исходит из материалистических предпосылок и по-

<sup>1)</sup> От редакции. Помещая интересную и симптоматичную статью академика В. М. Бехтерева и д-ра Дубровского, знаменующую поворот к диалектическому материализму в среде крупнейших естествоиспытателей нашего времени, редакция оговаривает свое несогласие с некоторыми положениями авторов.

<sup>2)</sup> На эту тему сделаны доклады: д-ром Дубровским в заседании психоневрологической секции С. Н. О. Ленинградского Медицинского Института 8 декабря 1924 г., д-ром Дубровским в заседании Секции Живой Природы Ленинградского Губполитпросвета 10 октября 1925 г. и академиком В. М. Бехтеревым и д-ром Дубровским в соедин. заседании Госуд. П. Н. Академии Ленинградского Научного Общества Марксистов 11 апреля 1926 г. Последний доклад и лег в основу настоящей работы.

тому должна солидаризоваться в своих построениях с марксистским учением, в то время как субъективная психология, опирающаяся на идеалистическую философию, является идеологическим развитием последней.

Останавливаясь на философской основе марксизма, приведем слова В. И. Ленина, который в вышеуказанной работе говорит: «Философия марксизма, как неоднократно заявляли и Маркс и Энгельс, есть диалектический материализм».

Значение Маркса—Энгельса заключается в том, что они дали науке об обществе соответствующую материалистическую основу и тем обеспечили ей дальнейшее движение по пути прогресса, соединив философский материализм с одним из наиболее ценных приобретений немецкой классической философии, а именно, диалектикой Гегеля, они создали учение в виде диалектического материализма, как всеобщего закона природы. Углубляя и развивая философский материализм, Маркс—Энгельс распространили его с познания природы на познание человеческого общества. Однако до сих пор учения о человеческой личности, входящей в состав общества, отличалось от всех положительных наук тем, что главным предметом своего внимания считало психические явления, т. е. так называемый субъективный мир человека, а в внешние его проявления, которые и только они одни, в сущности говоря, и составляют ту или другую ценность для общества и человеческого мира вообще.

Возникшая у нас независимо от марксизма рефлексология изучая эти внешние проявления как отдельного человека, а не человеческого общества, обозначаемые ею как рефлексы, в связи с их причинами, т. е. внешними или внутренними раздражителями как текущими, так и прошлыми, находится в полном соответствии с основами марксизма, и, давая научно-материалистическое объяснение развитию и проявлениям человеческой личности, как био-социального существа, тем самым подводит материалистическую базу и по отношению к учению о возникновении общественных групп или классовых организаций<sup>1)</sup>.

Маркс в предисловии ко 2-му изданию 1-го тома «Капитала» говорит: «Для Гегеля процесс мышления, который он превращает даже под именем идеи в самостоятельный субъект, есть демиург (творец, создатель) действительного... У меня же, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней».

Фридрих Энгельс в «Анти-Дюринге» пишет: «Единство мира состоит не в его бытии, а в его материальности, которая называется долгим и трудным развитием философии и естественного знания... Движение есть форма бытия материи. Нигде и никогда не бывало и не может быть материи без движения, движения без материи... Мышление и познание—продукты человеческого мозга, сам человек—продукт природы».

«Гегель был идеалист, т. е. для него мысли нашей голубы были не отражениями (отблесками), более или менее абстрактными, действительных вещей и процессов, а, наоборот, вещи

<sup>1)</sup> Чтобы не заслужить упрека в неточности, мы будем приводить в нижеследующем выдержки как из рефлексологии, так и из марксистских источников по возможности дословно.

и развитие их были для Гегеля отражениями какой-то идеи, существовавшей где-то до возникновения мира».

А. М. Деборин в своем труде: «Введение в философию диалектического материализма», так формулирует философскую основу марксизма: «Всякое познание возникает из опыта, т. е. из восприятий, получаемых субъектом от внешнего мира. Внешним миром, бытием определяется наше сознание. Раз действительность есть единственный предмет познания, то наше знание истинно и объективно лишь постольку, поскольку оно согласуется с действительностью, с бытием». Здесь пока что фигурирует еще «субъект» и «сознание», но это есть лишь непреодолимая дань неизжитому еще субъективизму в изучении человеческой личности. Маркс и Энгельс признавали величайшим приобретением классической немецкой философии диалектику Гегеля, которую они считали самым всесторонним, богатым содержанием и глубоким учением о развитии, эволюции.

Творцы диалектического материализма Маркс и Энгельс сумели, говоря словами Энгельса, «спасти сознательную диалектику и перевести ее в материалистическое понимание природы и общества».

В «Людвиге Фейербахе» Энгельс говорит: «Мир состоит не из готовых, законченных предметов, а представляет собой совокупность процессов, в которой предметы, кажущиеся неизменными, равно как и делаемые головой мысленные их снимки, понятия находятся в непрерывном изменении: то возникают, то уничтожаются». «Для диалектической философии нет ничего раз навсегда установленного, безусловного, святого. На всем и во всем видит она печать неизбежного падения, и ничто не может устоять перед ней, кроме непрерывного процесса возникновения и уничтожения, бесконечного восхождения от низшего к высшему». В. И. Ленин, таким образом, определяет сущность диалектики: «Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить все его стороны, все связи и опосредствования». Требование всесторонности предостерегает нас от ошибок и омертвления. «Диалектическая логика требует, чтобы брать предмет в его развитии, «самодвижении» (как говорит Гегель), изменении». «Вся человеческая практика должна войти в полное определение предмета и как критерий истины, и как практический определитель связи предмета с тем, что нужно человеку». «Диалектическая логика учит, что абстрактной истины нет, истина всегда конкретна».

Маркс в предисловии к своему труду «К критике политической экономии» пишет: «В общественном отравлении своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их воли независимые отношения—производительные отношения, которые соответствуют определенной ступени развития из материальных производительных сил. Совокупность этих производительных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще. Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание».

Изучая внешние проявления человеческой личности в соотношении с внешними и внутренними раздражителями, текущими и прошлыми, рефлексология учитывает, что происхождение всех поступков и действий человека находится в связи с материальными же причинами и прежде всего с окружающей средой, а это и стоит в полном соответствии с материалистическим учением, по которому «бытие определяет сознание», а следовательно, и его проявления в форме действий и поступков. Проще говоря, с рефлексологической точки зрения следовало бы сказать: «бытие определяет действия и поступки человека».

Г. В. Плеханов в своем труде «Основные вопросы марксизма» таким путем выражает взаимную зависимость между базисом и надстройками (известная пятичленная формула):

1) Состояние производительных сил; 2) обусловленные ими экономические отношения; 3) социально-политический строй, вытекающий из данных экономических отношений; 4) определяемая частью непосредственно экономикой, а частью всем выросшим на ней социально-политическим строем, психика общественного человека; 5) различные идеологии, отражающие в себе свойства этой психики».

Из этой пятичленной формулы ясно, что состояние производительных сил, обусловленные этим состоянием экономические отношения классов и неизбежно вытекающий отсюда социально-политический строй являются определителями психики общественного человека и его идеологии, иначе говоря, внешние воздействия, как причины, в переводе на объективный язык, определяют личность общественного человека.

Следовательно, опять дело идет о зависимости личности человека от той внешней среды и содержащихся в ней раздражителей, о которых постоянно и неустанно трактует рефлексология.

По учению марксизма, экономический строй с соответствующим состоянием материальных производительных сил представляет собою основу, на которой возвышается правовая и политическая надстройка с общественной идеологией.

Борьба классов есть двигатель событий, общественная сила, мощный фактор перманентного революционного обновления общества, творец нового общества.

Рефлексология рассматривает коллектив и общественные группы вообще, а следовательно, и класс, как «собирающую личность», а проявления их, как высшие рефлексы (см. В. Бехтерев. Колл. рефлексология).

Общественные явления понимаются рефлексологией как коллективные рефлексы, а поэтому раздражители того или иного рода, исходящие из одного класса, вызывают те или другие рефлексы со стороны другого класса. Отсюда ясно, что, изучая поведение коллектива, класса и общества в целом, рефлексология может и должна опираться на теорию классового конфликта Карла Маркса.

Маркс в предисловии к труду «К критике политической экономии» говорит: «На определенной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями. Из формы развития производительных сил эти отношения стано-

вятся их оковами. Тогда наступает эпоха социального переворота». «С изменением экономической основы происходит медленнее или быстрее переворот во всей громадной надстройке». «Как об отдельном человеке нельзя судить на основании того, что сам он о себе думает, точно так же нельзя судить о подобной эпохе переворота по ее сознанию. Наоборот, это сознание надо объяснить из противоречий материальной жизни, из существующего конфликта между общественными производительными силами и производственными отношениями».

Социальные перевороты или сдвиги, таким образом, Марксом ставятся в прямую связь с изменением экономической основы, т. е. с изменением тех раздражителей, которые неизбежно определяют существование человеческого общества, а это, в свою очередь, стоит в прямом соотношении с теми положениями рефлексологии, из которых вытекает связь разнообразных проявлений человеческой личности и общественных движений с теми или иными внешними или внутренними раздражителями.

Остановимся еще на одном важном положении Карла Маркса.

В том же труде Маркс говорит: «Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она дает достаточно простора, и новые высшие производственные отношения никогда не появляются на свет раньше, чем созреют материальные условия их существования в лоне старого общества».

Сравним с этим то, что утверждает рефлексологией: «Наблюдая явления общественной жизни, мы должны прийти к тому важному положению, что ни одно общественное движение не может обнаружиться прежде, чем осуществятся все необходимые для него предпосылки. Этот закон до такой степени непреложен, что если прозорливость гения предугадывает то или другое открытие за несколько веков до его осуществления, тем не менее, это открытие не делается достоянием жизни, пока не осуществятся те предпосылки, которые сделают самое открытие вполне естественным и необходимым звеном в общей цепи исторических фактов» (В. М. Бехтерев, «Коллективная рефлексология»).

Нервная система является трансформатором в периферических органах и в то же время аккумулятором энергии, особенно в центрах и проявляет себя как в дифференцировочной или анализаторской, так и в комбинаторской или синтетической деятельности. В тех же «Общих основах рефлексологии человека» мы читаем: «Мы имеем все основания говорить о трансформации известных нам энергий, действующих на внешние и внутренние поверхности тела, в нервный ток, и о превращении последнего в молекулярную работу мышц, которая, в свою очередь, переходит в механическую работу». «Жизненные реакции являются результатом определенной организации, обеспечивающей постоянный обмен вещества, основанный на восстановлении утрачиваемого вслед за разложением. Это саморегулирование, сводящееся в конце концов к постоянному превращению энергии в организме, достигается, с одной стороны, приемом пищевого материала из окружающей среды, являющейся в конце концов ничем иным, как химическим продуктом, содержащим скопление лучистой энергии солнца, с другой стороны, воздействием внешних энергий на воспринимающие органы, как трансформаторы внешней

энергий,—воздействием, приводящим к разложению и следующему за ним восстановлению органического вещества, что и приводит к развитию нервного тока. Но так как последние процессы, благодаря питанию, при соответствующих отдыхах в большинстве преобладают над первыми, то этим в конце концов достигается скопление энергии как в организме вообще, т. е. в его клеточной протоплазме, так и в частности и даже в особенности в органах узловых и центральной нервной системы, являющихся мощными аккумуляторами энергии высших организмов».

Там же указывается, что мы имеем «непрерывное движение нервного тока от воспринимающих органов в мозговой коре до соответствующей приводной ее области (зрительной, слуховой, обонятельной, вкусовой, мышечно-осозательной и пр.). Отсюда нервный ток передается затем по ассоциационным клеткам частью на ближайшие клетки с отводными проводниками, частью на клетки других областей мозговой коры, где и переходит на отводные проводники, направляясь по ним вновь к периферии же, если, конечно, этот ток не будет временно задержан в заложенных на его пути клетках какими-либо тормозящими условиями внешнего или внутреннего характера. В вышеуказанном ходе нервного процесса нельзя не усмотреть схему рефлекса с его центросремительным, центральным и центробежным проведением, при чем все вообще сочетательно-рефлекторные процессы могут рассмагиваться в этом случае, как рефлексы высшего порядка, основанные на воспроизведении и сочетании».

С этими данными необходимо сопоставить то место из главы Энгельса «Общий характер диалектики как науки»<sup>1)</sup>, где формы превращения одних энергий в другие сводятся к утрате определенного качества движения одним телом и приобретением соответственного качества движения другим телом в соответствии с учением диалектического материализма. Итак, и в этом пункте рефлексология, как указано выше, независимо от марксизма имеет с ним нечто общее.

Для более детального выяснения, в какой мере рефлексология согласуется с основными положениями диалектического материализма, остановимся на рассмотрении главных положений рефлексологии. Рефлексология учит, что всякий организм, в том числе и человек, находится под постоянным воздействием внешней среды, в которой непрерывно циркулируют различные виды материальной энергии. Различные виды этой энергии действуют на периферические окончания нервной системы, как своего рода трансформаторы внешней энергии, и тем возбуждают движение нервного тока, как особой энергии же физического характера. Результатом чего является та или другая ответная реакция или рефлекс со стороны организма.

В «Общих основах рефлексологии человека» мы находим следующее: «В понятии энергии мы имеем представление о различных проявлениях движения в виде больших масс в форме мировых тел и в виде малых масс, то более крупных, в форме, напр., индивидов, образованных клеточками, то еще более мелких, напр., молекул, атомов и электронов. Основу этого движения, которая должна быть обща всем явлениям природы и в том числе

нам самим, как частице вселенной, мы и обозначаем именем мировой энергии. Мы можем говорить, таким образом, об энергии, как о движении; проникающем весь мир и представляющем свою особую форму в живой природе. Все материальные тела суть только местные скопления энергии, и ничего более».

«Нервный ток и та же называемые нервно-психические или, объективно выражаясь, мозговые процессы являются производными молекулярной энергии сложных и крайне подвижных коллоидальных образований живой материи. Внешние энергии, действуя на окончания воспринимающих органов нашего тела, трансформируются в молекулярную энергию, представляющую форму нервного тока, который, направляясь по центросремительным проводникам к мозгу, сам по себе является особым видом энергии. Эта энергия, достигая известного напряжения в центрах, при возрастании препятствия к ее движению, сопровождается субъективными проявлениями, не переставая быть нервным током, в дальнейшем же, возвращаясь при посредстве центробежных волокон в виде нервного тока на периферию к мышцам и железам, та же энергия переходит в молекулярную энергию мышц, с одной стороны, и молекулярную же энергию желез — с другой, а это приводит к двигательным и секреторным рефлексам»<sup>1)</sup>.

Таким образом, материальная или физическая энергия, по рефлексологическому учению, является основой всех вообще «соотносительных» процессов и в частности активных проявлений человеческой личности, ибо наш мозг есть аккумулятор той же энергии.

В вышеуказанном труде мы читаем далее: «всякий организм, являясь деятелем, благодаря запасной энергии, приобретаемой им в некоторой мере (в сущности в форме зачатка) уже от предков, главным же образом путем накопления ее в течение жизни под влиянием питания и превращения действующих на него внешних энергий, реагирует так или иначе на все те внешние влияния, которые по своей силе способны вызывать разряды этой энергии в форме рефлексов того или иного рода».

«Мы признаем физическое и психическое, как целостное явление в одном процессе нервного тока, как энергии, пробегающей через высшие области нервной системы». Рефлексология человека, как было сказано, есть наука о человеческой личности во всех ее проявлениях, изучаемых в связи с вызывающими их раздражителями со строго объективной, материалистической точки зрения как в более элементарных, так и во всех высших отправлениях человеческого существа.

В тех же «Общих основах рефлексологии человека» мы читаем: «Предметом той научной дисциплины, которую мы называем рефлексологией, является изучение соотносительной деятельности организма в широком смысле этого слова, понимая под этим все вообще наследственные и индивидуально приобретенные реакции организма, начиная от более простых и сложных органических рефлексов и доходя до наиболее сложных при-

<sup>1)</sup> В. М. Бехтерев, Общие основы рефлексологии человека, Ленинград, Госизд.

<sup>1)</sup> См. Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, по ред. Разанова, 1925, стр. 11

обретенных рефлексов, известных у человека под именем действий и поступков, характеризующих его поведение».

«Выяснение соотношения внешних проявлений личности с внешними же влияниями текущими и прошлыми достигается путем внимательного и строго объективного наблюдения всех действий, поступков, речи и других проявлений личности».

«Подробное и тщательное наблюдение всех объективных данных человеческой личности в соотношении со всеми внешними как текущими, так и прошлыми поводами, приводящими к внешним ее проявлениям, а также выяснение всего прошлого данной личности, т. е. условий ее жизни и воспитания, а равно и условий наследственности собственно и дают полный материал для ее характеристики».

Самое возникновение жизни, как и внешние проявления живого существа, и в том числе человека в частности, рефлексология рассматривает под углом зрения диалектического материализма.

В «Общих основах рефлексологии человека» мы встречаем положение, что: «живое вещество является в конце концов дальнейшим усложнением мертвой материи». «Особенностью того коллоидального вещества, которое мы называем живой протоплазмой, является то, что происходящие в нем изменения под влиянием внешних условий оно склонно воспроизводить затем в подобном же виде при новом, даже незначительном внешнем толчке». Это то новое качество, которое приобретает живое вещество вместе с усложнением мертвой материи и которое лежит в основе прошлого опыта, которым руководствуется живое вещество в своей деятельности.

«Поведение человека, как живого существа, стоя в соотношении с прошлыми и текущими воздействиями окружающей природы, достигает тех более сложных форм, которые принято называть поступками и которые характеризуются рядом связей между собою действий, руководимых совершенно ясно обозначенной целью, т. е. раздражителем, бывшим ранее в опыте данного лица или других лиц, или же являющимся неизбежным выводом из бывшего ранее опыта, как его прямым следствием».

Соотношение между организмом и окружающей средой, действия организма и его поведение осуществляются при помощи особого механизма, аппарата, располагающего запасом приобретенной материальной энергии, каковым для более высоко организованных существ является нервная система, для ниже организованных — зачатки последней, а для простейших — живая протоплазма.

После ссылки на труд физиолога Леба «Сравнительная физиология мозга и сравнительная психология», в рефлексологии указывается, что «в нервной системе не имеется каких-либо специфических свойств, каких бы не могли бы обнаружить в протоплазменной структуре. Свойства нервной системы общие свойствами протоплазмы».

Далее, в «Общих основах рефлексологии» мы читаем: «Нервная система составляет такой аппарат, который лишь совершенствует всю систему соотношений организма с окружающей средой, проявляемую самой протоплазменной структурой, и в то же время

дает возможность в сложных организмах проявляться согласованным реакциям разных областей тела на внешние раздражения».

«Высшие, т. е. корковые, области нервной системы являются лишь более совершенным в этом отношении аппаратом, дающим реакции с более тонким анализом и более подвижного характера».

Рефлексология человека устанавливает, что человеческая личность в целом представляет собою комплекс рефлексов и в то же время закономерное проявление на соответствующие раздражения всей массы прирощенных и приобретенных рефлексов в координированной форме, результат внешнего индивидуального и социального опыта, а след., результат активной деятельности современного и наследие прошлого поколения.

Таким образом, по учению рефлексологии, все поступки человека детерминированы.

Возьмем наиболее сложные явления человеческих деяний, напр., преступления. Подходя с объективным анализом к такого рода явлениям, принимая во внимание все условия, определяющие личность, начиная с наследственных условий, условий воспитания со дня рождения и последующей школьной жизни, затем позднейших социальных условий и, наконец, всех обстоятельств, сложившихся около преступления, т. е. тех внешних и внутренних раздражителей, которые явились поводом к его завершению, — приходится признать, что преступление происходит роковым образом<sup>1)</sup>.

Несмотря на сложность поступков человека, которую мы видим почти в каждом преступном акте, последний развивается неизбежным образом и, следовательно, является в полной мере детерминированным поступком.

В коллективной рефлексологии уже не единичная личность, а все общество, т. е. социальный или так называемый надорганический мир, вдвигается в тот мировой процесс, который охватывает и весь неорганический и органический миры.

Движения общества подводятся под понятие коллективных рефлексов, благодаря чему закономерность явлений, свойственная рефлексам отдельной личности, переносится вполне естественным образом и на все общество. Наконец, и общая тенденция «коллективной рефлексологии» (В. М. Бехтерев) — подвести движения общества под общие мировые законы и, таким образом, довести идею детерминизма по отношению к общественным явлениям до своего предела, отвечает вполне материалистическому учению об обществе.

Та же закономерность выявляется рефлексологией и в отношении развития личности. Рефлексология показывает, как чисто рефлекторное существо, каковым является младенец в первые дни своей жизни, доразвивается в отношении ориентировочных рефлексов, как постепенно приобретает сочетательные рефлексы, как затем создается почва для развития сосредоточения, как доминантного процесса, впервые создающего из младенческого индивида социальное существо, и как затем путем дифферен-

<sup>1)</sup> В. М. Бехтерев. Объективный метод в применении к исследованию преступности. Сборник, посвященный памяти А. Дриля.



цировки рефлексов и избирательного обобщения устанавливается анализ и синтез окружающего мира.

В «Общих основах рефлексологии человека» мы читаем: «В конце концов личность представляет собою весь тот индивидуальный комплекс высших, т. е. сочетательных, рефлексов, включая и те их особенности, которые являются до известной степени отражением наследственных условий, каковы, напр., темперамент, двигательный темп, индивидуальный тип (слуховой, зрительный, моторный и т. п.), так называемые инстинктивные или наследственно-органические проявления, большая или меньшая одаренность и т. п.»

«В конце концов личность является результатом индивидуального и социального опыта».

«Но, если внешние проявления личности детерминированы, то это ничуть не исключает того, что личность обладает запасом мозговой энергии. Человек есть деятель, механизм которого является результатом прошлой жизни его предков и результатом его прошлого опыта. Сообразно этому и в зависимости от этого он развивает реакцию на внешние воздействия того или иного рода в виде разнообразных рефлексов, вызываемых не одними только внешними, но и внутренними воздействиями и пригом воздействиями не настоящего только, но и прошлого времени».

«Рефлексология человека заставляет смотреть на последнего, как на существо, действия которого подлежат внешним законам в такой же мере, как проявление всякого деятеля, располагающего запасом заимствованной и постоянно пополняемой извне энергии. В этом случае обращение к свободной воле значило бы допустить, что в том или в другом случае может проявиться вмешательство какой-то сверхъестественной силы».

«Точные объективные данные свидетельствуют, что действия и поступки человека подчиняются общим внешним законам и, например, число преступных действий в виде воровства из года в год колеблется в прямом соотношении с ценами на такие основные продукты питания, как рожь» (Прусская статистика).

Аналогичная закономерность может быть доказана и относительно других сложных действий человека. И вообще надо сказать, что, если человек и общество выдвигается рефлексологией в общий мировой процесс, то этим самым идея детерминизма разве не доведена до своего предела? И в то же время существование запасной энергии, свойственной каждой личности, дает возможность воздействия личности на окружающую среду. Вот что дает в результате всего объективное изучение личности.

Выявив основные положения рефлексологии и установив в общих чертах взаимоотношение марксизма и рефлексологии, как объективной науки, остановимся еще на применении метода диалектического материализма в рефлексологии.

Рефлексология, ставя в основу соотносительных процессов вообще и сочетательно-рефлекторной деятельности в частности, физическую, а след., материальную энергию и понимая ее, как движение, тем самым вплотную подходит к одному из основных положений научного материализма, указанному в предыдущем изложении, а именно: «не может быть материи без движения и движения без материи».

Признавая так называемые нервно-психические процессы проявлением функции головного мозга и понимая под ними известное напряжение энергии (в виде нервного тока) в мозговых центрах при возрастании препятствия к ее движению (заторможенные в своем внешнем проявлении или «субвокальные» рефлекс), рефлексология тем самым признает все так называемые психические процессы и в том числе самую мысль, как процессы или проявления физической энергии, углубляя тем самым еще более материалистический взгляд на человеческую личность.

«Нет психических процессов без процессов мозга» — вот одно из основных положений рефлексологии.

В «Общих основах рефлексологии человека» мы читаем: «Прежде всего мы должны признать, что все психические процессы суть мозговые процессы, в основе которых лежит движение нервного тока, но нервный ток в действительности есть уже энергия, при чем мы имеем основания говорить о трансформации всех известных нам энергий, действующих на внешние и внутренние поверхности тела, в нервный ток, и о превращении последнего в молекулярную работу мышц, которая, в свою очередь, переходит в механическую работу. То, что относится к субъективному или психическому процессу, видимому, представляет собою результат более высокого напряжения той же энергии, как бы ее свойство проявлять себя самое при соответствующих условиях».

«Нужно прежде всего отрешиться от воззрения на соотносительную деятельность, как на деятельность *suí generis*, не имеющую ничего общего с окружающей природой, как на проявление «духа», говоря философским языком. Напротив того, все научные данные говорят нам за то, что соотносительная деятельность в конце концов является результатом проявления энергии, известной нам в наиболее простом виде в форме так называемой раздражительности протоплазмы, а в более сложных ее проявлениях — в форме производного от нее же так называемого нервного тока, сопровождающегося в нервных и центральных органах отрицательным колебанием электрического тока».

«Наш субъективный мир, как и все процессы в нашем мозгу, является следствием воздействий, исходящих извне. Поэтому мы не можем становиться на точку зрения гносеологического идеализма, а должны стать на точку зрения гносеологического материализма. Точно так же и внешний мир, конечно, не тот, который мы ощущаем и представляем, а тот, который есть на самом деле, подчинен закону причинности или точнее закону отношений».

Марксизм в основу всех процессов, совершающихся в мировой обстановке, ставит материю, но он не считает эту материю за абсолютно неизменную субстанцию, наоборот, учение Маркса — Энгельса признает, что материя находится в непрерывном развитии, непрерывном изменении. Суть диалектического материализма заключается в том, что нет предметов, а есть процессы, подчиняющиеся определенной закономерности в своем развитии. Равным образом и в «Общих основах рефлексологии человека» устанавливается в полном соответствии с теорией диалектического материализма принцип непрерывной изменчивости: «В мире нет постоянства: все движется, все течет и все подвергается

изменениям. Ни одно достаточно сильное внешнее воздействие не остается без влияния на механизм соотносительной деятельности, который реагирует соответственным рефлексом, но этот рефлекс уже изменяет состояние органов, участвующих в рефлексах, как и весь вообще организм, и в то же время изменяет в той или иной мере самый механизм соотносительной деятельности, а это изменение, в свою очередь, изменяет форму реагирования на то же раздражение в будущем. Всякий рефлекс вообще дает нечто новое, представляя в сущности творческий акт. Всякая реакция организма есть нечто неповторяемое, ибо если данная реакция изменяет в той или иной мере самый работающий механизм, то всякая новая реакция окажется уже не той, что была прежде. И личность не представляет собой чего-то постоянного, а подвергается изменению с каждым новым воздействием на нее и с каждым ее проявлением, с каждым новым рефлексом. Личность, будучи самобытной в силу наследственных условий и особенностей социального воспитания, в каждый данный момент представляет собою нечто изменяющееся и неповторяемое, при чем каждый момент вносит в личность нечто новое, не бывшее ранее в ее опыте».

С точки зрения марксизма неорганическая природа, органическая природа и человеческое общество есть не больше, чем члены последовательного диалектического развития единой материи.

В «Общих основах рефлексологии человека» в соответствии с этим устанавливается принцип эволюции: «уже давно стало аксиомой, что все различные формы энергии суть видоизменения одной и той же энергии, проявляющейся не одинаковым образом в различных физических условиях». «Кажущаяся различия свойств видимых тел стало исчезать особенно с тех пор, как путем охлаждения водород и кислород превращены в твердые тела и был получен жидкий воздух. Самые атомы рассматриваются, как центры связанной энергии в виде вращающихся по орбитам электронов». С эволюцией коллоидов возникают своеобразные реакции раздражительности вещества. «Затем постепенно из простой раздражительности растений и сократительности простейших развивается более сложная форма передвижения с помощью ложноножек или псевдоподий; в дальнейшем развитии формы движения органов—эти основные проявления соотносительной деятельности все более и более усложняются: рука об руку с развитием разнообразных органов передвижения; из простейших рефлекторных актов развиваются сочетательные рефлексы. Из отдельных чисто рефлекторных и подражательных звуков постепенно развивался первичный язык в форме междометий и простых корней, из этих же междометий и корней путем приставок, удвоений, сложений, флексий и т. д. постепенно развивался настоящий язык, этот язык все более и более дифференцировался и усложнялся путем избирательного общения, язык одного народа обособлялся от языка другого народа, благодаря своеобразным условиям окружающей его природы и не менее своеобразным жизненным условиям, путем смешения языков образовывались новые языки и т. п.».

С точки зрения диалектического материализма нет ни обусловленных, ни изолированных явлений, все находится в непрерыв-

ной цепи, являясь и причиной и следствием. По учению рефлексологии, в полном согласии с теорией марксизма все поступки человека признаются детерминированными, о чем уже говорилось в предшествующем изложении.

В «Общих основах рефлексологии человека» устанавливается принцип зависимых отношений (г.-е. отношений причины к следствию и обратно): «Жизнь дает бесчисленные примеры того, как под влиянием биологической потребности за одним движением, которое мы вправе рассматривать, как сочетательный рефлекс, следует другое движение, за этим третье и т. д. Всякий сочетательный рефлекс связывается со всеми более или менее воздействующими на организм влияниями, поскольку они не тормозят самый рефлекс, хотя бы эти влияния были совершенно сторонними, даже по существу индифферентными внешними раздражениями».

В «Коллективной рефлексологии»<sup>1)</sup> устанавливается, что «нет ни одного общественного движения, которое в своей исторической жизни не являлось бы следствием предшествующих событий. Развитие общественной жизни всегда идет в определенной последовательности, как следствие вытекает из причины».

Наконец, все действия отдельного человека, как и проявления общественной деятельности, как мы видели из предыдущего изложения, вводятся рефлексологией, как вставочные звенья в один общий мировой процесс, протекающий в разных формах жизни неорганической, органической и надорганической или социальной по одним и тем же общим мировым законам.

Остановимся теперь на вопросе о причинах или точнее зависимых отношениях в проявлениях человеческого организма и в нервных его функциях.

Еще в 1903 году в сочинении В. Бехтерева «Учение о функциях мозга» (вып. I) выдвинуты вопросы взаимоотношения процессов возбуждения и торможения в мозговой деятельности.

Затем, подробно вскрывая основные проявления процесса сосредоточения, об этом важном процессе говорится В. Бехтеревым в «Вестнике Психологии» в 1911 году и затем в его труде «Объективная психология»<sup>2)</sup>, где показано все значение этого процесса в сочетательно-рефлекторной деятельности. При этом была вскрыта и физиологическая сторона этого процесса, которая предполагает повышенную возбудимость одного из центров при сопряженном торможении всех других центров.

Позднее физиолог проф. Ухтомский выдвигает учение о доминанте, как одной из форм отправления нервной системы, и в настоящее время русская физиологическая литература полна работами о развитии доминанты в различных областях нервной системы.

Рассматривая основные проявления доминанты, как физиологического процесса, состоящего из очага повышенной возбудимости и сопряженного торможения других центров, при чем сторонние раздражения еще более поднимают возбуждение очага с повышенной возбудимостью,—приходится признать, что процесс

<sup>1)</sup> В. М. Бехтерев. Коллективная рефлексология, Петроград, изд. «Колос».

<sup>2)</sup> В. М. Бехтерев. Объективная психология, 1907—1912.

сосредоточения является в настоящем смысле доминантным процессом в сочетательно-рефлекторной деятельности (Бехтерев).

Таким образом, рефлексологическое исследование отмечает важность этого процесса в работе головного мозга еще раньше физиологического подхода к этому предмету, выявив в то же время внешние проявления этого процесса, что не было доступно физиологам.

Это сосредоточение, как доминантный процесс, лежит в основе всех вообще активных отношений человеческой личности к окружающему миру как в ее действиях, так и в мыслительных процессах в смысле логического направления субвокальных рефлексов. Руководясь данными генетического метода, необходимо признать, что сосредоточение связывается с т. наз. первичными соматическими или внутренними раздражителями, его возбуждающими; с развитием же индивида активность его возбуждается и направляется главным образом социальными раздражителями. Отсюда ясно, что человек с его мозгом, являющийся аккумулятором энергии, а следовательно, и деятелем, выявляет себя активно в окружающем мире, благодаря получаемым извне раздражениям, как инциатор и творец своей судьбы, а вместе с тем и творец социального строительства. Таким образом, между человеком, как деятелем, и окружающей его средой устанавливается взаимоотношение с характером зависимых отношений или отношение причины к следствию, и обратно.

Диалектический материализм учит, что количественное развитие любого процесса совершается постепенно, а происходящее при этом качественное изменение возникает внезапно. Таким образом, всякий процесс изменяется в виде скачка, при чем наступает совершенно новое состояние. Иначе говоря, процесс развивается по формуле: эволюция—революция—эволюция. Мы уже говорили выше, что с точки зрения рефлексологии переход мертвой материи в живую происходит путем усложнения и накопления количественных изменений и образования путем скачка нового качества.

Рефлексология, признавая в нервном токе физическую энергию и понимая ее, как движение вещества в данном случае в смысле постоянного разложения сложных образований на ионы и постоянного же следующего за ним восстановления, говорит, что при определенных количественных изменениях этой энергии при известных условиях повышения ее напряжения в сложных фосфористых белках мозга, связанного с процессом сосредоточения, происходит то качественное изменение, являющееся, как всегда, скачкообразным, который мы обозначаем психическим или сознательным процессом.

Таким образом рефлексология объясняет переход простого нервного тока, как особого вида энергии, в нервный же ток в высших центрах коры, где благодаря количественным изменениям возникают нервно-психические процессы, иначе говоря, приобретаются тем самым в нервной деятельности новые качества, при чем нервный ток не перестает быть таковым, в силу чего, вместе с устранением происшедших количественных изменений на пути к периферии, весь процесс становится снова простым нервным током.

Далее рефлексология доказывает, что на основе простых рефлексов происходит путем усложнения и перехода количества в качество скачкообразное возникновение сочетательных рефлексов.

Сочетательные или высшие рефлексы, являющиеся результатом опыта, отличаются от обыкновенных не только количественно, но, несомненно, и качественно, ибо сочетательный рефлекс отличается от обыкновенного рефлекса особыми свойствами (большой склонностью к торможению, способностью к дифференцировке, обобщению и т. п.), а между тем все лабораторные опыты показывают, что сочетательный рефлекс развивается внезапно в результате чаще всего многократного (а иногда и однократного) совмещения двух раздражителей—основного, вызывающего обыкновенный, т.-е. врожденный, рефлекс, и стороннего, с которым затем и связывается сочетательный рефлекс.

Специально произведенные Бехтеревым и Полонским в лаборатории Государственного Рефлексологического Института по изучению мозга опыты над дифференцировкой сочетательных рефлексов также показали, что эта дифференцировка, осуществляемая путем многократных совмещений стороннего раздражителя с основным электрокожным, нередко осуществляется совершенно внезапно. Следовательно, и здесь мы имеем дело с внезапным переходом недифференцированного сочетательного рефлекса в дифференцированный, т.-е. в сочетательный же рефлекс с новым качеством.

В «Общих основах рефлексологии человека» В. Бехтерева мы читаем следующее: «Все вообще высшие проявления соотносительной деятельности имеют своим прообразом обыкновенный рефлекс, передаваемый по наследству из рода в род и воспроизводимый благодаря репродуктивно-сочетательной деятельности высших центров. Вследствие этого и общий характер проявлений сочетательно-рефлекторной деятельности принимает в сущности те же формы, как и обыкновенные рефлексы. И так как последние носят характер подготовки, наступления, обороны и рефлекторного подражания, то и высшие рефлексы в конце концов сводятся в своих внешних проявлениях к подготовке или сосредоточению, наступлению, обороне и сочетательно-рефлекторному подражанию с развитием в связи с последним символика. Но они отвечают на раздражения не по раз установленному шаблону, а приспособляются к разнообразным и часто меняющимся в жизни условиям раздражения, более же сложные их формы в виде личных рефлексов приспособляются к преследованию определенного, иногда подвижного и нередко даже ускользающего от преследования живого объекта, как цели. Отсюда ясно, что в сложных сочетательных рефлексах имеется не количественная только сторона, но и качественная, столь характерная для всех вообще действий живых существ».

Таким образом, во всех внешних проявлениях сочетательно-рефлекторной деятельности при рассмотрении их с точки зрения рефлексологии находит свое приложение принцип перехода количества в качество, ибо, как уже говорилось, одно- или многократное совмещение неререфлексогенного раздражения с рефлексогенным, что представляет собой чисто количественный процесс, приводит к тому, что неререфлексогенный раздражитель в виде

скачка становится рефлексогенным, т.е. получается качество, которого ранее не было. С другой стороны, из совокупности целого ряда сочетательных рефлексов, определенных образом координированных, мы получаем действие, т.е. нечто, качественно отличное от простых движений.

Далее с точки зрения диалектического материализма всякое прогрессивное развитие обусловлено противоречием, как отрицанием тезиса антитезисом, отрицание которого, в свою очередь, новым противоречием приводит к синтезу, как утверждению тезиса на высшей ступени.

Уже в элементарном ориентировочном рефлексе находит свое приложение только что указанный принцип прогрессивного развития. Рефлексология рассматривает так называемые ориентировочные рефлексы, как два последовательных акта: раздражение специфических элементов, воспринимающего органа и ответный двигательный рефлекс со стороны мышц того же органа. Поэтому она говорит, что нет и простых центров в коре в виде центров зрения, слуха, обоняния и пр., а имеются сочетательные области змоторения, слушания, нюхания и пр., иначе говоря, работают всегда две части одной и той же сочетательной корковой области: воспринимающая или приводная и отводная.

Рефлексология не ограничивается обозначением процесса видения, слышания и пр., с чем имеет дело психология или психофизиология органов чувств, а рассматривает процессы змоторения, слушания и т. п. Таким образом, здесь дело идет о двух различных процессах, из которых один может быть признан тезисом, другой—антитезисом, окончательный же результат того и другого процесса должен быть признан синтезом.

Возьмем теперь развитие более сложных рефлексов поведения. К таковым, без сомнения, относится отыскивание цели, как раздражителя, как избегание опасных раздражителей.

Если путь к цели не предопределен заранее предшествующим опытом, то достижение цели в животном мире обычно осуществляется с помощью пробных движений в одном и другом направлении, что было констатировано еще Дженнингсом на инфузориях.

Возьмем в пример охотничью собаку, которая потеряла след дичи. Она бросается в одну сторону и, не найдя ее там, бросается в другую сторону и, наконец, нападает на след.

И человек, потерявший правильную дорогу, ищет ее в одном направлении, а, убедившись в его ошибочности, принимает направление ему противоположное, пока не нападет на правильный путь.

В выполнении любого задания, если заранее нам опыт не подсказывает его решения, мы идем тем же путем проб в одном и в другом направлении, пока не подойдем вплотную к правильному решению. То же и в творческой деятельности и в случаях, относящихся к избеганию опасности.

Все это есть не что иное, как осуществление того же принципа прогрессивного развития.

Таким образом, во всяком акте, не предпринятом прежним опытом, мы усматриваем диалектическую триаду: тезис, антитезис и синтез, и как бы ни возражали против всеобщности этого

принципа, но рефлексология подтверждает его в целом ряде фактов.

Между прочим, принцип прогрессивного развития подтверждается на развитии понятия о психическом. Как известно, первоначально метафизическая психология принимала существование особого духа или души, тогда как Брюхеровский материализм в свое время утверждал, что мозг производит мысль так, как печень выделяет желчь. Таким образом, мы имеем здесь тезу и антитезу. Позднейшее учение о психофизическом параллелизме является еще отражением известного дуализма. И только монистическое воззрение, которого держится рефлексология и которое опирается на энергетику в смысле понимания нервного тока, как физической энергии, и на принцип развития с переходом количества при его усложнении в качество, дает окончательный синтез в развитии этого вопроса.

Принцип прогрессивного развития, между прочим, выявлен и в историческом развитии науки о человеческой личности.

До второй половины XIX столетия развивалась эволюционным путем субъективная, идеалистическая психология (вначале в виде метафизической, затем эмпирической психологии).

Во второй половине XIX столетия начинает развиваться новое направление в науке о человеческой личности, получившее в дальнейшем название рефлексологии и произведшее революцию в науке о личности человека.

Это направление в настоящее время получает все большее и большее распространение по культурному миру, и таким образом мы переживаем период эволюционного развития рефлексологии, которая в противоположность психологии является в полной мере материалистической наукой о человеческой личности.

В настоящее время идет процесс увязки рефлексологии с философией марксизма, диалектическим материализмом.

Рефлексология в свете диалектического материализма является диалектическим синтезом исторического развития науки о человеческой личности, тезисом которого была метафизическая и ее наследница эмпирическая психология, с антитезисом—рефлексология в первоначальном ее развитии.

В теории классовой борьбы Карл Маркс установил основную движатель, основную пружину развития человеческого общества. Эта теория полностью находит свое отражение и в науке о человеческой личности.

Марксизм устанавливает, что так называемая психика общественного человека определяется частью непосредственно экономикой, а частью всем выросшим на ней социально-политическим строем. Различные общественные идеологии отражают в себе свойства этой психики. Если мы посмотрим, что представляет собою субъективная психология, то должны с полной определенностью сказать, что она, будучи целиком индивидуалистической психологией, представляет собой идеологическое отражение индивидуалистических воззрений.

Рефлексология же, рассматривающая человеческую личность, как био-социальный продукт, признает, что человеческая личность по преимуществу есть результат общественности (ибо без общества человек не был бы человеком). Этим самым рефлексология отражает в себе не индивидуалистические, а, наоборот.

коллективистические тенденции, свойственные и новому обществу-политическому строю.

Из вышеизложенного ясно, что метод диалектического материализма вполне применим к рефлексологии.

Принципы диалектики: 1) принцип непрерывной изменчивости всего существующего, 2) принцип всеобщей связи явлений, 3) принцип скачкообразности развития процессов с переходом от количества к качеству и 4) принцип прогрессивного развития вполне приложимы к рефлексологии и вскрывают основные законы течения соотносительной деятельности человека.

Научно-материалистическое понимание соотносительной деятельности человека ставит науку о человеческой личности—рефлексологию—в ряды естественно-научных дисциплин.

Своей цели рефлексология человека достигает следующими путями: 1) объективно-биосоциальным изучением всех внешних проявлений личности и установлением соотношения их с внешними же или внутренними текущими или прошлыми воздействиями, а также изучением последовательного развития сочетательно-рефлекторной деятельности со дня рождения; 2) исследованием закономерности развития сочетательно-рефлекторной деятельности при разных условиях путем эксперимента и наблюдения; 3) изучением того механизма, при посредстве которого осуществляется соотношение тех или других сочетательных и иных рефлексов с внешними и внутренними раздражениями текущего и прошлого времени, что достигается экспериментом на животных с разрушением их мозга и патологическими наблюдениями на людях; 4) изучением онто- и филогенеза соотносительной и в частности сочетательно-рефлекторной деятельности в связи с филогенетическим развитием мозговых полушарий; 5) изучением соотношения между объективными процессами сочетательно-рефлекторной деятельности и словесным отчетом об испытываемой человеком при этом переживаниях.

Включая в рефлексологию, наряду с приведенными методами, и метод диалектического материализма и выясняя этим путем проявления сочетательно-рефлекторной деятельности, начиная с самых простых и кончая наиболее сложными проявлениями человеческой личности, мы тем самым вплотную подходим к созданию марксистской науки о человеческой личности, рефлексологии в свете диалектического материализма.

Средой человека является социальная среда, среда человеческого общества с его производственной основой и социально-политической и культурно-идеологической надстройкой. Неорганический и органический мир влияют на человека, лишь преломившись через призму социальной среды. Поэтому-то рефлексология считает искусственно созданную социальную среду доминирующим раздражителем, а человека и его личность—биосоциальным продуктом. Отсюда ясно, что рефлексология стоит на грани наук биологических и социальных.

Изучая механизм, благодаря которому осуществляются реакции личности на внутренние и внешние раздражители, т. е. нервную систему во всей ее сложности, а также наследственные реакции, рефлексология полностью соприкасается с естественно-научными, биологическими дисциплинами.

Изучая же путем объективного наблюдения и проверки опытом внешние проявления личности во внешней среде в различных возрастах и состояниях (ребенок, взрослый, здоровый, больной) и в различных условиях, например, в труде, в профессионально-производственном и социально-классовом окружении, в коллективной или групповой деятельности,—рефлексология сближается с социальными науками.

Резюмируя вышесказанное, необходимо признать, что рефлексология изучает способы, которыми отдельная человеческая личность, группа, класс, общество, как наследие своего прошлого, реагируют на окружающую среду, т. е. изучает реактивную деятельность человеческой личности и тех или других социальных групп.

Так как реакции человека на окружающий мир осуществляются посредством определенного механизма, то чем лучше мы будем понимать этот механизм и его действие, тем лучше сумеем путем сочетательно-рефлекторной деятельности приспособлять к человеку экономические изменения, происходящие в обществе, сосредоточивать наши усилия на тех путях, которые приведут к благотворным вообще результатам, и избегать растраты энергии на непроизводительные действия.

Нам известно, что во всяком трудовом процессе происходит вместе с деятельностью мускулов и других органов нашего тела и работа нашего мозга и нервной системы вообще, которая является руководителем человеческой деятельности, человеческих проявлений.

Знание рефлексологии поэтому необходимо всем трудящимся, как и знание всех других научных дисциплин, преподающихся в наших школах. Чтобы быть во всеоружии знания, каждый трудящийся должен знать те закономерные соотношения, в которых живет и действует человеческая личность, группа, класс, общество и как они отвечают на влияния внешней среды (главным образом, социальной) при посредстве того механизма, благодаря которому и осуществляются эти реакции.

Подобно тому, как дарвинизм дает возможность нам понять появление человека в результате естественного отбора в мире животных, знакомит нас с нашим животным прошлым, учит нас тому, что такое «биологический человек»; рефлексология, изучая человека в деятельности и в труде, дает нам точные научно-материалистические принципы зависимости поведения и всех вообще реакций человека от тех изменений, которые происходят во внешней среде с ее экономической базой и социально-политической надстройкой; она устанавливает, что такое личность человека в окружающей его социальной среде и вместе с тем, как должна быть изменяема окружающая среда для воздействия на самую личность. В этом отношении рефлексология является той наукой, которая создает научную базу для диалектического материализма, раскрывающую мощные орудия служения человеку в его борьбе за права человеческой личности или того или другого коллектива.

В пояснение сказанного приведем здесь соответствующую оценку рефлексологии, сделанную проф. Залкинд в его вступительной статье к брошюре Ю. В. Франкфурга «Рефлексология и

марксизм», кстати сказать совершенно несерьезной и даже более чем поверхностной<sup>1)</sup>.

«В наш век,—говорит он,—когда перепугавшаяся на смерть буржуазия тянет всякие естественные науки, пытается и в них защитить свою субъективистически-метафизическую установку,—учение о рефлексах играет колоссальную роль. В рефлексологии мы получаем богатейший объективный материал, под который ни витализму, ни психо-физическому параллелизму не подкопаться. Все попытки идеалистически истолковать рефлексологию целиком объясняют субъективизированной логикой их авторов,—без малейшей в том вины со стороны рефлексологического материала, данного нам безукоризненно чистым объективным экспериментом».

«Марксизм получает в рефлексологии следующие для себя ценности: 1) рефлексология в основе отвергает самонаблюдение, всемерно пользуясь объективным подходом к психическому процессу; 2) в учении о рефлексах содержится чистейшей воды психофизиологический монизм, при котором психофизиологическая терминология и психофизиологические понятия, действительно, впервые становятся научно совсем ненужными. В движениях, в рефлексах организма нет разделения на «психические» и «соматические» процессы: все рефлексы в одинаковой мере являются активными действиями организма в борьбе за жизнь и представляют собою единое «поведение» организма в этой борьбе. Мысль, чувство, движение кишок, сжатие руки в кулак равносущны. Нет психических или соматических рефлексов,—существует лишь общая система боевых действий организма, общая рефлекторная установка его в окружающей среде. Вся рефлекторная жизнь организма—и «психическая», и «соматическая»—не что иное, как последовательные боевые изменения его единой целевой рефлекторной установки, ряд нападений и отражений, ряд притягиваний и отталкиваний; 3) ценнейшим для нас обстоятельством в учении о рефлексах оказывается моторизм в подходе его к пониманию психического процесса, динамизм—глубоко действенный, «деловитый» уклон психизма,—уклон, сводящий, в учении о рефлексах, всю так называемую психическую жизнь, даже интимнейшую и сложнейшую ее часть—«интеллект», «воображение», «подсознание» и пр.—не к созерцанию, а к делу, действию, движению, поступку, «поведению». Так высшие психические процессы—«мысль», «сознание»—во внешних их проявлениях для объективиста-рефлексолога в основе своей представляются заторможенной речью: всякий психический акт это—движение, действие, «ассоциация» действуют путем отбора, отсечения, перемещения и т. д., и т. д. Это, помимо теоретической ценности, открывает гигантские возможности практического использования рефлексологии, что нашему исчерпывающе-практическому миросозерцанию (марксизму) нужнее всего; 4) наконец, для диалектического материализма учение о рефлексах—и пока только оно—дает ценнейший арсенал, открывающий богатейший простор диалектическому подходу к психофизиологическим процессам. Фиксируя всю физиологию, т.-е. и психофизиологию, на двух моментах: древний, глубоко укоренившийся сочетания опыта (безусловные рефлек-

<sup>1)</sup> См. критику этой брошюры в работе В. Бехтерева: «Психология, рефлексология и марксизм». Изд. Госуд. Психо-Неврол. Академии и Гос. Рефлексологич. Ин-та по изучению мозга, Ленинград 1925 г.

сы), и на более хрупких, новых, молодых биологических навыках (условные рефлексы),—учение о рефлексах открывает вполне свободное поле для применения нашей исторической, социальной диалектики к явлениям антропологического порядка. Текучесть, изменчивость, противоречия, революционные переконструировки социальной среды полностью выявляют себя и в человеческой психофизиологии, окрашивая ее в тона определенной исторической эпохи, определенного класса,—откуда возникает и совершенно новая дисциплина: классовая психофизиология, классовая рефлексология, пытающаяся монистически связать понятие о классовом сознании с «биологическим окружением» этого сознания. Биологическая психология человека превращается в социофизиологию, в которой отдельный организм, как в биологических, так и в психических его проявлениях, неотделим от общества, класса,—нимало не изменяя в то же время законы общественной жизни, сформулированные ортодоксальным марксизмом».

В статье «Рефлексология и современность» тот же проф. Залкинд говорит: «На долю России выпала завидная участь—быть колыбелью и первой рассадницей рефлексологии, этого наиболее глубокого современного физиологического учения, создающего неисчерпаемые перспективы для действительно материалистического подхода к организму во всех его проявлениях. У нас же впервые проделан и углублен опыт переноса рефлексологических опытов с животных на человека... Учение о рефлексах, правильно, без физиологических искажений, понятие и последовательно использованное, не только ликвидирует в дальнейшем наши споры о дуализме «души» и «тела», но и даст нам в руки ценнейшие средства к воспитанию и перевоспитанию человека».

В заключение остановимся на тех основных положениях, которые вытекают в результате соотношения учения о диалектическом материализме и рефлексологии с соответствующими случаями разъяснениями.

Эти положения следующие:

1. Наряду с наследственными задатками, приобретенными личностью от предков, общая направляющая сила, приводящая к развитию человеческой личности и к установлению ее внешних реакций, заключается во влияниях окружающей личности среды. Без социальной среды и ее воздействия не может быть соответственного развития личности. В свое время это было выражено известной формулой марксизма: «бытие определяет сознание» и «общественное бытие определяет общественное сознание». Рефлексология не только сама выдвигает аналогичное положение, но подводит под него соответствующий научный базис, признавая личность био-социальным существом. Вместе с тем, пользуясь объективной терминологией, она ту же формулу дает в следующем виде: «бытие определяет личность» и «общественное бытие определяет собирательную личность».

Рефлексология говорит, что непрерывно изменяющаяся внешняя среда, а таковой для человека является, главным образом, социальная среда, то стимулирует или возбуждает, то, наоборот, тормозит или подавляет развитие тех или иных проявлений человеческой личности, приобретшей наследственные свойства от предков.

Человек и его личность является в конце концов результатом исторического процесса, причина которого лежит вне самого человека.

С другой стороны, и количество, и разнообразие проявления личности в виде ее ответных реакций или рефлексов стоит в прямом соотношении с окружающей социальной средой: чем сильнее окружающая среда, тем богаче и сложнее ответные на нее реакции личности.

2. В мире реально одна лишь материальная среда, в понятие которой включаются и все физические энергии, как и все вообще тела, являющиеся связанной формой энергии. Материя, понимаемая в широком смысле слова, является основой бытия, а человеческая личность, как совокупность развивающихся в процессе мозговой деятельности комплексов высших рефлексов, является продуктом той же материальной среды, ибо внешний мир действует на личность человека посредством тех разнообразных энергий, которые проявляются в этом мире. Поэтому всякая личность в конце концов развивается в результате ее опыта в окружающей среде, в которой социальные соотношения имеют преобладающую роль.

Отсюда ясно, что личность человека необходимо изучать в ее разнообразных рефлесах, в прямой связи с не менее разнообразными внешними и внутренними раздражителями, которые действуя как в прошлом, так и в настоящем, в конечном результате и определяют поведение и все вообще внешние проявления личности. При этом необходимо принимать во внимание существование непрерывной связи и переходов между миром неорганическим, органическим и надорганическим или социальным, ибо и тот, и другой, и третий представляют собой развивающиеся путем непрерывного усложнения одно целое — один мировой процесс, подчиняющийся одним и тем же общим мировым законам<sup>1)</sup>, при чем разница между различными мирами, как отдельными частями одного целого, заключается только в усложнении самого процесса, приводящем к качественной разнице в явлениях одного, другого и третьего миров.

3. Реагирование человека на окружающий мир и вообще то, что обозначают внешними проявлениями человека, развивается диалектически, обычно в форме триады: тезиса, антитезиса и синтеза. Поэтому и научное достижение, если оно не является прямым выводом из прошлого опыта и не исходит из определенных фактов, идет первоначально путем создания гипотезы (тезис), но эта гипотеза обнимает только круг известных в данное время фактов, с течением же времени круг фактов расширяется вследствие чего созданная гипотеза становится недостаточной, после чего строится новая гипотеза (антитезис), но и эта новая гипотеза со временем, сталкиваясь с новыми фактами, оказывается непригодной и дело сводится к окончательному объяснению явлений, которое и представляет собою в большей или меньшей мере синтез той и другой гипотезы, являясь настоящей теорией.

<sup>1)</sup> В. М. Бехтерев, Об общих мировых законах и пр. Вопросы изучения и воспитания личности, вып. 1, 2 и 3. Он же. Коллективная рефлексология, 1923 г., 2 ч., и Общие основы рефлексологии человека, 1926 г.

Возьмем в пример теорию мироздания. Первоначально астрономия пользовалась Птоломеевской гипотезой. Это была первоначальная теза в этом вопросе, но с течением времени старая гипотеза оказалась неудовлетворительной и возникла Коперниковская система, явившаяся антитезой. Но и эта система сменяется ныне теорией относительности Эйнштейна, как бы она ни эволюционировала со временем.

Нечего говорить, что в иных случаях может создаваться до окончательной теории не две, а большее число гипотез, но в общем и целом последовательное развитие этих гипотез может быть подведено под тезу и антитезу до образования окончательной теории.

Если так дело идет в наивысших проявлениях человеческой личности, в ее творческой деятельности, то в сущности и во всех видах деятельности, если она не имеет предшествовавшего опыта, человечество обычно идет подобным же образом.

Всякое крупное и резко меняющее обычный уклад жизни общественное нововведение (тезис) вызывает явное или глухое противодействие (антитезис), но окончательный итог дает нечто такое, что сглаживает непримиримые противоречия (синтез) по закону противодействия равного действию (см. «Колл. рефлексология»).

Так же и во всех случаях поисков нового, когда они не руководятся прежде бывшим опытом, человек, как и всякое живое существо, идет первоначально путем пробы в одном направлении, которая при ошибочности заставляет принять иное, часто совершенно противоположное направление и, наконец, избирается более или менее правильный путь.

Совершенно то же мы имеем и в общественной жизни. Первоначальные родовые коллективные суды с установлением единичного образа правления перешли в суды самого правителя, или замещающего его судью и, наконец, превратились в позднейшую форму судов, которая может быть признана синтезом обеих предшествующих форм.

Возьмем другое творчество — творчество моды, которое, казалось бы, не должно иметь ничего общего с закономерностью, если принять во внимание капризность человеческого вкуса в отношении формы и покроя одежды, а между тем здесь более, чем где-либо, осуществляется тот же принцип диалектики. Одна мода, доведенная в смысле утрировки до предела, сменяется другой, обычно ей противоположной, а затем опять является на смену второй нечто новое, обычно содержащее в себе особенности той и другой. Из сказанного ясно, что необходимо изучать личность и ее действия, как и общественные явления в их развитии и движении, связанном с изменениями, иначе говоря, генетическим путем, и выяснять диалектический метод этого развития в смысле перехода от одних реакций к другим, а по отношению к общественной жизни в смысле взаимоотношения людей и классов в их противоречиях и борьбе и грядущем установлении социализма, как синтеза.

4. Так как люди живут в обществе или в созданной ими искусственной среде, вследствие чего и естественная среда воздействует на человека, преобладавший так или иначе через призму

социальности, то очевидно, что чем общественная среда богаче средствами подчинения сил природы человеку, и чем развитее ее материальные производительные силы, тем слабее влияние естественной среды на человека.

В виду этого ясно, что объект исследования рефлексологической деятельности отдельной личности (индивидуальная рефлексология) и ее развитие (генетическая рефлексология), деятельности того или другого коллектива, профессионально-производительной группы, класса (коллективная, профессиональная, классовая рефлексология) и, наконец, деятельность целого общества и народа (социальная и национальная рефлексология) должны изучаться в связи со всем окружающим, особенно же социальным миром и с теми раздражителями, ответом на которые и является деятельность индивида в разные возрастные периоды, профессионально-производительной группы, коллектива, класса, общества, народа. Без выяснения этого окружения и тех воздействий, которые оказывают влияние в настоящем и оказывали в прошлом на объект рефлексологического исследования, вызывая в нем соответствующие ответные реакции, не может быть вынесен и самый объект в должной полноте. Таким же образом должно быть изучаем и весь вообще животный мир, что и является предметом зоорефлексологии и сравнительной рефлексологии.

5. Хотя факторы, определяющие внешние проявления человека, лежат в двух плоскостях: а) биологической, являющейся продуктом опыта предков и не только близких, но и более удаленных, и характеризующейся конституциональными, антропологическими и характерологическими особенностями, и б) социальной, являющейся продуктом личного опыта в социальном окружении, при чем с развитием человеческой культуры социальный фактор приобретает все большее и большее значение и в окончательном итоге личность является более социальным, чем биологическим существом (доминирующее значение социального фактора). Это обстоятельство вынуждает к особенно тщательному изучению отражения в проявлениях культурной личности окружающей ее социальной среды.

Так как в своем онтогенетическом развитии человек повторяет этот принцип и постепенно из существа биологического в первый период младенчества, руководящегося во внешних проявлениях исключительно своими соматическими или внутренними телесными потребностями, с развитием сосредоточения (доминанты) по отношению к окружающей его среде становится первоначально примитивно-социальным, вернее говоря семейно-социальным существом, а в дальнейшем с возрастом — существом большей мере социальным, то в генетической рефлексологии учитывая это обстоятельство, приходится направлять исследование таким образом, чтобы выяснить, как постепенно факторы окружающей социальной среды начинают воздействовать на ребенка, превращая его из биологического в био-социальное существо и, наконец, в социальное существо по преимуществу. Здесь следует иметь в виду, что под влиянием социальной среды и ее воздействий с течением времени в значительной мере у-

<sup>1)</sup> См. В. Бехтерев. О зоорефлексологии и пр., Вопросы изучения воспитания личности, 1923.

ряются, затормаживаются и даже видоизменяются и биологические потребности организма.

6. Все те данные, которые имеются в настоящее время относительно развития механизма сочетательно-рефлекторной деятельности, говорят за то, что оно идет скачками, переходя от простого рефлекса к сочетательному и от недифференцированного сочетательного рефлекса нередко сразу в дифференцированный, т. е. качественно другой сочетательный рефлекс (опыты В. М. Бехтерева, Шнейерсона, Кротковой и Чегодаевой и Полонского); с другой стороны, из ряда отдельных сочетательных рефлексов в форме отдельных движений путем их комбинации и усложнения возникает действие, являющееся, в свою очередь, качественно-различным процессом, ибо от каждого из входящих в него рефлексов, образующих вместе количественную группу, действие отличается уже целесообразностью, т. е. качественным характером, которого не было ни в одном из входящих в него отвлеченных и абсолютных рефлексов.

7. Так как отвлеченных и абсолютных истин нет, а всякая истина есть нечто конкретное и относительное, ибо в конце концов наше знание истинно лишь постольку, поскольку оно согласуется с объективной действительностью, то бытие или действительность есть в сущности единственный предмет познания. Поэтому рефлексология, как объективная наука, должна исходить и исходит из конкретных фактов и пользуется индуктивным методом исследования. В силу этого человеческая личность везде и всюду должна изучаться в той конкретной, действительной обстановке, т. е. в ее социальном окружении, в котором она находится.

8. В сущности каждый человек является членом определенной профессионально-производительной группы, членом определенного класса, так как принадлежность к бесклассовой среде можно мыслить только в будущем коммунистическом обществе. Поэтому при изучении личности, учитывая вышеприведенное обстоятельство, должно иметь в виду выявлять не только индивидуально-практические особенности личности, но и ее особенности профессионально-групповые, классовые и социальные вообще.

9. Задачей рефлексологического изучения личности является не только теоретическое объяснение ее реакций или рефлексов, но и практическое овладение этими рефлексами, выражающими взаимоотношение личности и среды — по принципу единства теории и практики.

Полное «определение» личности должно иметь в виду, с одной стороны, объяснение ее реакций и, с другой стороны, выяснение всего того, что недостает личности для ее социального совершенствования в связи с реальными окружающими условиями и степенью ее развития.

В виду этого задачей рефлексологии должно быть в связи со всесторонним изучением личности выяснение мер, воздействующих на личность, и не только с биологической стороны, но и со стороны социальной, и даже социальной по преимуществу, а, следовательно, выяснение того, как и в каком направлении должна быть изменена окружающая среда для правильного развития личности. Это особенно важно для личности, находящейся



в периоде роста и формирования, что служит особо важным предметом «педагогической рефлексологии»<sup>1)</sup>.

10. Движение общественной жизни нельзя представить себе без борьбы классов и производственно-профессиональных групп, а всякая борьба предполагает определенные раздражители и определенные же реакции или рефлексы на эти раздражители, в данном случае классовые или профессионально-производственные рефлексы.

Поэтому к общественной или социальной жизни, как и ко всякой коллективной деятельности в процессе ее анализа применимы в полной мере методы рефлексологии, рассматривающей всякое общественное движение, выявляющееся в классовой борьбе, как социальный рефлекс того или иного рода собирательной или объединенной (коллективной) личности (ориентировочный, подготавливающий, наступательный, оборонительный, раздражительный и пр.) на определенные внешние воздействия социального или иного порядка. Эти рефлексы подлежат в той или иной мере в связи с теми или иными условиями стимулированию, торможению, растормаживанию, дифференцированию, избирательному обобщению, замещению (переключению) и другим изучаемым рефлексологии процессам. Равным образом, установка и сосредоточение общества на том или другом объекте, как раздражитель, понимаемое в своей основе, как доминантный процесс, должно быть принято в особое внимание при изучении общественных движений.

<sup>1)</sup> См. В. Бехтерев. Воспитание в младенческом возрасте, СПб. Имп. П.-Н. института. Воспитание в возрасте раннего детства, СПб. Имп. П.-Н. института. О социально-групповом воспитании и др. Дерново-Ярославско-Пед. институт. Педагогическая рефлексология.

## Дарвинизм, ламаркизм и неodarвинизм.

Ф. Дучинский.

### I.

Современное состояние эволюционной теории характеризуется сильно выраженной дифференциацией основных направлений и течений эволюционной мысли. Только в 70-х и 80-х годах прошлого столетия дарвинизм, преодолевший сопротивление старых воззрений, являлся общепризнанной философией биологии, основные принципы которой не вызвали споров и сомнений. Но уже начиная с конца 80-х годов, ясно обрисовываются новые направления, новые школы в области эволюционного учения. С одной стороны, оформилась школа неodarвинистов, отрицавшая передачу по наследству приобретенных признаков, последовательно проводившая принцип естественного отбора для объяснения всех биологических явлений и провозгласившая устами своего главы Авг. Вейсмана всемогущество естественного отбора; с другой стороны, в противовес механистическому истолкованию процесса эволюции дарвинистами, выкристаллизовались воззрения неоламаркистов преимущественно психовиталистического толка, считавших психические силы основным фактором эволюции. В дальнейшем ходе развития эволюционной теории основные школы дробятся на ряд отдельных, идущих по самостоятельным руслам, течений; возникают новые направления, специально и углубленно экспериментальным путем разрабатывающие отдельные проблемы, выдвигающие ту или другую сторону теории эволюции на первый план и претендующие заменить систему эволюционных воззрений. Теория мутаций рассматривает видообразование с точки зрения скачкообразного процесса органического развития; теория ортогенеза толкует эволюцию, как идущую по строго определенному направлению и по известным законам; теория Лотки говорит об эволюции в результате скрещивания при постоянстве видов, менделизм анализирует законы наследственности, номогенез видит в эволюции развитие на основе закономерностей и т. д. Чем дальше, тем больше растет число отдельных теорий, различным образом истолковывающих эволюционный процесс. Только немногие положения эволюционной теории не вызывают споров и разногласий среди сторонников разных направлений, являются общепризнанными. Вокруг остальных вопросов, выясняющих ход, пути и факторы процесса эволюции, продолжают горячие споры. Для объяснения их выдвигаются различные, часто противоположные воззрения.

Основная причина такого состояния эволюционной теории заключается, несомненно, в чрезвычайной сложности и трудности подлежащих выяснению проблем и в недостаточности применяющихся для их решения методов.

Несмотря на существующий хаос воззрений в области основных положений эволюционной теории, обычно различают два основных потока, два центральных направления. Такими основными направлениями обыкновенно считают неодарвинизм и неоламаркизм. Остальные теории стремятся сгруппировать вокруг одного или другого направления. В представителях различных теорий видят или сторонников неодарвинизма или приверженцев неоламаркизма. Часто получается впечатление, что неодарвинизм заменил собой дарвинизм и неоламаркизм вытеснил ламаркизм. Кажется, что ламаркизм и дарвинизм породили новые направления и ушли в прошлое. Они сошли с научной сцены, на смену им явились основанные на новых достижениях науки теории. Они представляют в настоящее время только исторический интерес. Любопытно, что даже там, где пытаются говорить о дарвинизме, в действительности производят подмену и говорят о неодарвинизме, как будто последний поглотил целостную теорию Дарвина и является только продолжением и развитием дарвинизма.

В действительности же, несмотря на то, что прошло более полувека со времени выхода «Происхождения видов» Дарвина и более столетия с момента появления «Философии зоологии» Ламарка, основные идеи этих двух великих произведений продолжают жить и находить последователей среди современных ученых. Ламаркизм продолжает до настоящего времени питать своим содержанием две главные ветви неоламаркизма — механистическую и психо-виталистическую, из которых первая основывается на материалистических, а вторая — на метафизических идеях учения Ламарка. Неодарвинизм же только производный продукт дарвинизма, утрированно выдвигнувший принцип естественного отбора в качестве всеобъемлющего фактора эволюции, поместивший его в основу объяснения происхождения всех приспосабливательных изменений у организмов.

Но кроме неоламаркизма и неодарвинизма существуют и отстаивают основные положения учения Ламарка и Дарвина ламаркизм и дарвинизм. Если еще относительно учения Ламарка в его целом можно говорить, как о чем-то превзойденном, отшедшем в область истории, то этого ни в коем случае нельзя сказать относительно дарвинизма, который, несмотря на многократно произнесенные надмогильные речи, продолжает оставаться единственной целостной доктриной, наиболее удовлетворительно объясняющей массу разнородных фактов эволюции.

Не нужно, конечно, думать, что дарвинизм застыл в своем первоначальном издании, превратился в своего рода догму, которую исповедует небольшая группа ничему не научившихся фанатиков. Сторонники дарвинизма сознают хорошо, что учение Дарвина не является конечным выводом науки, ее последнее слово. Дарвинисты, как последовательные эволюционисты, меньше всего догматики. «Науке, в особенности эволюционной теории, — как правильно говорит Берг, — чужда догматика». Дарвинизм в своем первоначальном виде не охватывал всех проблем

эволюционной теории, некоторых вопросов он сознательно не касался, другие он решал неудовлетворительно. Прошедшие полстолетия создали новые области экспериментального исследования, значительно видоизменили и углубили наши знания в отдельных специальных научных областях, выдвинули новые проблемы, указали новые методы их решения. Дарвинизм, как и всякая другая научная теория, находится в процессе эволюции. Он впитывает в себя все новые проверенные достижения науки, синтетически претворяет их в свои составные элементы, он расширяет и лучше обосновывает свои основные принципы. На основе новых научных приобретений он сохраняет значение целостной широкой теории, охватывающей большое число явлений, лучше других объясняющей процесс эволюции. Не случайными являются заявления таких крупных ученых, как Дольдшмидт, Баур и др., о том, что «многие новейшие открытия опять ясно ведут назад к Дарвину» и что наука видит «в теории отбора, которая стоит теперь более прочно, чем когда-либо, во всяком случае пока единственную серьезную попытку объяснить эволюцию»<sup>1)</sup>.

## II.

После приведенных замечаний общего характера перейду непосредственно к рассмотрению интересующего меня вопроса — вопроса о взаимоотношениях дарвинизма и ламаркизма и вопроса о том, как преломляются в свете дарвинизма новейшие споры вокруг проблемы наследования приобретенных признаков и отщипание такового наследования неодарвинистами.

В настоящее время ламаркизм часто противопоставляют дарвинизму. Нередко считают, что идеи Ламарка противоположны идеям Дарвина, что одно учение исключает другое. Делая при открытии памятника Ламарку в Париже такими словами характеризовали существующие взаимоотношения между ними: «Из этих двух людей (Ламарка и Дарвина) сделали два термина какой-то антитезы. Стоят или за того, или за другого. Высказаться за первого — значит объявить себя против второго». Вопрос ставится так: или ламаркизм, или дарвинизм. Можно быть или ламаркистом, или дарвинистом. Говорят, что антагонистичностью принципов объясняется та борьба, которая продолжается до настоящего времени между дарвинистами и ламаркистами. Примирить две противоположные теории нельзя.

Посмотрим, существуют ли объективные основания для такого резкого противопоставления ламаркизма дарвинизму. Для этой цели проанализируем и сопоставим основные положения учения Ламарка и учения Дарвина.

Учение Ламарка не является целостным, единым; оно проникнуто двойственностью и грешит эклектизмом. Рядом с механистическими принципами оно содержит психо-виталистические идеи. С одной стороны, ламаркизм признает прямое или косвенное действие внешней среды в качестве видоизменяющего организмы фактора; с другой же стороны, он выдвигает автогенетический закон, ведущий организмы к усложнению, к усовер-

<sup>1)</sup> E. Baur, Einführung in die experimentelle Vererbungslehre, 5/6 Aufl S. 375.

шенствованию, и отводит известную роль в процессе эволюции таким «силам», как «хотение», «стремление», «воля».

Учение Ламарка, как и учение Дарвина, занято было, главным образом, разрешением основной проблемы эволюции: объяснением возникновения приспособлений у организмов, являющихся источником происхождения видов и ведущих к прогрессивному развитию жизни.

Для объяснения происхождения приспособлений Ламарк выдвигал следующие факторы. Растения изменяются прямо, непосредственно под влиянием изменяющихся внешних условий (климата, почвы и др.). Животные же изменяются косвенно, вследствие изменения жизненных условий. Под влиянием изменившихся условий среды и появления новых потребностей у животных происходит упражнение одних органов или неупотребление других. Следствием упражнения или неупотребления органов является их видоизменение (усиление или ослабление). В этом основном пункте учения Ламарка сказывается его дуализм: один принцип оно выдвигает для объяснения эволюции растений, другие — для понимания эволюции животных. Кроме того, двойственно учение Ламарка и в том отношении, что механистическими принципами оно объясняет видоизменение существующих у животных органов и психо-виталистическими — появление новых. По учению Ламарка, путем упражнения или неупотребления можно усилить или ослабить уже имеющийся орган, но нельзя таким способом вызвать совершенно новый орган. Новые органы создаются под влиянием внутреннего стремления удовлетворить появившиеся у организмов новые потребности. Каждая потребность вызывает средство для ее удовлетворения.

Признавая принцип упражнения или неупражнения первым основным положением своего учения, другим таким положением Ламарк считал передачу по наследству результатов упражнения или неупотребления.

Поскольку Ламарк ставил эволюцию органов в прямую или косвенную причинную зависимость от изменяющихся условий окружающей среды, постольку ламаркизм, несмотря на виталистические уклоны, представляется несомненно материалистическим учением. Ламарк не раз повторяет в своем произведении особые законы, противоположные тем, которые управляют изменением мертвых тел». Если мы вспомним состояние биологической дисциплины и умонастроение ученых времени Ламарка, то можно только удивляться, насколько мысль его ушла вперед, насколько он опередил свое время, что и сказалось роковым образом на судьбе его учения.

Отбросим психо-виталистическую сторону учения Ламарка, возьмем только научно-ценные его положения (прямое или косвенное видоизменяющее влияние внешней среды, влияние упражнения и неупражнения и наследственность приобретенных качеств) и сопоставим их с положениями учения Дарвина.

Некоторые дарвинисты видят главное различие между дарвинизмом и ламаркизмом в том, что в то время как учение Ламарка по их мнению, признает появление приспособительных изменений у организмов под прямым влиянием внешней среды, при чем все или почти все организмы изменяются одинаково, дарвинизм

считает, что приспособления возникают под влиянием среды косвенно в результате действия естественного отбора. Из массы организмов при изменившихся условиях оказываются приспособленными и способными выжить некоторые, большинство же их погибает. Изменчивость организмов Дарвин признает за нечто данное, причины явления изменчивости остались вне его поля зрения.

При ближайшем анализе нетрудно убедиться, что различие взглядов Дарвина и Ламарка в данном случае только видимое, количественное, а не качественное, так сказать, порядка. И учение Ламарка не исключало возможных случаев, когда не все организмы окажутся целесообразно приспособленными к изменившимся условиям.

Если мы обратимся к произведениям Дарвина, мы найдем многократные его указания на прямое действие внешних условий, как на причину изменчивости. Сделаем несколько ссылок. «Изменчивость всех родов бывает прямо или косвенно вызвана изменением условий жизни»<sup>1)</sup>. «Но не подлежит сомнению, что целый ряд неглубоких изменений возникает таким путем, например, рост в зависимости от количества пищи, окраска — от ее качества, толщина кожи и волосистость от климата и т. д.»<sup>2)</sup>. Под конец жизни Дарвин отводил внешним условиям все большую роль. В письме к М. Вагнеру в 1876 г. он пишет: «По моему мнению, я сделал одну большую ошибку в том, что не признал достаточного влияния прямого воздействия окружающего, т. е. климата, пищи и проч. независимо от естественного отбора». Совпадение во взглядах Ламарка и Дарвина в этом пункте очень большое.

Сходство не ограничивается признанием дарвинизмом зависимости организма от среды, оно идет дальше. Ламарк считал, что все или почти все организмы изменяются одинаково под влиянием изменения внешних условий. И Дарвин различал, кроме неопределенной, более распространенной изменчивости, определенную изменчивость, когда та или другая группа организмов изменяется в одинаковом направлении под влиянием длительного воздействия, продолжавшегося в течение длинного ряда поколений, одних и тех же внешних условий. «Если бы те же причины действовали одинаковым образом, в течение длинного ряда поколений, на значительное число недельных, то все они, вероятно, изменились бы одинаковым образом»<sup>3)</sup>. «Перемена условий иногда, или даже часто, определенным образом влияет на организацию, так что все или почти все особи, подвергающиеся перемене, изменяются одинаково»<sup>4)</sup>. Различие между взглядами Дарвина и Ламарка на видоизменяющее прямое влияние внешних условий заключается только в том, что Дарвин отводил значительно большую роль неопределенной индивидуальной изменчивости, идущей в разных направлениях и вызываемой неопределенным влиянием внешних условий на каждый индивид. Ламарк же не

<sup>1)</sup> Ч. Дарвин, Изменчивость животных и растений в домашнем состоянии, изд. Лепковского, стр. 489.

<sup>2)</sup> Ч. Дарвин, Происхождение видов, изд. Поповой, стр. 13.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 13.

<sup>4)</sup> Ч. Дарвин, Изменчивость животных и растений в домашнем состоянии, стр. 559.

придавал должного значения различной, в разных направлениях выраженной индивидуальной изменчивости, которая зависит от разнообразного сложного влияния всей суммы внешних условий. Не следует, конечно, забывать, что Дарвин придавал большое значение и природе самого организма. Характер многих изменений определяется не только внешней средой, но и природой организма.

Дарвин стоял на точке зрения признания двух основных принципов Ламарка: упражнения-неупражнения органов и наследования приобретенных признаков. Он отводил им значительную роль в процессе эволюции. Опять-таки сделаем цитату, которая лучше всего подтвердит высказанное положение. Дарвин говорит: «Мне кажется, невозможно сомневаться в том, что упражнения нашими домашними животными некоторых их органов увеличивало размеры этих последних, а неупражнение, наоборот, их уменьшало, а равно и в том, что подобные изменения передаются по наследству»<sup>1)</sup>. И дальше Дарвин приводит многочисленные примеры влияния неупражнения и упражнения органов (бескрылые птицы, слепые животные и др.). На 14 стр. «Происхождения видов» он приводит примеры из мира домашних животных: уменьшение крыльев домашней утки, увеличение вымени коров и коз, повисшие уши у многих животных. Дарвина признавал не только передачу по наследству признаков в результате упражнения-неупражнения органов, но и наследование, как определенных изменений, наступающих одновременно у всех организмов данного вида под воздействием одинаковых внешних условий, так и неопределенных изменений, колеблющихся в разной степени и в разные стороны, происходящих от невьясненных причин у отдельных организмов. Необходимым условием для такой наследственной передачи приобретенных изменений под влиянием внешних факторов Дарвин признавал однообразное длительное, «упорное» действие вызвавших их причин, продолжавшееся в течение длинного ряда поколений.

Несмотря на первоначальное отрицательное отношение Дарвина к произведению Ламарка, несмотря на то, что в письме к Лайеллю он его так характеризовал: «Сочинения Ламарка показали мне чрезвычайно бессодержательными; я в них не нашел ни одного факта, ни одной идеи»<sup>2)</sup>, он в 6-м издании своей книги «Происхождение видов» отдал видное место принципам Ламарка.

Дарвинизм включает в свою систему, как составные элементы, основные положения учения Ламарка. Один ламаркизм бессилён объяснить с точки зрения своих принципов целый ряд биологических явлений. Он не в состоянии объяснить образование таких пассивных приспособлений, как явление покровительственной окраски, мимикрии, как появление колючих игл у ежа, дикобраза, длинных волос на хвосте муравьеда и т. д. Путем упражнения-неупражнения можно видоизменить существующий уже и активно работающий орган, но нельзя вызвать указанные явления.

<sup>1)</sup> Ч. Дарвин, Происхождение видов, стр. 88.

<sup>2)</sup> Ле-Дантек, Ламаркизм и дарвинизм, стр. 70.

Дарвинизм же для объяснения самых сложных явлений приспособительных изменений привлекает принцип естественного отбора. Под влиянием действия борьбы за существование и естественного отбора происходит последовательное накопление многочисленных индивидуальных изменений отдельных признаков особей, ведущее к образованию у них различных приспособлений, к их дивергенции и происхождению новых видов. Но, отводя естественному отбору основную роль в процессе эволюции, Дарвин определенно ограничивал его роль действием других факторов. Он подчеркивал: «я убежден, что естественный отбор был главным, но не исключительным средством, вызвавшим изменения»<sup>1)</sup>. В данном случае разумеются «наследственные последствия упражнения и неупражнения органов» и изменение под непосредственным действием внешних условий. Хотя под дарвинизмом обычно разумеют теорию естественного отбора, но не следует забывать, что он шире учения об естественном отборе, он охватывает не только основную, могущественную, но не всемогущую, не единственный и не исключительный фактор вторичного порядка—естественный отбор, который ровно регулирует процесс эволюции на основе появившихся уже независимо от него изменений, но и включает факторы первичного порядка—принципы Ламарка. Ламарковские принципы не только не исключают и не противоречат принципу естественного отбора, но получают в нем свое завершение. И естественный отбор может проявить свое действие только при наличии первичных факторов (изменение организмов под влиянием внешней среды и упражнения). Естественный отбор «оперирует» с теми изменениями, которые доставляют ему упражнение органов и влияние внешней среды. Естественный отбор подхватывает, накапливает, усиливает все те полезные изменения, которые доставляют первичные факторы. Под влиянием упражнения усиливаются, положим, крылья у хищных птиц. В результате борьбы между птицами за одну и ту же пищу происходит естественный отбор и выживание птиц с более сильно развитыми крыльями.

Таким образом, синтетическое сочетание в дарвинизме основных идей Ламарка (влияние внешней среды и упражнения-неупражнения органов, наследование приобретенных признаков) и принципа отбора Дарвина исключает всякую возможность противопоставлять друг другу ламаркизм и дарвинизм. Ламаркизм без принципа естественного отбора является совершенно недостаточной теорией для истолкования эволюционного развития. Только в дарвинизме, претворившем в себя новейшие достижения биологии, гармонически слиты в целостном единстве основные движущие факторы органической эволюции.

### III.

Не один только Дарвин стоял на синтетической точке зрения, примиряющей идеи Ламарка с учением об естественном отборе, но таковы же были воззрения и других дарвинистов. В первую голову следует назвать одного из наиболее крупных дарвинистов—Э. Геккеля, которому принадлежит заслуга извле-

<sup>1)</sup> Дарвин, Происхождение видов, стр. 321.

чения из забвения учения Ламарка. Геккель считает Ламарка истинным основателем эволюционной теории, ставит его рядом с Дарвином и монистически объединяет основные положения учения Ламарка и учения Дарвина. Геккель считает, что «Ламарк совершенно правильно понимал взаимодействие обеих органических сил, приспособления и наследственности. Ему недоставало только крайне важного принципа «естественного подбора в борьбе за существование», который спустя 50 лет был установлен Дарвином»<sup>1)</sup>. Делу защиты и обоснования трех указанных положений Геккель посвятил всю свою жизнь. Любопытно, что Дарвин считал Геккеля наиболее последовательным своим сторонником, некоторые же биологи называли его ламаркистом. Филипченко называет его представителем «золотой середины», поскольку он придавал одинаковое значение и принципам Ламарка и принципам Дарвина.

От Геккеля легко перебросить мостик и перейти к воззрениям таких «ламаркистов», как Спенсер и Ле-Дантек, которые не стали исключительно только на почве теории Ламарка, но в своих воззрениях отводили видное, но только второстепенное место дарвинской теории естественного отбора, выдвигая на первый план факторы Ламарка.

Спенсер в известном его споре с Вейсманом не отказывается от признания за естественным отбором значения в эволюции, он только ограничивает его роль, считает его второстепенным фактором, так как многие приспособления у организмов, по его мнению, нельзя объяснить с точки зрения действия естественного отбора. Если по отношению к пройденным высшими организмами низших стадий эволюции отбор является «почти единственным фактором», то у высших животных первую роль играет влияние среды и упражнение органов, естественный отбор играет вторичную роль. Мы не в состоянии, по мнению Спенсера, объяснить принципами Дарвина такие явления, как уменьшение челюсти и зубов у культурных рас по сравнению с дикими племенами, различно развитое чувство осязания на отдельных участках поверхности человеческого тела и т. д. Став же на точке зрения факторов Ламарка, эти явления находят достаточно удовлетворительное объяснение.

На такой же «примиренческой» позиции стоит другой видный неоламаркист Ле-Дантек. Для понимания превращения видов он привлекает и положения учения Ламарка, и учение о естественном отборе. Под влиянием изменения внешней среды у жираффы происходит удлинение шеи. Благодаря же действию естественного отбора выживают только особи с наиболее удлиненной шеей, как более приспособленные к условиям существования. Он считает, что спор между неоламаркистами и неоламаркистами «не имеет *raison d'être*, что та и другая школа очень часто близка к истине, и что их главный недостаток — излишняя исключительность»<sup>2)</sup>. Последнее замечание в еще большей мере применимо к ламаркизму и дарвинизму.

И Спенсер, и Ле-Дантек, и другие ламаркисты, несмотря на те ограничения, с которыми они принимают дарвинизм,

<sup>1)</sup> Геккель, Естественн. история миротворения, ч. 1, стр. 87.

<sup>2)</sup> Ле-Дантек, Ламаркизм и дарвинизм, стр. 9.

столько недалеко уклонились от него, что Филипченко вправе сказать, что «Спенсер, а за ним и все неоламаркисты представляют из себя наиболее левое и тем самым наиболее оригинальное крыло дарвинизма»<sup>1)</sup>.

Нужно ли говорить, что такие последовательные дарвинисты, как Тимирязев, Романес, стоят всецело на почве признания целостного синтетического учения Дарвина, а не являются сторонниками только одного главного его принципа — естественного отбора.

Наиболее крупным современным представителем дарвинизма, как известно, является Л. Плате, преемник Геккеля в Иенском университете. Его книга «Selektionsprinzip und Probleme der Artbildung» по праву может считаться наиболее крупным, классическим произведением новейшей дарвинской литературы. Он настолько в своей книге определенно стоит на синтетической точке зрения, признающей рядом с естественным отбором и действие ламарковских принципов, что в то время, как Франес считает книгу Плате величественной апологией теории отбора, единственной книгой, которая во всю широту развертывает защиту теории отбора, Циглер видит в Плате сторонника ламаркизма. На правильной позиции стоят, разумеется, те авторы, которые, как Ламперт, не упускают из виду обе стороны взглядов Плате<sup>2)</sup>. Слабую сторону ламаркизма Плате видит в том, что не все многообразие форм органов можно объяснить упражнением и физико-химическим воздействием внешнего мира. Таковы пассивные приспособления, некоторые активные приспособления, сложные приспособления активных органов (органа зрения, слуха и др.). С другой стороны, Плате ограничивает значение естественного отбора, отводя ему подчиненную роль, как фактора, ускоряющего появление активных приспособлений, которые возникают вследствие влияния упражнения или вследствие воздействия физико-химических условий среды. Дарвинизм не может отказаться от принципов Ламарка (употребление-неупотребление, влияние измененных условий среды), так как они позволяют понять постепенное увеличение незначительных уклонений от того размера, когда они оказываются не безразличными для отбора. По мнению Плате, проблему происхождения видов нельзя обсуждать односторонне: или исключительно с точки зрения учения Ламарка, или с точки зрения теории Дарвина. Только соединение принципов ламаркизма и дарвинизма может разрешить вопрос. Он выражает уверенность, что исследования ближайших десятилетий заставят вернуться к правильному учению Дарвина и побудят отказаться от односторонних взглядов неоламаркизма и неоламаркизма. «Дарвинизм и ламаркизм вместе взятые дают удовлетворительное объяснение происхождению видов, включая и возникновение приспособлений, чего каждая теория в отдельности не в состоянии сделать»<sup>3)</sup>. Последнюю фразу Плате следует понимать в том смысле, что Дарвин не в полной мере оценил значение таких факторов, как влияние внешней среды, упражнения органов и наследование приобре-

<sup>1)</sup> Филипченко, Эволюционная идея в биологии, стр. 112.

<sup>2)</sup> Lampert, Die Abstammungslehre, S. 178.

<sup>3)</sup> Plate, Selektionsprinzip, S. 603.

тенных признаков, которые составляют основную сущность учения Ламарка. Но, как выше я пытался показать, основные положения ламаркизма содержатся в дарвинизме, они входят как составной элемент в целостное всеобъемлющее учение Дарвина. Только Дарвин внимание свое сосредоточил не на идеях Ламарка, обстоятельно развитых последним, а на теории естественного отбора, которая получила настолько обстоятельную разработку, что многие и называют дарвинизм теорией естественного отбора.

Для того, чтобы показать, как не следует сопоставлять идеи Ламарка и Дарвина, остановимся еще на чрезвычайно неудачной попытке, сравнения основных положений ламаркизма и дарвинизма, произведенной акад. Комаровым в недавно вышедшей книжке его «Ламарк». Приведем те два параллельных столбца, в которых Комаров сравнивает «основные постулаты» теории Ламарка и Дарвина:

Дарвин.  
1859.

Жизнь возникла первоначально, вдохнутая творцом в одну или немногие формы (монофилия).

Исходным пунктом эволюции является природная индивидуальная изменчивость.

Среда (голод и пр.) вызывает массовую гибель организмов с переживанием наиболее приспособленных.

Происходит естественный отбор.

Естественный отбор, подкрепляемый половым отбором, дает в нисходящих поколениях прогрессивную и прогрессирующую изменчивость.

Нарастающая изменчивость приводит к расхождению признаков и образованию новых видов.

Относительно первого пункта параллельного ряда следует сказать, что Дарвин специально не занимался вопросом о происхождении жизни, но в высказанном им мелком мнении по этому вопросу сказались уступки традиционному «духу времени». Таким компромиссным путем он думал примирить с своим учением тех лиц, которые готовы были признать основные законы его учения, но не могли согласиться на последовательно-материалистическое решение двух вопросов: происхождение жизни и происхождение человека.

Что касается остальных параллельных рядов, то достаточно бегло проанализировать их, чтобы увидеть всю случайность и частое несовпадение сравниваемых положений. «Исходным пунктом эволюции» у Дарвина, по мнению Комарова, является «природная» изменчивость. Неясность вносится уже словом «при-

<sup>1)</sup> В. Л. Комаров, Ламарк, стр. 135.

рожденная». Дарвин обычно различал неопределенную, флюктуирующую индивидуальную изменчивость, происходящую от мало выясненных причин, и определенную изменчивость, вызываемую у целой группы организмов влиянием факторов внешней среды. Таким образом, можно было бы говорить и относительно учения Дарвина, а не только Ламарка, что среда является первичным фактором, вызывающим изменения у организмов. По отношению же к учению Дарвина Комаров отводит среде роль причины, вызывающей гибель организмов. Против следующих двух положений в учении Ламарка, говорящих о влиянии и значении упражнения органов, следовало бы поставить аналогичный фактор, признаваемый и Дарвином. У Комарова же там фигурирует борьба за существование и естественный отбор. В следующем пункте учения Ламарка говорится о наследовании измененных особенностей; с ним нужно было сопоставить соответствующее положение учения Дарвина, а не прогрессивную и какую-то «прогрессирующую» изменчивость. Положения, не совпадающие в обоих учениях, как борьба за существование, естественный отбор, расхождение признаков в учении Дарвина, должны были бы быть поставлены особо без соответствующих параллельных рядов с правой стороны. Итак, мы видим, что некоторые положения учения Дарвина Комаровым совершенно не приведены, сопоставляются же положения совершенно несравнимые. Указаны только линии расхождения, найденные противоположные, противоречащие друг другу идеи, а не общие, тождественные моменты. В результате приведенная сравнительная таблица не только не уясняет пункты совпадения и черты расхождения в учениях Дарвина и Ламарка, но вносит путаницу в понятия и производит смешение представлений. После сказанного не приходится удивляться, что Комаров приходит к такому выводу: «причинную связь явлений в процессе эволюции мира живых существ он (Ламарк) понимал глубже, чем Дарвин, и даже если он не прав, то самая постановка вопроса у него имеет для современной науки больше значения, чем та же постановка у Дарвина»<sup>1)</sup>. Смысл приведенных слов можно объяснить только недостаточно глубоким пониманием Комаровым сущности учения Дарвина.

#### IV.

В предыдущем изложении мы выяснили, что принципы Ламарка входят в качестве составного элемента в дарвинизм. Но в этом-то широком охватывании учением Дарвина каузально-механистических принципов ламаркизма многие биологи и видят наиболее слабую его сторону. Они готовы еще признать из целостной системы взглядов дарвинизма его теорию естественного отбора и возвести ее в единственный, исключительный фактор эволюции, как делают это неodarвинисты, но согласиться с ламарковскими принципами—наследованием приобретенных в результате влияния среды и упражнения признаков—они не могут. Признать наследственную передачу приобретенных признаков—значит сойти с научной почвы современного естествознания, отказаться от экспериментальных достижений.

<sup>1)</sup> Комаров, Ламарк, стр. 134.

генетики. Центральный вопрос горячих и длительных споров между неоламаркистами и неодарвинистами — вопрос о наследовании приобретенных признаков—решен, по их мнению, бесповоротно и окончательно в пользу неодарвинизма. Ни одного неопровержимо доказанного случая передачи по наследству приобретенных особенностей не существует. Все приводимые ламаркистами экспериментальные факты для подтверждения их основного положения при тщательной проверке получают иное толкование или дают другие результаты. А раз разрушается и выпадает один из двух основных фактов (изменчивость и наследственность), на которых покоится здание дарвинизма, то и все оно ниспровергается. Из всей дарвинистской концепции остается один только оправдавший себя принцип естественного отбора.

Поэтому положительное решение вопроса об унаследовании приобретенных особенностей представляет для эволюционного учения тот логический и теоретический постулат, без которого многие группы фактов не могут найти достаточного объяснения. Для целых больших категорий явлений в случае принятия неодарвинистской точки зрения придется давать совершенно иные объяснения. Некоторые даже считают, что наследование приобретенных особенностей является необходимым условием эволюционного развития, без такого наследования эволюция не может совершаться. Не только Спенсер говорил: «Или наследственная передача приобретенных свойств существует, или эволюции вовсе нет, но и крупный современный биолог Оскар Гертвиг держится подобного же взгляда: «Отрицать наследование приобретенных особенностей означает не меньше, чем объявить достоянием видов»<sup>1)</sup>. Мало того. С решением вопроса о наследовании приобретенных признаков в отрицательном смысле из-под эволюционной теории выпадает материалистическая основа, так как эволюция тогда превращается в автогенетический процесс, протекающий независимо от влияния изменяющейся физико-химической среды. Кроме того, то или другое решение вопроса найдет свое отражение и в области социологических теорий. В корне должно измениться то взаимоотношение между дарвинизмом и марксизмом, которое до сих пор признавалось существующим. Должны будут подвергнуться переоценке и самые основы марксизма.

Понятно, что проблема наследования приобретенных признаков превращается в центральную основную проблему, имеющую чрезвычайно важное значение не для одной только эволюционной теории. Этим обстоятельством объясняется та страстность, с которой обсуждается вопрос. Несмотря на это, все же удивляет предвзятость и субъективность суждений и приговоров, высказываемых в спорах. Если ламаркисты часто толкуют в свою пользу всякий недостаточно проверенный случай наследования приобретенных свойств и тем самым дают в руки своих противников легкую возможность опровергнуть подобного рода сомнительные примеры, то неодарвинисты заранее заподозривают и ставят под сомнение не только все приводимые случаи, но и самую возможность опытной аргументации учения о наследовании приобретенных признаков.

<sup>1)</sup> O. Hertwig, Das Werden der Organismen, Dr. Aufl., S. 514.

В настоящее время многие биологи занимают по отношению к вопросу о наследственности приобретенных особенностей более или менее резко отрицательную позицию. Даже некоторые прежние сторонники наследования их (Гольдшмидт, О. Гертвиг) становятся более сдержанными в своих взглядах. Конгресс немецких генетиков и заседания обществ по изучению наследственности высказываются против наследования приобретенных признаков. По словам Филипченко, почти все генетики «твердо уверены в том, что прежняя вера в наследственность приобретенных свойств—не более как обманчивый мираж, мелькавший в пустыне прежнего незнания»<sup>1)</sup>. Казалось бы, что в противоположном лагере, после таких решительных и самоуверенных приговоров, должны были бы наблюдаться колебания и растерянность. Но ничего подобного мы не видим. Сторонники наследования приобретенных признаков и не думают сдавать своих позиций. Для примера я сошлюсь на наиболее крупного представителя последнего направления, много усилий потратившего на экспериментальные доказательства учения о наследовании приобретенных признаков, венского биолога Каммерера. В своей новой книжке «Neuvererbung oder Vererbung erworbener Eigenschaften» он подробно анализирует вопрос, защищает от нападок свои опытные данные, приводит длинную сводку опытных фактов за и против наследования приобретенных свойств и ни в малой степени не считает свою точку зрения поколебленной. Он настолько оригинально истолковывает причины существования противоположного господствующего направления, что я позволю сделать длинную выписку из его книги, тем более, что последняя мало известна у нас.

Каммерер ставит вопрос, каким путем могли прийти неодарвинисты «к такой односторонности, к такому застывшему догматизму», и ответ находит частью в истории развития науки о наследственности, частью же—в моментах политического характера.

«Вейсман, Мендель и основанные ими школы вначале оказали необходимую и благодетельную реакцию на то не критическое отношение, с которым принималась, как само собой разумеющаяся, наследственность приобретенных признаков... Однако постепенно реакция сама превращалась в «реакцию», т. е. в застой и регресс. Согласно колебаниям моды, от которых прогресс научного исследования так же мало свободен, как любая другая отрасль человеческой деятельности, ненаследование приобретенных признаков считается в настоящее время само собой разумеющимся, как раньше верное их наследование без всяких исключений.

«Косности нашего мышления, без сомнения, много больше соответствует ненаследование приобретенных признаков, чем противоположный взгляд...

Но еще в другом отношении современное модное течение должно быть названо «реакцией». Мировая война почти повсюду усилила национальное и расовое самосознание. Народному же самосознанию вера в наследование приобретенных признаков не

<sup>1)</sup> Морган и Филипченко, Наследуются ли приобретенные признаки, стр. 45.

приятна, так как она говорит, что наследование перешедших от предков расовых качеств не все составляет, что жизненные условия—страна и люди, которыми человек окружен, среди которых он растет,—властны над ним. Это могучее влияние простирается даже на особенности его рода и происхождения... В такое время, как наше, когда так настойчиво отменяют национальную и расовую точку зрения, когда культуре собственной расы содействуют за счет чужих культур вместо мирного их взаимодействия, не могли сочувственно отнестись к учению о наследовании приобретенных признаков.

С наследованием приобретенных качеств стоит или падает человеческий прогресс... Все прогрессивные мероприятия в семье и школе, частной и общественной жизни и др. получают глубокий смысл только тогда, если существует наследование приобретенных признаков: только тогда служат они не только мимолетному существованию личности, но и длительной жизни поколений. Поэтому ничего нет удивительного, что все, мыслящие реакционно относительно вопросов частной и общественной жизни, противятся допустить наследование лично где-либо и когда-либо приобретенных признаков.

Сознательно или бессознательно примкнули к обороне от разрушительной доктрины ученые, представители нынешних большей частью реакционных высших школ. Более или менее ясно понимание, что в борьбе против наследования приобретенных качеств речь идет о большем, чем о решении только теоретического вопроса наследственности; речь идет скорее о всем эволюционном учении, об учении о превращении видов и происхождении высших видов из низших, которое не может происходить без наследования приобретенных качеств,—такое понимание придает борьбе в ученом реакционном лагере необычную там страстность, мелочность и партийность.

Итак, «реакция против реакции» становится насойчиво не обходимой. Теперь необходимо противодействие против не критического отрицания со времени Вейсмана наследования приобретенных качеств так же, как раньше оно необходимо было против безоговорочного признания наследования всех приобретенных особенностей. И если не обманывают все признаки, то такая перемена уже происходит. Уже увеличиваются голоса, говорящие, что беспримерное развитие менделевских исследований скрецивания уперлось в мертвую точку, что менделизм и методы «точного учения о наследственности» (Йогансен), как и мутационная теория (Де-Фриз), отказываются объяснить явления эволюции и образования рас, видов и групп.

Уже увеличиваются снова исследования, которые имеют своим предметом наследование приобретенных признаков. Правда, они еще не решаются обозначить этим смелым именем произведенные положительные опыты. Они окутывают себя во всякие более или менее ученые непонятные словесные покровы. Но в один день эти покрывала спадают, и мы возвращаемся к положительным взглядам Ламарка, Гете и Дарвина»<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> P. Kammerer, Neuvererbung oder Vererbung erworbener Eigenschaften, Vorwort, S. II—XI.

Как видно из высказанных Каммерером положений, сторонники наследственности приобретенных признаков не только не думают сдавать своих позиций, но от обороны переходят к нападению и разоблачают те мотивы далеко не научного характера, которые побуждают многих сомнительных сторонников эволюционной теории и ее открытых противников примыкать к неодарвинистическому лагерю.

Итак, вокруг проблемы наследования приобретенных признаков борьба продолжается. Ни одна сторона не собирается сложить оружие и отказаться от своих воззрений. Неодарвинисты, самоуверенные в своей непогрешимости, авторитетно заявляют, на основании многочисленных опытов, что приобретенные особенности не наследуются и на всякого иначе думающего готовы смотреть с сожалением и с сознанием собственного научного превосходства, причисляя его к массе наивно-мыслящих обывателей. Ламаркисты-дарвинисты во главе с Каммерером не менее твердо убеждены опять-таки на основании опытных данных, что заблуждаются их противники. Вопрос продолжает оставаться спорным и нерешенным. Уже один факт существования противоположных направлений свидетельствует о том, что проблема чрезвычайно сложна и трудна и что ее трудно решить экспериментальным путем в ту или другую сторону.

#### V.

Попытаемся выяснить, в чем коренится причина разногласий, почему до настоящего времени, несмотря на все усилия, проблема продолжает оставаться нерешенной? Не заключается ли причина всех неудач опытного решения вопроса уже в самой постановке вопроса?

Обычно вопрос ставится так, как он выражен в словах Моргана: «Не существует измерений, которые доказывали бы, что у детей кузнецов руки более сильные или у детей футболистов ноги более длинные»<sup>1)</sup>. Раз приобретенные признаки наследуются, то родители должны передавать своим детям те особенности, которые они приобрели в течение их индивидуальной жизни. А так как точные измерения, если бы они были произведены, доказали бы несомненно, что ноги детей футболистов не стали длиннее и руки детей кузнецов—сильнее, то логически следует, что наследования приобретенных признаков не существует.

Таких фактов, говорящих в пользу ненаследования, очень много. Я сообщу результаты поставленного в моей домашней лаборатории незаконченного еще опыта для решения вопроса о наследовании приобретенных признаков. Объектом моих опытов является встречающийся у нас один вид мухи дрозифилы (*Drosophila Funebris*). Обычно этот вид дрозифилы откладывает свои яйца на различные питательные субстраты, содержащие крахмалистые вещества. Появившиеся из яиц личинки проходят в подходящих условиях довольно быстро свой цикл развития, превращаясь в куколок и мух. Я заключил мух в пробирки и попытался культивировать их на неподходящей для развития личинок питательной среде. Мухи чувствовали себя нормально и откладывали на субстрат яйца. Но питательная среда была

<sup>1)</sup> Морган и Филипченко, Наследуются ли приобретенные признаки, стр. 14.



настолько неблагоприятна для развития личинок, что <sup>99</sup>/<sub>100</sub> зародышей погибало уже в стадии яйца. Появление личинок замедлялось. Появившиеся личинки не питали ни малейшей склонности к необычной пище, инстинкт питания у них не пробуждался, они отворачивались от пищи. Только чрезвычайно медленно и постепенно некоторые из них начинали приспосабливаться к необычной пище под угрозой гибели. Процесс развития их замедлялся в 3—4 раза. Происходил двойкий процесс: изменение инстинкта питания и отбор. Большинство личинок (95%) в результате отбора погибало. Отбор выделял особей не с измененным уже заранее инстинктом, а только тех, которые обладали склонностью и способностью к такому изменению. Из всей массы появившихся личинок до стадии взрослого насекомого достигал только небольшой процент. Можно было бы думать, что следующее поколение личинок, происшедшее от испытанных суровый отбор и изменение инстинкта питания родительских особей, легче приспособится к необычной питательной среде. В моих опытах появилось уже пятое поколение, а процесс приспособления личинок протекает таким же трудным путем беспощадного истребления всех неприспособившихся, как и в первом поколении. Унаследования полученного на стадии личинки изменения инстинкта питания ни в малой степени не наблюдается. Приобретенные признаки не передаются—таков неизбежный логический вывод. Даже если ряд поколений подвергается однородному воздействию, то и тогда не происходит наследственных приспособительных изменений. Впечатление от данных опыта сильное и определенное.

Но имеются ли у нас достаточные основания для категорических широких выводов и заключений о ненаследовании приобретенных признаков? Думаю, что оснований для таких широких обобщений у нас нет. Мы можем только сказать, что особенности данных особей, подвергавшиеся изменению в течение нескольких поколений, не передаются по наследству, и только. Но даже и это мы не можем с уверенностью утверждать. Мы не уверены, что результаты были бы те же, если бы изменение испытывали не личинки, а мухи, продуцирующие яйца. Может быть, и другие условия опыта не были соблюдены.

## VI.

При решении вопроса о наследовании приобретенных признаков следует исходить, мне кажется, из следующих теоретических соображений. Теоретизирование в данном случае не будет являться беспочвенной спекуляцией, оно будет необходимой предпосылкой правильного ориентирования при учете результатов опыта.

Каждый организм представляет из себя необычайно богатый сложный комплекс признаков, в основе которых лежат заключенные в хромосомах материальные носители их—гены. Каждый организм—продукт длительной эволюции, продолжавшейся много миллионов лет. При решении экспериментальным путем вопросов наследственности не следует ни на один момент упускать из виду те геологические периоды времени, в течение которых протекал процесс видообразования. Эти же периоды времени



громадны. Геолог Павлов на основании своих исследований определил такими цифрами, уменьшенными им в три раза, продолжительность отдельных эр, в течение которых существовали организмы. Архейская эра тянулась в несколько раз больше, чем все последующие эры, вместе взятые. Определить продолжительность ее он отказывается. Палеозойская эра длилась не менее 700 милл. лет, мезозойская не менее 400 милл. лет и кайнозойская не имеет 40 милл. лет. Таким образом, с начала палеозойской эры до нашего времени прошло не менее 1,140 милл. лет. Но жизнь существовала и развивалась на земле в течение более продолжительного времени, так как простейшие организмы жили уже в архейскую эру. Такими же громадными периодами определяет и Лотце время существования организмов. Путем радиоактивных и других методов Лотце определяет начало кембрийского периода временем от 500 до 1,000 милл. лет. Но так как животный мир кембрийской системы содержит животных, стоящих высоко по своей организации, то «вполне понятно»,—говорит он,—что путь от впервые появившихся начатков жизни до этих высоко развитых животных в несколько раз длиннее пути, пройденного животными видами от кембрийского периода до настоящего времени. Но во сколько раз—этого никто не скажет. Быть может, и в три и в сто раз<sup>1)</sup>. Процесс эволюции протекал чрезвычайно медленно. В течение многих сотен миллионов лет происходило образование особенностей и признаков у отдельных видов организмов. Отдельные особенности формировались и фиксировались на протяжении миллионов поколений. Только под влиянием длительного воздействия на миллионы поколений чрезвычайно медленно изменяющейся окружающей среды совершалась эволюция организмов, происходило видоизменение их признаков. Нам известны животные формы, которые существуют в неизменном виде с древнейших времен. К ним относятся, например, роды плеченогих *Discina* и *Lingula*, представители которых существовали уже в кембрийский период. Они настолько оказались хорошо приспособленными к мало изменяющимся морским условиям, что все их признаки как бы застыли, отлились в неизменную форму.

В общем и целом изменение внешних условий существования организмов происходит настолько медленно, что для больших периодов времени окружающую организмы среду можно считать как бы постоянной величиной. Но если основные физико-химические условия существования организмов на протяжении целых столетий не меняются существенно, то, с другой стороны, мы знаем, что в течение каждого года наблюдаются резкие колебания внешних условий преимущественно сезонного характера (жара и холод, избыток и недостаток пищи, воды и др.). Каждый организм вынужден бывает приспособляться как к одним, так и к другим условиям: к неизменным на протяжении столетий основным условиям и к ежегодно повторяющимся резким сезонным и другим колебаниям природной среды. Отсюда двойное приспособление организма к условиям существования, двойные формы этого приспособления в виде изменчивости и наследственности.

<sup>1)</sup> Р. Лотце, Сколько лет земле, стр. 77.

Наследственность—это фактор длительного приспособления организма к относительно постоянным основным условиям жизни; наследственность—консервативная сила, сохраняющая основной тип организма. Гены, лежащие в хромосомах и определяющие признаки организма, не реагируют на кратковременные воздействия измененных жизненных условий. Они удерживают организм в равновесии и ограничивают модификационную изменчивость определенными узкими границами вокруг средней величины признака. В противоположность устойчивому генотипу, противодействующему временным колебаниям внешней среды, фенотип, сома беспрерывно изменяется, приспособляясь к меняющимся внешним условиям. Изменчивость организмов, вызываемая внешними условиями, так называемая модификационная изменчивость позволяет им менять свой облик, приспособляться к изменениям внешней среды. Условия окружающей среды более или менее резко меняются на протяжении года, отклоняясь от средней нормы и постоянно возвращаясь к ней. Каждый организм, находящийся в обычных природных условиях, является приспособленным и к норме и к отклонениям от нее путем наследственности и изменчивости.

Двойная приспособленность организмов к внешним условиям—результат борьбы за существование и естественного отбора. Только те организмы могли выжить, средняя величина признаков которых могла широко варьировать применительно к временно меняющимся условиям среды и которые могли вместе с тем удерживать, сохранять основной свой тип, приспособленный к обычным нормальным условиям. Другими словами, могли выжить в борьбе за существование только те организмы, у которых была хорошо выражена модификационная ненаследственная изменчивость и которые обладали устойчивой наследственной структурой, не поддающейся временным влияниям измененных условий среды. Без устойчивой наследственно организованной живой существа не могли бы так хорошо приспособляться к относительно постоянным нормальным условиям существования: без способности к модификационной изменчивости организмы не были бы в состоянии так хорошо приспособляться к временным колебаниям внешних условий. И в первом и во втором случае они должны были бы погибнуть. Но если бы каждое модификационное изменение, вызванное кратковременным воздействием измененных внешних условий, прочно закреплялось в хромосомах и становилось наследственным, то такой организм оказался бы менее всего приспособленным к существованию. У него оказалась бы накопленная масса таких наследственных особенностей, которые являлись бы ненужными и вредными при обычных средних условиях существования. Они не только не содействовали бы борьбе за существование, но делали бы организм совершенно неприспособленным и вели бы его к гибели. Поэтому временные влияния измененной среды вызывают, как общее правило, ненаследственные модификационные изменения, а не геновариации, изменение наследственного вещества. Когда исчезает воздействие необычных условий существования, организм (в следующем поколении) возвращается к норме, восстанавливается нарушенное равновесие его обычного типа.

## VII.

Когда пытаются опытным путем, искусственно изменяя внешние условия существования родителей, вызвать наследственное изменение признаков в первом и следующих поколениях (окраски у пятнистой саламандры в опытах Каммерера, окраска крыльев бабочек в опытах Фишера и Штандфусса), то можно заранее сказать, что эти опыты обречены на неудачу, что и подтвердилось по отношению к опытам Каммерера. Если же прямолинейные последователи учения о наследовании приобретенных признаков толкуют подобные случаи в положительном смысле, то это объясняется, вероятно, несоблюдением условий опыта. Уже a priori можно сказать, что все попытки вызвать наследственные изменения в результате кратковременного, продолжавшегося в течение одного или даже нескольких поколений, воздействия внешних факторов, должны оканчиваться неудачей. Но даже влияния, продолжавшиеся в течение пяти, как в моих опытах, или большего числа поколений, оказываются бессильными изменить генетическую природу организма. И если в опытах Пайна, культивировавшего мух в течение 50 и более поколений в полной темноте, мухи не утратили ни органа зрения, ни зрительной способности, то и этот результат не должен удивлять нас. Что значат 50 поколений, появившихся в течение каких-нибудь трех лет, по сравнению с теми многими миллионами лет, в продолжение которых существовали миллионы поколений мух с твердо наследственно фиксированными носителями органа зрения. Кроме того, мы не уверены, что в опытах Пайна свет ни разу при просмотре культур не оказывал раздражающего влияния на зрение мух и тем самым не аннулировал достигнутые результаты. Мы не знаем также, какие результаты получаются, если воздействие измененных условий будет продолжаться во много раз более длинные периоды. Мы чрезвычайно мало еще изучили процессы формообразования и обуславливающие их причины, чтобы иметь право делать какие-либо категорические обобщающие выводы. Если одни признаки являются менее стойкими к их изменению под влиянием внешних факторов, то другие могут, видимо, противостоять даже длительным воздействиям. Мы еще не выяснили опытным путем механизм появления мутаций, мы не смогли еще подчинить его нашей воле. Появление бескрылых или безглазых мутаций не противоречит развитым выше взглядам. «Мы люди,—однодневки» (слова Лотце), и мы готовы весь эволюционный процесс измерять с точки зрения своего кратковременного существования. И мы часто грешим, делая необоснованные скороспелые выводы.

## VIII.

Существуют ли какие-нибудь экспериментальные данные, которые хотя бы отчасти подтверждали развиваемую мной точку зрения? Некоторые опытные факты можно понять только в том случае, если будут приняты высказанные положения. Таковы явления так называемых длительных модификаций, когда измененные под влиянием внешних условий признаки сохраняются в течение нескольких поколений, но затем постепенно теряются

в связи с прекращением воздействия. Можно поставить, конечно, под сомнение с нашей точки зрения опыты Дюркена, так как они носили слишком краткосрочный характер. Дюркен ставил свои опыты над куколками бабочки капустницы. Он подвергал гусениц пред их окукливанием действию оранжевого света. Под влиянием последнего обычные черные пятна и крапинки на куколке становились слабо выраженными. Если действие оранжевого света распространялось и на второе поколение куколок, то влияние его усиливалось: черных крапин становилось еще меньше. Если же второе поколение воспитывалось при обычных условиях, то рисунок родительской формы повторялся в несколько ослабленной степени<sup>1)</sup>.

Более убедительными оказываются следующие явления. Полос постепенно приучил инфузорий-туфельек к жизни в воде с значительным содержанием мышьяковистой кислоты. Приученные к мышьяку инфузории продолжали размножаться в чистой воде в течение 7 месяцев, не теряя стойкости против мышьяка. Но в дальнейшем приобретенная стойкость к мышьяку начала постепенно понижаться и исчезла совершенно только через 11 месяцев, т. е. после появления массы поколений. Такой же характер носят опыты над туфельками для выяснения влияния высокой температуры. Изменения у инфузорий, полученные при воздействии высокой температуры в течение 7 или 10 месяцев при нормальных условиях быстро исчезали. Просуществовавшие при повышенной температуре один год сохраняли приобретенные особенности в течение 3 месяцев, а прожившие 13 месяцев—2½ года—более 6-ти месяцев. В последнем случае (2½ г.) приобретенные особенности были настолько стойкими, что сохранялись в течение долгого времени при простом делении и только после трех конъюгаций они были утеряны. Из этих примеров видно, что изменения оказываются тем более стойкими, чем более длительным воздействием измененных внешних условий они были вызваны. Происходила постепенная аккумуляция изменений признаков под длительным влиянием измененных факторов. Можно логически заключить, что если бы воздействие внешних факторов было более значительным, более интенсивным и длительным, простирающимся на длинный ряд поколений, то приобретенные признаки могли бы стать твердо зафиксированными в хромосомах, наследственными; длительная модификация могла бы стать наследственной.

Почти все генетики отрицают наследование приобретенных признаков, главным образом, на основании отрицательных результатов своих краткосрочных опытов. Противоположных взглядов держатся многие ученые, которым приходится исследовать эволюционные процессы, протекавшие на протяжении громадных периодов времени.

По мнению Филипченко, «ни один животновод при решении своих задач не будет обольщаться мыслью, что путем упражнения и неупражнения органов, надлежащего ухода и т. п. ему удастся создать наследственные качества у таких особей, которые были их лишены»<sup>2)</sup>. Таких невыполнимых задач зоотех-

<sup>1)</sup> В. Дюркен, Einführung in die Experimentalzoologie, S. 380—381.

<sup>2)</sup> Морган и Филипченко, Наследуются ли приобретенные признаки, стр. 52.

ники, конечно, не ставят. Скрещиванию (комбинации наследственных единиц) и отбору они отводят основную роль при выведении новых пород животных, но они не умаляют и всего важного значения в этом процессе внешних условий содержания животных. Они хорошо знают, что наследственные факторы могут в полной мере выявиться у животных только при наличии благоприятных «внешних условий (содержание, кормление, уход)». Мало того. Многие из них, изучая длительный великий опыт человечества по созданию пород домашних животных, длившийся более 10 тысяч лет, признают за внешними условиями более важное значение. Они признают передачу приобретенных признаков. Приведем мнение двух наших известных зоотехников. Богданов, автор «Происхождения домашних животных» и «Менделизма», в своей новейшей книжке «Краткий очерк происхождения крупного рогатого скота» пишет: «Современная зоотехника, т. е. учение о животноводстве, имеет большие основания допускать, что со временем необычные формы, получившиеся от переселения из одной местности в другую, могут уже и закрепляться, так или иначе, настолько, что не пропадают долготой и при переходе к прежним условиям существования». То же он утверждает относительно унаследования результатов голодания, продолжавшегося в течение ряда поколений.

В духе развиваемых в данной статье воззрений высказывается и Широких. Он видит выход из противоречия между передачей по наследству приобретенных признаков и несомненным наследственным значением влияния внешней среды в том, что «воздействие внешней среды недостаточно сильно, когда оно тянется какой-либо десяток тысячелетий. Но воздействие на животных внешней среды, когда они жили еще в диком состоянии, — воздействие, тянувшееся может быть 300—500 тысяч лет в периоде времени, соответствовавшем древнему каменному веку, и 50 тысячелетий, соответствовавших новому каменному веку, могло быть в конце концов, в такой степени закрепленным, что отразилось и на зародышевой плазме»<sup>1)</sup>.

Не случайно, конечно, что палеонтологи, считающиеся с громадными периодами времени при исследовании палеонтологического материала, признают все громадное значение в качестве видообразующего фактора взаимодействия между организмом и окружающей средой. Крупный американский палеонтолог Коп объясняет изменение в строении организмов действием физико-химических сил и употреблением или неупотреблением органов и признает передачу приобретенных механическим путем особенностей следующим поколениям. Взгляды Копы нашли сторонников среди других палеонтологов, и он явился основателем неодамаркизма<sup>2)</sup>.

Учение о наследовании приобретенных организмом изменений в результате упражнения или неупотребления органов или влияния внешней среды прекрасно объясняет массу разнородных сложных фактов эволюции, которые не поддаются объяснению только с точки зрения накопления мутационных изменений. Остаются на некоторых из них.

<sup>1)</sup> Широких, Введение к учению о породах, стр. 9.

<sup>2)</sup> Борисяк, Из истории палеонтологии, стр. 21.

На основании целого ряда последовательных палеонтологических находок установлено, что современная однопалая лошадь происходит от пятипалых предков. Как известно, у лошади имеется только один сильно развитой средний палец. От боковых (второго и четвертого) пальцев сохранились только рудиментарные косточки (так называемые грифельные косточки). Изменение коснулось в передней конечности и костей запястья и пясти. Локтевая кость редуцировалась, лучевая получила сильное развитие. Подобный же процесс увеличения одних костей и редуцирования и изменения других происходил и в задней конечности. Объяснить удовлетворительно весь этот сложный координированный процесс эволюции конечностей лошади можно только с точки зрения сформулированного Копом принципа кинетогенеза (изменения структуры органа под влиянием изменения функции).

Безглазость пещерных животных и бескрылость островных насекомых могли произойти и не вследствие их неупражнения, как полагает Морган, а мутационным путем. Но и в данном случае не все явления укладываются в рамки мутационных изменений. Живущие в темных пещерах животные совершенно слепы, обитающие же в местах, куда проникает слабый свет, имеют огромные блестящие глаза. Редукция органа зрения пещерных животных находится на различной стадии. У некоторых глаза сохранились в зачаточной форме, у некоторых ракообразных наступила полная атрофия глаз, но поддерживающие их столбики сохранились еще. У пещерного протей сохранились скрытые под кожей зачатки глаз. Но если с раннего возраста действовать на протей светом, то глаза восстанавливаются. У него особенность глаз не стала еще наследственной. Едва ли можно согласиться с выводом Ж. Леба, что в пещеры попали животные с наследственной тенденцией к дегенерации глаз, так как там для них были более благоприятные условия борьбы за существование. Нужно предположить невероятное стечение обстоятельств для того, чтобы стал возможным такой путь происхождения слепых пещерных животных. Последние были бы уничтожены раньше, чем они попали бы и приспособились к пещерным условиям.

Вся организация водных млекопитающих животных (ластоногих (тюлени, моржи, котики и др.) и китообразных (киты, дельфины), так же, как и водных жуков и клопов — хорошо приспособлена к водной среде. Водные млекопитающие животные обладают веретенообразным телом, конечности превращены в ласты с перепонками между пальцами. Но степень приспособления к водным условиям у разных животных различна. У котиков имеются небольшие уши, они могут подгибать конечности под туловище, детеныши они рождаются на берегу, детеныши умеют ходить, но неспособны плавать. У тюленей нет наружных ушей, задние ноги укорочены, направлены назад, представляя подобие хвостового плавника. У китообразных отсутствуют задние конечности — плавники. У некоторых сохранились весточки таза, у гренландского кита, кроме остаточных конечностей тазового пояса, сохранились еще в теле зачаточные кости бедра и голени. У зародышей некоторых китов образуются зачатки конечностей, как и у остальных зародышей млекопитающих. У за-

родышей беззубых китов возникают зачатки зубов. Но зачатки задних конечностей и зубов претерпевают редуциционный процесс, устанавливая повторение онтогенной филогении, как учил биогенетический закон. У некоторых китов на рыле находятся волосы.

Понять происхождение особенностей означенной группы животных можно только при допущении, что у бесчисленного ряда поколений животных, обладавших 4-мя пятипальными конечностями для передвижения по земле, покрытых волосами, с нормальным количеством зубов происходило постепенное приспособление к водным условиям жизни. Приспособительные изменения накапливались, органы все лучше приспособлялись к новым функциям, организмы становились все более приспособленными к водной среде. Приспособительные изменения испытывал не один какой-либо орган, но вся организация животного.

Таким же путем легко объяснить упрощение организации у внутривисочных и кишечных паразитов.

Эволюцию человека мы сможем понять и объяснить только в том случае, если признаем, что человек с его характерными анатомическими особенностями произошел от животных под влиянием, главным образом, принципа кинетогенеза. Человеческое тело, как известно, перегружено рудиментарными органами (насчитывают их больше 100). Объяснить происхождение рудиментарных органов у человека, как и у других животных, можно единственно только тем, что они появились вследствие постепенного ослабления и полного прекращения их функции. Такому происхождению у человека червеобразного отростка слепой кишки, ушных и подкожных зачатков мышц, полудунной складки во внутреннем углу глаза, остатка более или менее волосяного покрова, зуба мудрости, хвостца и т. д. Когда-то в далеком прошлом все эти органы функционировали и выполняли полезную работу, но под влиянием изменения условий существования они стали все слабее упражняться, неупражнение же повело их к большей или меньшей редукции. Они давно уже человеку не нужны и все же упорно передаются из поколения в поколение, свидетельствуя о великой консервативной силе наследственности и о тех громадных периодах времени, которые необходимы для процессов редукции органов. Чрезвычайная медленность течения редуциционных процессов не убеждает ли в том, что все попытки экспериментальным путем опровергнуть учение о наследственности приобретенных признаков безнадежны и обречены на неудачу?

Необыкновенно сильное развитие основного органа человеческого тела — головного мозга и особенно сильное развитие коры больших полушарий (борозды и извилины) и лобной доли их можно опять-таки хорошо эволюционно истолковать, как продукт длительного развития под влиянием усиленного функционирования, наследственно закрепляющегося из поколения в поколение. Но и развитие головного мозга, как и происхождение вертикального положения тела, приспособленности рук к выполнению самых разнообразных и сложных работ, а ног к поддержанию и перемещению тела (развитие ступни, икроножных и седилицных мышц и т. д.) происходило под непосредственным или косвенным влиянием употребления и изготовления человеком орудий труда.

## IX.

Согласимся с взглядами Ж. Леба, который «сильно сомневается в том, чтобы в настоящее время был достоверно известен хотя бы один случай наследственной передачи благоприобретенных признаков»<sup>1)</sup>. Но можем ли мы на том основании, что нет экспериментально доказанных случаев наследования приобретенных признаков, отрицать вообще таковую передачу? Не напоминает ли в этом отношении проблема наследования приобретенных признаков вопрос о происхождении жизни на земле?

Как известно, благодаря опытам Пастера была доказана невозможность самозарождения жизни и было утверждено в науке положение: «все живое из живого». Ни в одном случае при строгом соблюдении точных условий опыта не возникли живые организмы из мертвого вещества. Сторонники самозарождения, казалось, были посрамлены: теория самозарождения опровергалась опытным путем. И что же? Многие крупные биологи считают самозарождение живых существ единственно возможным научным решением вопроса. Целый ряд косвенных соображений, равно как логическое требование последовательности научного мышления, заставляет их высказываться в пользу учения о самозарождении жизни. Ж. Леб находит, что «доказательство, данное Пастером..., вовсе не означает, что синтез живого вещества из мертвой материи невозможен при каких-либо иных условиях»<sup>2)</sup>. Опыты Пастера доказали только, что самозарождение не происходит в условиях данного опыта, протекавшего в течение короткого времени. Но эти опыты ничего не говорят против возможности самопроизвольного зарождения в природных условиях. Может быть, процесс самозарождения протекает так медленно, что требует для превращения мертвого в живое длинных периодов времени. Может быть он совершался в прошлом и не происходит при данной стадии развития земли.

Не таким ли же логическим требованием является и признание наследования приобретенных признаков? Стоя на почве такого признания, и процесс происхождения человека, и эволюционный процесс вообще представляются нам понятными и закономерными процессами, обусловленными реальными факторами. А раз теория наследования приобретенных признаков хорошо объясняет массу разнородных факторов и раз опытным путем самому существу нельзя ее опровергнуть, то нет пока достаточных оснований отречься от прежних воззрений. Само собой разумеется, что если бы неопровержимыми доводами была доказана ложность учения о наследовании приобретенных особенностей, то во имя интересов истины мы обязаны были бы отрешиться от старых убеждений, хотя бы в связи с этим нам пришлось пересмотреть все наше мировоззрение.

Можно ли считать, что учение о наследовании приобретенных признаков опровергнуто? Ни в коем случае. Заменено ли оно таким учением, которое смогло бы так же удовлетворительно объяснить все разнообразие и сложность фактов эволюции? Ни

1) Ж. Леб, Организм, как целое, стр. 258.

2) Там же, стр. 30.

сколько. А между тем казалось бы, что раньше, чем выдвигать новую теорию на место прежнего учения о наследственности, следовало бы попытаться объяснить с точки зрения ее как отдельные моменты эволюции, так и весь процесс эволюции в целом. Нужно было бы выяснить, насколько укладываются в рамки новой теории отдельные группы явлений, насколько они находят удовлетворительное объяснение в ней. Пока же эта работа не выполнена, преждевременно хоронить одну теорию и выдвигать другую.

Биологи, которые называют себя дарвинистами и вместе с тем отказываются от одного из основных положений дарвинизма, производят не ревизию, а коренное изменение теоретической системы дарвинизма. Как я стремился доказать, достаточных оснований для разрушения одной из основ дарвинизма нет. Это обязывает к осторожным выводам и заключениям.

Биологам же, считающим себя не только дарвинистами, но и марксистами, надлежит быть сугубо осторожными в отрицании наследственности приобретенных особенностей. Основоположения дарвинизма и его крупные теоретические, несомненно, стояли на дарвинской точке зрения. Энгельс особенно ясно выразил воззрения исторического материализма по вопросу о происхождении человека в статье «Роль труда в процессе развития обезьяны в человека». Основная идея статьи формулирована им в следующих положениях: «труд создал самого человека». «Рука не только орган труда, но и продукт его» (подчеркнуто Энгельсом). Аналогичная же мысль выражена в словах Маркса: «Действуя на внешнюю природу и изменяя ее, он (человек) в то же время изменяет и свою собственную природу» («Капитал», т. I, отд. 3). В таком же смысле говорит Плеханов: «В орудиях труда человек приобретает как бы новые органы, изменяющие его анатомическое строение» («К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»). Каутский также признает, что «общественные изменения в состоянии изменить организм человека, его руки, ноги, мозг» («Этика и материалистическое понимание истории»). Такова точка зрения марксизма, таковы воззрения сторонников исторического материализма. Выраженная в приведенных цитатах мысль ясна. Под влиянием внешних факторов, главным образом, под влиянием употребления и изготовления орудий труда медленно происходило, накапливавшееся из поколения в поколение, функциональное изменение органов, ведущее к их структурному изменению. Внешние факторы определяли направление эволюции человека, они формулировали признаки человека. Необходимой предпосылкой причинно-закономерного процесса эволюции человека было наследование приобретенных изменений.

Таким образом, как видим, отказ от учения о наследовании приобретенных признаков означает не только отказ от одного из основных положений дарвинизма и переоценку основ эволюционной теории, но представляет и подрыв основных положений исторического материализма и ведет к коренному пересмотру и перестройке всей системы воззрений диалектического материализма. Это означает уже не ревизию, а целую революцию в области двух величайших теорий современности.

Как мы пытались показать, нет достаточных оснований для такой переоценки основных идей дарвинизма и исторического материализма, подтвержденных массой доводов, великолепно объясняющих множество разнородных и сложных явлений в области эволюции органического мира и развития человеческого общества.

## X.

В заключение кратко рассмотрим произведенную некоторыми биологами-марксистами попытку примирить отрицание наследования приобретенных признаков с основными положениями диалектического материализма. Такое стремление, как увидим, неизбежно приводит к неразрешимым внутренним противоречиям и к реабилитации в той или иной мере автогенетической точки зрения. Коснемся в немногих словах некоторых положений, развитых в двух статьях, взглядов авторов, более или менее примыкающих к позиции автогенеза.

А. С. Серебровскому<sup>1)</sup>, безоговорочному противнику наследования приобретенных особенностей, его заявление, что «мы еще ничего не знаем о причинах мутационных явлений в хромосомах» (стр. 110), не мешает утверждать, что мутационные явления «происходят по каким-то внутренним причинам, не зависящим от внешних условий» (стр. 109). Казалось бы, что первое категорическое утверждение, выражающее фактическое положение вопроса, должно было бы заставить автора воздержаться от второго аподиктического заявления.

Другое противоречие заключается в следующих его положениях. Признавая своеобразную зависимость генов от внешних условий, «состоящую в том только, что с гибелью организма гибнут и гены (104 стр.)», он выражает надежду, что в будущем по желанию экспериментатора можно будет изменять гены (108 стр.). Опять-таки одно из двух. Или гены настолько постоянны и прочны, что поддаются влиянию только огня и яда («сжигание, отравление») и других подобных агентов, и что сложный комплекс самых разнообразных природных факторов на протяжении многих миллионов лет бессилен был воздействовать на них видоизменяющим образом, а не только путем уничтожения их вместе с организмом; или раз существует уверенность в том, что гены можно будет изменять по желанию в лаборатории, то во сколько раз больше подобных возможностей существовало и существует в великой лаборатории природы в неограниченно широких рамках разнообразных условий места и времени.

Если считать вместе с автором, что мутационный процесс, лежащий в основе органической эволюции, представляет из себя «имманентный процесс, подчиненный внутренней закономерности» (109 стр.), тогда весь процесс эволюции окажется чрезвычайно загадочным и таинственным. Проводимые автором параллели и аналогии (аналогия—не доказательство) ни в малой степени не срывают облекающего эволюционный процесс в интерпретации автора покрывала таинственности и не убеждают нисколько в том, что процесс этот по своему существу диалектичен. Вне-

<sup>1)</sup> А. С. Серебровский, Теория наследственности Моргана и Менделя и марксисты,—«Под Знаменем Марксизма» 1926 г., № 3.

чатление получается обратное. Гены представляются какими-то таинственными существами, развивающимися по своим непреложным законам и особым путям, совершенно независимо и обособленно от жизни организма, от всех окружающих их физико-химических условий телесной среды. Гены, несмотря на то, что в основе их лежат белковые молекулы, оказываются застрахованными от влияния всех разнообразных, хотя бы бесконечно длительных, внешних по отношению к ним факторов. Вопреки всем разнообразным условиям природной среды они формируют все бесконечное разнообразие форм и особенностей организмов по своим неизменным имманентным законам. Не напоминают ли нам несколько такие представления о генах модифицированное прежнее виталистическое воззрение? Несмотря на все усилия автора доказать обратное, ему это не удастся. Раньше говорили о таких метафизических сущностях, как энтелехия, жизненная сила, душа, которые управляют всеми жизненными процессами, но которые совершенно независимо от тела существуют и действуют. Теперь говорят об автономно существующих, развивающихся и влияющих на особенности организма по своим имманентным законам материальных генах. Подобные представления стоят ближе к виталистическому пониманию жизненного процесса, чем к воззрениям диалектического материализма, признающему закономерно-причинную связь, взаимозависимость и взаимодействие явлений и процессов и их диалектическое развитие. Для развитых в статье А. С. Серебровского взглядов на природу генов и их эволюцию нет достаточных объективных данных, с чем он соглашается, заявляя, что «мы еще ничего не знаем о причинах мутационных явлений в хромосомах».

Б. М. Завадовский в своей интересной статье<sup>1)</sup> стремится стереть грань между взглядами автогенеза и эктогенеза, он хочет примирить, синтезировать их. Он прав, когда считает, что авто- и экто-генетические факторы эволюции сходятся к одному и тому же общему первоисточнику» (98 стр.)—к воздействию внешней среды и что направление эволюции определяется всей предшествующей историей зародышевой плазмы, которая отличается необычайной стойкостью и «инерцией движения». Он правильно говорит, «что первично жизнь полностью и целиком являлась продуктом внешней среды» (98 стр.). Но нельзя согласиться с его утверждением, стоящим в некотором противоречии с другими его взглядами, что «еще в тот момент, когда «самопроизвольно» на земле зарождался первый комочек живого вещества, его конституция, структура и состав «предопределили» в потенции все те возможности, которые развернулись из него в процессе дальнейшей эволюции» (98 стр.). Хотя он не является последовательным сторонником преформизма и не исключает в дальнейшей эволюции влияния внешней среды на организм, но выраженное в приведенных словах понимание эволюционного процесса остается основной его точкой зрения. Таким образом вся эволюция разнообразных групп организмов, все линии эволюционного развития предопределены были уже в самый первый момент появления простейших комочков живого вещества. Пре-

<sup>1)</sup> Б. М. Завадовский, Дарвинизм и марксизм и проблема наследования приобретенных признаков,—«Под Знаменем Марксизма» 1925 г., № 10—11.

текали миллионы лет органической эволюции, непрерывно менялись внешние условия существования организмов, но организмы неуклонно проходили предопределенный, предуказанный уже первой стадией их существования путь развития, выявляли и развертывали заложенные в них в «дни творения» возможности. При таком истолковании эволюции органического мира встает ряд неразрешимых вопросов. Как можно объяснить, что внешняя среда обладала творческой силой только при возникновении живых существ, только в эти первые моменты природа не только определила структуру, но и весь дальнейший путь их развития. После же этого «творческого акта» природные условия перестают оказывать регулирующее ход эволюции и процессы видообразования влияние. Как объяснить тот факт, что эволюция пошла по таким чрезвычайно разнообразным и извилистым путям, что она вылилась в бесконечное многообразие форм, что в то время, как одни организмы непрерывно шли по восходящей линии прогрессивного развития, другие испытали регрессивную эволюцию, третьи же застыли в своем развитии на одной точке. С точки зрения реформизма и автогенеза мы не в состоянии удовлетворительно объяснить указанные явления. Эволюция представляется каким-то самодовлеющим процессом, изначально предопределенным, протекающим независимо от непрерывного воздействия изменяющихся условий внешней среды.

Б. М. Завадовский для подтверждения защищаемого им учения преформизма проводит параллель между эволюцией органического мира и процессом развития человеческого общества и находит, что «принцип преформизма является краеугольным камнем концепции исторического материализма» (112 стр.). С этим положением трудно согласиться. Сам автор говорит, что согласно марксистской концепции, «состояние сегодняшнего дня есть результат его предшествующей истории» (112 стр.). Каждая следующая стадия исторического развития не предопределена уже первой стадией развития, как учит преформизм, а определяется всей суммой наличных конкретных условий, явившихся в результате всего предшествующего развития, как учит исторический материализм. Исторический процесс не является каким-то фатально предопределенным, протекающим по непреложным путям в неизменно определенных формах. Марксизм отводит важную роль такому фактору как самосознание и активность рабочих масс, способному ускорить темп исторического развития. Стоя же на фаталистической точке зрения преформизма в истории, можно было бы сложить руки на груди и ждать в ходе истории неизбежного прыжка «из царства необходимости в царство свободы». Теория и практика марксизма свидетельствуют об ином понимании исторического развития.

## К вопросу о политике марксизма в области естествознания<sup>1)</sup>.

В. Флорин.

Пролетариат в капиталистическом обществе поставлен в совершенно другие условия, чем буржуазия в феодальном обществе. Буржуазия уже в недрах старого крепостнического общества создает свою общественную культуру, стоящую многим выше культуры феодальной. Она, не дожидаясь своей, буржуазной революции, создает свою идеологию, новое мировоззрение, новую математику и естествознание. Другое дело—пролетариат в эпоху распада капитализма до завоевания власти рабочим классом. Этот вопрос вполне правильно поставил в свое время т. Н. И. Бухарин<sup>2)</sup>.

Бытие пролетариата таково, что он не занимает командных должностей в производстве. Но он силою вещей уже довольно рано организуется, как общественный класс, ведущий борьбу за свои социалистические идеалы. Поэтому, что выработывает пролетариат нового еще в недрах капиталистического общества, это—прежде всего теория общественной классовой борьбы. И мы видим, что пролетариат выдвигает гениальнейших политических вождей и, кроме того, производит крупную ломку в общественных науках. «Но он не может выработать,—говорит тов. Бухарин.—кадра своих естествоиспытателей, инженеров, техников, агрономов, художников, архитекторов, геологов, организаторов производства, профессиональных квалифицированных изобретателей, математиков, поэтов, правоведов, банковских специалистов, артистов и так далее и тому подобное... Для решения таких задач у него нет возможностей в его бытии: он только в самых общих чертах намечает грядущее решение этих задач,—не более того. По сравнению с тем, что имеет буржуазия, это—настоящая крупница»<sup>3)</sup>.

Пролетариат до завоевания власти не имеет своего естествознания, то-есть такого естествознания, которое было бы пронизано методом диалектического материализма. Эта задача может быть планомерно выполняема лишь по завоевании власти рабо-

<sup>1)</sup> Заключительная глава из работы автора «Естествознание, философия и марксизм».

<sup>2)</sup> Буржуазная революция и революция пролетарская («Под Знаменем Марксизма», 1922, № 7—8).

<sup>3)</sup> Там же, стр. 74. Последние два подчеркивания сделаны тов. Бухариным.

чим классом и, главным образом, по окончании непосредственных боев за эту власть.

Приблизительно в том же духе, как и тов. Н. И. Бухарин, по этому поводу высказывается тов. Л. Д. Троцкий. «Пролетариат, — говорит он, — нашел в марксизме свой метод не сразу и до настоящего дня еще далеко не вполне. Этот метод служит ныне преимущественно, почти исключительно, для политических целей (подчеркнуто тов. Троцким В. Е.). Широкое познавательное применение и методологическое развитие диалектического материализма целиком впереди»<sup>1)</sup>.

Более того, то же самое сформулировано в резолюции ЦК ВКП(б) от 1 июля 1925 г. «о политике партии в области художественной литературы». В пункте 7 этой резолюции говорится следующее: «Нужно помнить, однако, что эта задача (завоевание и проникновение диалектического материализма в естественные науки и в область художественной литературы В. Е.) — бесконечно более сложная, чем другие задачи, решаемые пролетариатом, ибо уже в пределах капиталистического общества рабочий класс мог готовить себя к победоносной революции, построить себе кадры бойцов и руководителей и выработать себе великолепное оружие политической борьбы. Но он не мог разработать ни вопросов естественно-научных, ни технических, а равно он, класс культурно-подавленный, не мог выработать своей художественной формы, своего стиля».

Совершенно правильно естествознание в этой резолюции упоминается рядом с художественной литературой. Несмотря на все различие формы, и тут и там дело идет о сознательном проникновении марксистского метода в новые и новые идеологии.

Задача эта, конечно, не может решиться в несколько лет. Задача эта колоссальна. И первым условием возможно более быстрого ее выполнения служит признание наличия самой этой задачи. К сожалению, в этой области у нас не все обстоит благополучно: целый ряд естествоиспытателей, именующих себя марксистами, не видит этой задачи. Они предлагают некритически перенять отдельные элементы современного естествознания, пусть лучшие элементы, но такие, которые выросли вне сознательного приложения диалектического материализма.

Задача марксизма в области естествознания, по их мнению, будет закончена, когда мы изложим все успехи, уже достигнутые современным естествознанием, изложим при помощи марксистской терминологии.

«Вот здесь — скачок, здесь — переход количества в качество», — а все в общем это было известно задолго до всякого марксизма.

Не даром один старый профессор, когда он услышал такое упрощенное изложение метода диалектики, воскликнул: «Да ведь мы в таком случае всегда были диалектиками!». В этих словах есть, конечно, часть истины, и этой истине нужно только радоваться: естествоиспытатель в своем исследовании стихийно вляется к диалектике, сам того не замечая. Но здесь есть, несомненно, и другая опасная сторона. Опасность будет в том, если

<sup>1)</sup> Л. Д. Троцкий, Пролетарская культура и пролетарское искусство. В сборн. «Литература и революция». 2-е изд., Гиз, М. 1924, стр. 150. С рядом положений, высказываемых тов. Троцким о политике партии в области идеологии, нельзя согласиться.

мы чересчур неосторожно будем ставить штампель марксизма на тех или иных теориях, и если мы все надежды будем возлагать на эти стихийные элементы диалектики и материализма, — этот способ «стихийного» проникновения диалектического материализма в естествознание был бы чрезвычайно медленен и zig-zagобразен.

Еще Энгельс говорил о «стихийной» диалектике: «Это тяжелый и мучительный процесс, при котором приходится преодолевать колоссальную массу излишних трений... Он может быть значительно сокращен, если теоретизирующие естествоиспытатели захотят познакомиться основательнее с диалектической философией в ее исторически данных формах»<sup>1)</sup>.

Это положение Энгельса как нельзя лучше подтвердилось тем кризисом и ломкой, который имел место в естествознании в конце XIX и в начале XX в., и который продолжается еще до сих пор. Ленин, наблюдавший эту ломку, заключающуюся в банкротстве механического естествознания, в 1908 г. писал, что современное естествознание рождаст диалектический материализм, но роды болезненные. В частности, от недостатков механического естествознания, современные естествоиспытатели, не знающие диалектики, бросились в другую крайность: в реакционный идеализм.

В 1922 г. Ленин опять писал, что из той ломки, которую переживает современное естествознание, зарождаются самые разнообразные реакционные школы и школки, направления и направления.

В современном естествознании имеются как идеалистические, так и механистические уклоны, находящие до сих пор своих эпигонов.

Стихийная диалектика может быть и полезна и вредна, в зависимости от некоторых условий.

Стихийное революционное движение в восточных странах — явление положительное, но стихийная революция в западноевропейских государствах, это — гибель революции. Партизанские отряды революционных масс приносят большую пользу революции, когда они одни сражаются с реакцией. Но когда наряду с ними имеется дисциплинированная сильная Красная армия, то партизанщина, не связанная с ней, приносит массу вреда.

В чем же здесь дело? Как формулировать эти условия, когда стихийность полезна и когда она начинает быть вредной? Если в какой-нибудь стране революционной стихийности не может быть противопоставлено мощной сознательной революционной идеологии, тогда эта стихийность является прогрессивным явлением. В том же случае, когда налицо имеется уже готовая, четко выработанная идеология, тогда преклонение перед этой стихийностью будет преступным кунсткапорством, «рабочедельством».

Русское рабочее движение переживало такой перелом от стихийности к сознательности в начале XX века, когда Ленин писал «Что делать?».

<sup>1)</sup> Энгельс, Диалектика природы, «Архив М. и Энг.», кн. 2, стр. 129, курсив наш.



Безусловно, в 80-е годы, когда марксизм в России только еще появлялся, всякая стихийная стачка была большим достижением, и она может быть занесена поэтому на красные страницы истории рабочего движения. Другое дело — начало XX века. Здесь стихийность становится препятствием к дальнейшему росту революционного движения. Этому вопросу Ленин много внимания уделяет в своем знаменитом «Что делать?» (1902).

«Всякое (курсив Ленина. В. Е.) преклонение перед стихийностью рабочего движения, — говорит он, — всякое умаление роли «сознательного элемента», роли социал-демократии... означает тем самым, — совершенно независимо от того, желает ли этого умаляющий или нет, — усиление влияния буржуазной идеологии на рабочих»<sup>1)</sup>.

В вопросе о роли марксистской идеологии по отношению к предельным элементам современного естествознания возможны точно так же различные моменты. В эпоху до завоевания власти рабочим классом, когда марксизм более всего заботился о проникновении своего метода в общественные науки, можно было говорить об известной слабости марксистской теории в области естествознания. И тогда марксисты могли только радоваться всякому стихийному проявлению диалектики и материализма у некоторых естествоиспытателей. Большинство марксистов прибегало тогда к естествознанию, как оно есть, для того, чтобы получить от него поддержку (ибо оно признавалось и противниками марксизма) для обоснования своей прежде всего общественной теории, например, исторического материализма. Так, Плеханов прибегал к Дарвину в полемике с Михайловским. Даже перед Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме» стояла непосредственная задача преодоления махистской философии в лагере марксистов. Естествознание, развиваемое буржуазными учеными, было для марксизма тем даровым конем, которому не приходилось особенно тщательно смотреть в зубы. Лишь изредка в марксистской литературе раздавались критические голоса о некоторых метафизических сторонах, например, в дарвинизме и т. д.

Другой период начался со времени завоевания власти рабочим классом. Теперь марксизм, по крайней мере в СССР, стал господствующим учением. Ему не угрожают непосредственно Бердяевы, Михайловские и др. в общественных науках. Силы марксизма возросли во много раз. Растет новый молодой слой марксистов-теоретиков. Марксизм «приемлет» масса беспартийных интеллигентов, которые искренно хотят усвоить методологию марксизма.

Марксизму стало вообще просторнее развиваться. У него есть известный запас «досуга», чтобы теперь начать систематически проникать и в естественные науки. Теперь можно сказать, что наряду с лучшими «стихийными» ростками диалектики в естествознании (большая часть запрятанными в сплошной массе реакционной буржуазной идеологии) имеется также марксистская «идеология естествознания», скелет марксистской

<sup>1)</sup> В. И. Ленин, Собр. сочин., т. V, (первого издания), стр. 147. Курсив везде Ленина.

методологии естествознания, особенно проявившийся после опубликования «Диалектики природы» Энгельса.

Теперь в области естествознания позиция марксизма по отношению к стихийности может быть охарактеризована, как аналогичная позиции Ленина по отношению к стихийному рабочему движению, какую он занял в 1902 году<sup>1)</sup>.

И теперь мы можем сказать, что всякое преклонение перед стихийностью, всякое умаление роли сознательного проникновения диалектического материализма в естествознание, роли марксистской философии, означает тем самым усиление влияния буржуазной идеологии на естествознание.

«Раз о самостоятельной, самими рабочими массами в самом ходе их движения вырабатываемой идеологии не может быть и речи, — продолжает далее Ленин, — вопрос стоит только так: буржуазная или социалистическая идеология... Наша задача, задача социал-демократии состоит в борьбе с стихийностью, состоит в том, чтобы совлечь рабочее движение с этого стихийного стремления тред-юнионизма под крылышко буржуазии и привлечь его под крылышко революционной социал-демократии»<sup>2)</sup>.

Наша задача, задача марксизма, одержавшего победу в общественных науках, заключается теперь в том, чтобы, вытеснив из современного естествознания теорию «стихийности», привить ему сознательное пользование методом диалектического материализма, что не может быть достигнуто без внимательнейшего изучения особой науки об этом методе, т. е. философии диалектического материализма и истории философии вообще.

Стихийное движение есть движение по линии наименьшего сопротивления. А раз так, то оно ведет в большинстве случаев именно к господству буржуазной идеологии. В эпоху «Что делать?» Ленина это было верно и в политической области. И Ленин предостерегал от такого простого понимания марксизма, что раз, дескать, объективно в экономике дело идет к социализму, то само собой рождается у рабочих и сознание необходимости этого социализма. Нет, это далеко не так: теперь достаточно взглянуть на существование II Интернационала, чтобы отвергнуть такое упрощенство.

Итак, в эпоху «Что делать?» Ленин мог сказать без обиняков даже о политике, что «стихийное движение, движение по линии наименьшего сопротивления, идет именно к господству буржуазной идеологии». В отношении теоретического естествознания, как мы видим на фактах и как признавали Энгельс и Ленин, это верно также и до сих пор. Если у нас, в СССР, имеется немало естествоиспытателей, желающих быть марксистами, то это не гарантирует даже их самих от подчинения их буржуазной идеологии в области своей специальности. Что же касается За-

<sup>1)</sup> Пусть не прибегают наши анти-философы к обвинению нас в незаконной аналогии. Вопрос о значении стихийности и идеологии есть общий методологический вопрос.

Кроме того, первым, кто сравнивал современное естествознание с рабочим классом, был т. Степанов. Но у него аналогия была действительно незаконна, так как он брал все современное естествознание, а мы берем только его стихийно-диалектические и стихийно-материалистические элементы.

<sup>2)</sup> В. И. Ленин, там же, стр. 148—149. Курсив Ленина.

падной Европы и Америки, то там, как правило, естествознание влетает во всю буржуазную идеологию в целом.

Если раньше марксисты не предъявляли к естествознанию почти никаких требований, а брали у него то, что в нем было лучшего, если Энгельс предъявлял к естествоиспытателям большие требования, но это осталось у него неопубликованным в черновых записках, то теперь марксизм, следуя философскому завещанию В. И. Ленина от 1922 года, должен предъявлять к естествоиспытателям весьма высокие теоретические требования. А так как он теперь находится у власти, то эти требования могут и не ограничиваться одними критическими замечаниями, как это делал в свое время Энгельс, а у нас теория и критика должны быть соединены с практической политикой.

Мы не можем теперь удовлетвориться стихийным материализмом и диалектикой, проявляемым естествоиспытателями в своих специальных исследованиях, но сейчас же переходящим в сознательный идеализм, как только ученый восходит на кафедру или садится писать теоретическую книжку.

Материализм и диалектика не только в будничной лаборатории, но и в праздничной речи и в общающей книге! — таково должен быть наш лозунг, брешенный естествоиспытателям Советского Союза.

Надо приняться за распространение марксистской философии среди естествоиспытателей. Нужно не забывать того, что большинство естествоиспытателей как-никак уже имеет сложившиеся взгляды.

В германских университетах будущим физикам и естествоиспытателям предлагается пройти обязательный философский семинарий. Там это делается в целях предохранения («прививки») от материалистической заразы. В это время находятся теоретики, которые предлагают в СССР изгнать из употребления марксистскую философию. Это есть, не более, не менее, как разоружение авангарда рабочего класса и обнажение фронта перед лицом буржуазной идеологии Запада.

«Нынешний идеолог рабочего класса, — писал Г. В. Плеханов в 1906 году, — не имеет права быть равнодушным к философии (курсив подлинника. В. Е.). Особенно у нас на Руси. Теоретики нашей буржуазии довольно умело облачают в философский покров анти-пролетарскую часть своих воззрений. Чтобы победить их, надо уметь ооружиться с ними философским же оружием. А как может научиться владеть философским оружием тот, кто совершенно беззаботен насчет философии?»<sup>1)</sup>

То же самое он говорил еще и в 1892 году в предисловии к жевевскому изданию «Людвига Фейербаха» Энгельса.<sup>2)</sup>

Если современное буржуазное естествознание весьма часто одевается в философский костюм, то марксисты должны быть во всеоружии и не могут быть беззаботными насчет философии.

Философская «переподготовка» сложившихся ученых — дело в высшей степени длительное. Скорее мы могли бы достигнуть некоторой философской грамотности среди нашей учащейся молодежи, вообще, более близкой к нам, и эта грамотность практи-

чески необходима, во-первых, для того, чтобы быстрее совершалось философское перерождение тех же ученых, а, во-вторых, для того, чтобы учащаяся молодежь могла отличить, где в подаваемом им материале кончается специальная наука и где начинается философия, т. е. где, по Ленину, следует начинать «не верить ни в едином слове» тому или иному профессору. Ибо совершенно ясно, что чрезвычайно трудно, а в философии неисключенному уму, порой, прямо невозможно проследить процесс перерастания естествознания в философию.

Наши анти-философы любят приводить известные выпады Энгельса против «философского хлама». Думал ли Энгельс, что его словами воспользуются для нападков на марксистскую философию?

Нужно этим почтенным писателям запомнить, что Энгельс писал о сужении роли философии до чистого учения о мышлении лишь после того, как естествознание станет диалектичным. Лишь тогда вся остальная часть философии растворится в положительной науке.

«Естествознание, — говорит Энгельс, — довольствуясь обростами старой метафизики, вслед за философией тянуло еще свое мнимое существование. Лишь когда естествознание и история впитают в себя диалектику, лишь тогда весь философский хлам, — за исключением чистого учения о мышлении, — станет излишним, растворится в положительной науке»<sup>1)</sup>.

Философия в ее старом объеме исторически изжита; эпоха буржуазного парламентаризма также кончилась, — это бесспорно, говорит Ленин в «Детской болезни левизны». Но это верно лишь в смысле всемирно-историческом, а всемирно-исторический масштаб считает десятилетиями. В вопросе же практической политики, говорит Ленин, «ссылаться на всемирно-исторический масштаб есть теоретическая неверность самая вопиющая»<sup>2)</sup>. Нужно поэтому использовать все средства борьбы, даже буржуазный парламент!

Среди практических предложений, делаемых анти-философами, было предложение заменить во всех учебных заведениях историю философии историей науки, включив в нее историю философии, как часть.

Продумали ли авторы до конца это свое практическое предложение, мы не знаем. Во всяком случае мы это за них можем сделать.

Практически это предложение может значить только одно, а именно, немедленно же изгнать из вузов историков философии марксистов и поручить курс истории науки буржуазным специалистам (потому что историков науки марксистов у нас пока нет).

Это замечательное «революционное» предложение. Спецы будут преподавать «историю науки в связи с историей философии», они не могут при этом, конечно, не касаться и общей истории и экономики и политики, но что это будет за курс! От марксистской теории истории не останется здесь и воспоминания. Мы могли бы

<sup>1)</sup> Г. В. Плеханов, Сочинения, т. XVIII, стр. 294.

<sup>2)</sup> Сочинения, т. VIII, стр. 311.

<sup>1)</sup> Диалектика природы, — «Архив М. и Э.», кн. 2, стр. 191.

<sup>2)</sup> В. И. Ленин, Собр. сочин., т. XVII, стр. 146.

здесь продемонстрировать массу образчиков «подхода» ученых к истории и к истории науки в частности.

В большинстве случаев связь естествознания с культурной историей в целом оказывается очень простой: естествознание лежит в основе всей истории. «Отсталость древних в естественных науках,—говорит, например, Э. Дюбуа-Реймон,—оказалась роковой для человечества. В ней заключается одна из важнейших причин, погубивших древнюю культуру. Если бы у древних было естествознание в нашем смысле слова, человечество избежало бы, вероятно, величайшего из постигших его несчастий — заполнения областей Средиземного моря варварами»<sup>1)</sup>.

Автор далее не ограничивается положительным утверждением: он опровергает «часто обсуждаемые основания» гибели римского государства, в виде рабского хозяйства, лати-фундий и друг.,—все это, с его точки зрения, не выдерживает критики и объясняется тем, что большинству историков чужды естествознание, как таковое. «История естествознания,—поучает он историков,—и есть собственно история человечества»<sup>2)</sup>.

Между прочим, естествоиспытатель Дю-Буа-Реймон, верный этой мысли, выделяет самостоятельную главу из общей истории, посвященную пророчествам об «опасностях, грозящих теперешней культуре». Он говорит о далекой опасности всеобщего оледенения. Но это будет еще через миллион лет. Гораздо раньше угрожают нам, по мнению автора, истощение каменноугольных пластов и... опасность со стороны пролетариата. «В недрах больших городов, в муравейниках промышленности она сама (культура) взрастила класс людей, которые, ослепленные сумасбродными или порочными вожаками, благодаря своему невежеству и грубости, могут стать для нее опаснее, чем гунны и вандалы были для античной цивилизации. Так писал Маколей, а Маколей не дождал до 1871 года»<sup>3)</sup>. «Июньское побоище», «коммуна», «красный интернационал»,—все эти «народноклассовые исконно требуют борьбы с собой, как в свое время требовали борьбы с собой восстания рабов, крестьянская война и движение анабаптистов.

Мы видим, что наш почтенный физиолог признает себя потомком крайне почтенных предков.

Америка, далее, признает опасным распадником узкого практицизма и «реализма» (!). В противовес американизму автор в заключение, предлагает «против естествознания, подвергая его критике идеалы... лишающего историю ее увлекательности, а ее свое природу ее прелестного покрова (!?)» «обратить палладу гуманизма», т.е. побольше классицизма, и т. п.<sup>4)</sup>.

Вот до чего договорился наш историк, владущий в основе всей культуры естествознанием. Рабочий класс так его напугал, что он готов все свое естествознание послать к черту и оставить одни мертвые языки.

<sup>1)</sup> Э. Дюбуа-Реймон, Культурная история и естествознание, русск. пер. М. 1900, стр. 19.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 35.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 43.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 47 и след.

Мы могли бы привести не один пример из советских изданий по истории науки, которые в этой части чрезвычайно мало отличаются от западно-европейских.

Такого рода ученым спецам предлагается поручить касаться и истории философии. Замечательное предложение!.

В заключение мы остановимся на одном вопросе, который имеет также практическое значение. Относительно естествознания существует взгляд, что в СССР нужно только прикладное, техническое естествознание. Само по себе стремление приблизить естествознание к практике весьма здорово и необходимо. Но здесь возможны перегибы палки в сторону презрения к теоретическому естествознанию. Это презрение может, например, сказаться в свертывании научно-исследовательских учреждений и вузов, вроде физико-математических факультетов университетов в их теоретической части или в их полном закрытии,—попытки к чему уже, кажется, замечались.

Такие же результаты, по существу, получаются и тогда, когда эти «физматы» и существуют, но общественное мнение направлено против них, благодаря чему пролетарская молодежь фактически бойкотирует эти вузы, предоставляемые таким образом пополнению студентами чужь ли не с улицы.

Надо обратить внимание на опасные стороны этого явления. Советский Союз находится в сильнейшем научном окружении. Теоретическое естествознание в буржуазных странах развивается по ложным путям, но оно развивается, опираясь на все новые и новые открытия и факты. При изгнании теоретического естествознания совсем из советского обихода, или при том положении, как сейчас, когда научно-теоретические учреждения менее всего наполнены пролетарскими кадрами, марксистские пропагандисты, которым нужно было бы ориентироваться во всех идеологических переплетках современной науки, они попросту не будут в состоянии понимать того, что делается на Западе. Марксизм здесь будет наполовину обезоружен.

Презрение к теоретической науке было широко распространено одно время в Германии: это было сейчас же после революции 1848 года. И это резко осуждалось Энгельсом, который видел в этом «перерождение» буржуазной интеллигенции Германии, сменившей революционные перспективы на узкий практицизм. Германия забыла, говорит Энгельс, «великий теоретический интерес, составлявший немецкую славу даже во время самого сильного политического упадка,—интерес к чисто-научному исследованию, которое было дорого само по себе, совершенно независимо от вопроса о том, будет ли оно иметь какие-либо, и какие именно, практические результаты»...

«Только в среде рабочего класса (Германия. В. Е.) продолжают теперь жить старые немецкие теоретические интересы... Немецкое рабочее движение является наследником классической немецкой философии»<sup>1)</sup>.

Вторую волну отрицательного отношения к теоретическому естествознанию отмечает наш К. А. Тимирязев (которого не совсем законно берут себе в учителя наши анти-философы).

<sup>1)</sup> Ф. Энгельс, Людвиг Фейербах (Приложение к VIII тому сочинений Г. В. Плеханова), стр. 356—356.

Говоря о реакционных попытках внутри естествознания и в частности биологии, возникших в конце XIX века и выразившихся в протаскивании телеологии, витализма и психологизма, К. А. Тимирязев указывал, что рядом с ними имеется еще одно направление, которое хотело бы только сузить «естественное течение научной мысли», «желало бы ограничить задачи, затемнить философское значение научного движения, свести на-нет его идейное содержание, обратив его исключительно на преследование узко-материальных, служебных целей»<sup>1)</sup>.

Мы видим, что и Энгельс и Тимирязев сходятся в оценке узкого практицизма в науке, считая его вредным и реакционным.

Но не следует ли отсюда, что мы должны вернуться к революционному положению, когда, скажем, на физматах подавалась одна чистая наука? Ведь против такой «чистой науки» марксисты всегда боролись? Да, всегда боролись и правильно делали. Здесь не должно быть опять смешения понятий: «чистая наука» и «теоретическая наука».

«Наука для науки» для нас так же неприемлема, как неприемлема была теория «искусства для искусства» для просветителей 60-х годов. И не о такой «науке для науки» говорит Энгельс и Тимирязев.

Вспомним, что понималось в свое время под «чистым искусством». Плеханов всю теорию искусства, как самоцели, выдвигает в следующих строках Пушкина:

Не для житейского волненья,  
Не для корысти, не для битв,  
Мы рождены для вдохновенья,  
Для звуков сладких и молитв!..

Позднее Майков от имени «жрецов чистого искусства» писал:

Мы все блюстители огня на алтаре,  
Вверху стоящие, что город на горе,  
Дабы всем виден был; мы—соль земли,  
Мы—свет!..

Здесь отвергается всякое служение искусства обществу: не искусство для человека, а человек для искусства.

Всякому известно, что этому направлению в искусстве противостояло всегда диаметрально ему противоположное, т. е. то, которое художника заставляло служить обществу, «содействовать развитию человеческого сознания, улучшению общественного строя» (Плеханов). Это служение, — конечно, не в непосредственной практике, не в утилитаризме, за которым иногда гонятся упадочные господствующие классы, — а в том идеологическом воспитании, в той организации членов того или иного класса, каковая выполняется всеми общественными идеологиями. Организация эта может служить как передовому, так и реакционному классу, — это необходимо разграничивать. Но никто не осмелится утверждать, что борющийся революционный класс

<sup>1)</sup> К. А. Тимирязев, *Насущные задачи современного естествознания*. Предисл. ко 2-му изд., М. 1904, стр. XXXIII.

вообще не нуждается ни в какой идеологии, что его потребности ограничиваются грубым утилитаризмом.

Итак, когда мы в наше время боремся с «наукой для науки», нужно помнить, что не всякая теория, не имеющая непосредственного приложения, скажем, в технике, есть непременно одиозная «наука для науки». И не об этой последней говорил Энгельс, Тимирязев и многие другие.

Было бы крайне грубым и неумным упрощением, если бы мы, опыненные политическими успехами рабочего класса, стали сразу же с плеча рубить теоретическую науку, как нелепо было бы сейчас приняться за «изничтожение» всего искусства. Теоретическая наука в своей «философской» части, как и искусство, как и философия, суть различные формы идеологии, и разница между ними заключается лишь в том, что они воздействуют на разные стороны психики человека: философия и наука обращаются путем отвлеченных мыслей и логических доводов, к уму человека, искусство воздействует на его чувство и воображение при помощи так называемых художественных образов. Но, влияя на разные стороны человеческой психики и разными путями, все идеологии преследуют одну общую цель, а именно: закрепить так или иначе господствующее положение командующего класса<sup>1)</sup>. Все эти идеологии, каждая по отдельности или вместе взятые, могут служить и буржуазии, и пролетариату.

После этого можно поставить такой вопрос: есть ли в составе естествознания такие течения, которые действительно соответствовали бы «чистому искусству», встречающему у нас резкое осуждение? Другими словами, можно ли говорить об общности взглядов Энгельса, выраженных в вышеприведенной цитате из «Людвига Фейербаха», со взглядами многих и многих буржуазных ученых, говорящих, то же об «интересе к чистонаучному исследованию, которое ценно само по себе»? С какой решительностью необходимо ответить на первый вопрос утвердительно, с такой же самой резкостью на второй вопрос необходимо ответить отрицательно. В последнее время наша литература наводнилась апологетикой «чистой науки». В практической политике мы должны различать, о чем здесь идет речь: о ценной ли для нас теоретической науке, которая необходима нам для утверждения и дальнейшего развития нашего марксистского мировоззрения, или о вредной для нас теоретической науке, которая служит укреплению лишь реакционной философии, или же, наконец, речь идет о чистом пустоцвете, о «вдохновеньи, о звуках сладких и молитвах» («наука для науки»).

Практически для нас третья сводится ко второму, и мы можем поддерживать только первое. Таким образом, внимание марксизма в области естествознания должно сказаться, кроме вышеуказанного, еще и в подробном рассмотрении наших вузовских (в частности физматовских) программ. Не огульное «изничтожение» теории, — надо здесь не отставать от Запада, а обгонять его, — но и не слепое подчинение «чистой науке», защищаемой обычно специалистами. Разборчивое отношение обязывает марксистов-теоретиков ко многому.

<sup>1)</sup> Ф. Фриче, *Очерки по искусству*, изд. «Нов. Москва».

Итак, какие же выводы нам нужно сделать для практической политики?

Современное естествознание прочно связано с реакционной буржуазной философией. Оно само, в конце концов, становится буржуазной идеологией. Перед марксизмом здесь стоит задача добиться сознательного проникновения диалектического материализма в область исследования. Диалектический материализм, это — не априорная схема, а это есть мировоззрение, выработанное также научными методами, то-есть вытекающее из самой действительности. Поэтому естествознание только выиграет от содействия ему со стороны марксистской философии и от отказа следовать за жалкими эклектическими философскими системами.

Необходимо марксистскую философию продвинуть в широкие массы естествоиспытателей, а также в массы молодежи, занимающейся естественными науками. На данной стадии, особенно в СССР, «стихийность» становится тормозом для дальнейшего революционизирования естествознания. Необходимо сознательное проникновение диалектического материализма как в научно-исследовательские институты, лаборатории и т. д., так и в вузовские аудитории, в публичные выступления специалистов-естествоиспытателей, в их естественно-научные книги и т. д.

На ряду с дальнейшим приближением науки к производству необходимо сохранять и теоретическое естествознание на должной высоте. В задачи административных советских органов входит не огульное изгнание теории из высшей школы (физматов), но и не рабское следование прежним и теперешним буржуазным образцам. Необходимо тонкое и правильное разграничение революционных и реакционных теорий. К числу последних относятся и чистая «наука для науки».

Наконец, необходимо добиться того, чтобы у нас изменился взгляд на занятия теоретическим естествознанием (и философией). Необходимо направить часть пролетарских кадров на эту работу, чтобы затем можно было более углубленно вести нашу марксистскую пропаганду.

В области естествознания необходимо готовить естествоиспытателей, владеющих марксистским методом, которые были бы в состоянии отражать наступление буржуазной идеологии с Запада, а потом и сами могли бы перейти в наступление.

## Социологическая доктрина Гумпловича.

А. Болотников.

(Самое главное в так называемой «духовной» области <sup>1)</sup> человека его мировоззрение. Всякий человек имеет то или иное мировоззрение, поскольку уже он живет на земле, а не представляет собой «трупа смердящего» в самом прямом, а отнюдь не переносном смысле этого слова, ибо всякие «живые трупы» имеют вполне выраженное мировоззрение бездельника, дегенерата или кого-нибудь в этом роде. Степень цельности, последовательности мировоззрения вовсе не определяется, как правило, степенью интеллигентности человека, степенью его образованности, учености. Часто, очень часто бывает даже как раз наоборот: многоученый муж запутывается в противоречиях, теряет «самого себя» (Маркс), теряет твердую линию, перспективу жизни и кончает обыкновенно плохо, в лучшем случае превращаясь в «лишнего человека», по типу Тургеневского говоруна Рудина. Разумеется, из подобных явлений нельзя еще вместе с полковником Скалозубом заключать, что для пресечения подобного зла следует «собрать все книги бы, да сжечь». Последовательно грубое, солдатски-дисциплинированное мировоззрение, для которого Москва не больше «как дистанция огромного размера», едва ли лучше беспочвенных и туманных хитросплетений Рудиных и воздушных замков Тентетниковых. Поучительно напомнить по этому поводу одну из сатир А. Черного:

Одни кричат: «Что форма?—Пустяки!  
Когда в хрусталь налить навозной жижи,  
Не станет ли хрусталь безмерно ниже?»

Другие возражают: «Дураки!  
И лучшего вина в ночном сосуде  
Не станут пить порядочные люди».

Им спора не решить, а жаль!  
Ведь можно наливать вино в хрусталь.

Действительно, истина, очевидно, заключается в диалектическом снятии крайностей и, на ряду с твердой последовательно-

<sup>1)</sup> Я не согласен с поэтами, которые жалуются, что «наш язык холоден и жалок», но я нахожу, что в современном языке, и особенно в философском, такое множество устарелых и вводящих в заблуждение архаизмов, что часто, лишь скрепя сердце, приходится ими пользоваться. Давно, например, пора бы заменить понятие «духа», «души» и т. п. каким-то иным, более научным и, следовательно, более современным термином.

стью мировоззрения, его монистической монолитностью должно стоять требование его всесторонности и фактической обоснованности.

Подводя итоги своей социологической доктрине, незадолго до смерти, в небольшой, но с убеждением написанной книжке *Sozialphilosophie im Umriß 1909*, Гумплович совершенно правильно начинает изложение своей системы с анализа вопроса о мировоззрении, придавая решающее значение этому вопросу в теории человеческого познания вообще. И он правильно указывает, что в буржуазной идеологии не существует более или менее законченного мировоззрения, выдержанного в духе современного научного метода. Ни попытки идеалистов, стремящихся из духовной основы, не зависящей ни от чего преходящего, не обусловленной хрупкостью ощущаемых вещей и явлений, построить идеальную картину мира; ни попытки материалистов (читай: философствующих натуралистов), правильно исходящих только из опыта и только на научно-поставленном опыте основывающих свои заключения и обобщения,—ни те, ни другие не могут удовлетворить мало-мальски критически пытливого и последовательно мыслящего ума, не зараженного предрассудками голой веры в непреодоленные авторитеты (порой сверхъестественного порядка), или предрассудками мистически-религиозной, слепой интуиции, признающей только божественное откровение и озарение.

И если идеалисты в своих построениях приходят к воздушным замкам из душливого метафизического тумана, если они не удовлетворяют «критически мыслящую личность» (как говорили прежде) своей оторванностью от живой действительности, от реальной жизни и практики,—то материалистические философы по вполне, правда, понятным и более извинительным причинам, не удовлетворяют читателя незаконченностью своих построений, неполнотой своего мировоззрения или даже его чрезвычайной односторонностью, все сводящей к ползучему эмпиризму вагнеровской химической кухни и его *homunculus'a*. Особенно игнорируют философствующие Геккелли и Оствальды социальные явления, рассматривая их непростительно поверхностно и не давая себе отчета, что эти социальные факты в отношении их исследования будут потруднее всех их тончайших и остроумнейших лабораторных изысканий и экспериментов...

И только марксизм в его ортодоксально-революционной большевистской форме сознательно ставит и стремится разрешить задачу такого монистического мировоззрения, в котором бы обе ветви человеческого знания — естествознание и социальные науки—гармонически сочетались между собою, придали бы коммунистическому борцу глубочайшее убеждение и ясность делу его трудной, но богатой единственно достойным современным человека содержанием жизни.

Но Гумплович—мелкий буржуа, но Гумплович—выдающийся профессор, которому «серебряные ложечки славы» дороже скромного и многострадального пути революционного борца. Поэтому Гумплович, как истый профессор, самолично старается восполнить пробел в буржуазном мировоззрении, строя еще одну (из многих уже до него построенных) социальную систему, стремясь своим шлафроком и ночным колпаком заткнуть прореху на буржуазной

науке. «Важнейшая обязанность науки,—пишет Гумплович,—состоит не в том, чтобы сохранить ту или иную систему,—ее долг исследовать действительность и стремиться к познанию истины. Социология открыла новый мир явлений. В этом социальном мире мы должны исследовать естественно-закономерные явления и факты, мы должны установить господствующие там законы. И если при этом рамки, в которых современная натурфилософия строит свою картину мира, окажутся слишком тесными, то их не задумываясь нужно сломать: социология позаботится о более широких. Монистическое мировоззрение, монизм от этого не пострадает, но лишь получит более глубокое и крепкое обоснование» (назв. соч., стр. 24).

Гумплович полагает, таким образом, что уж если приходится выбирать из несовершенных философских систем, то выбирать следует натуралистические, по Гумпловичу, материалистические системы, дополнив их только надлежащим объяснением всей перстрой совокупности социальных явлений, другими словами, влетая в сеть естественно-научных обобщений и упрощений обобщенное и упрощенное представление о жизни человеческого общества, получившееся на основе прочитанных толстых книг, наблюдений над городской улицей из окна кабинета или над крестьян из окна вагона во время поездки на дачу и, наконец, в результате потуг и усилий праздно, хотя и талантливой мысли... Можно поэтому заранее сказать, что наш автор не раз насмежит нас самыми серьезными из своих положений, что он порою будет делать вид, как будто открывает Америку и что под конец, разразившись буддистскими тирадами о ничтожестве человеческого, о грандиозности и неизведанности космического круговращения, красиво поставит точку...

Но мы все же последуем за ним до конца, терпеливо разоблачая его благоглупости и с удовольствием отмечая места, свидетельствующие, что даже поверхностные наблюдения из окна и честная проработка исторической литературы не может не привести умного человека, каким, несомненно, является наш социолог, в общем и целом, к безотрадному выводу насчет существующих порядков человеческого общежития, до кичащегося своей культурой капитализма включительно. При этом мы последуем за ним не просто из любопытства или даже любознательности, по рецепту «науки юношей питают, отраду старцам подают»,—нет, мы пойдем за ним с целью показать, что никакая голова, как бы талантлива она ни была, не в состоянии найти или построить более или менее объективную картину человеческого общества и тем паче найти панацею от всех его зол,—если эта голова, этот мыслитель не понимает грядущих и уже пришедших задач пролетариата, если он, как алхимик, обольщает себя пустой надеждой открытия социального философского камня или, как «чистый философ», пытается пренебречь или игнорировать все недостатки общественной жизни... Иными словами, мы ставим себе задачу доказать, так сказать, способом от противного всю мощь и силу того социологического учения, которое в последнее время справедливо называется ленинским и которое есть, в сущности, марксизм, дополненный и уточненный величайшим революционером мира на основании огромного жизненного опыта и безаветной борьбы за переустройство общества в духе

естественных коммунистических отношений людей друг к другу. Мы думаем, что только так, собственно, и можно оправдать в основном эту довольно скучную задачу изучения буржуазных социологов.

Итак, видя цель социологии в установлении рационального мировоззрения в области социальных явлений, Гумплович отдает решительное предпочтение методу точных естественных наук, т. е. методу индукции. Он полагает, что социология должна строиться совершенно так же, как, например, физика, — но что сведение социальных явлений к психическим или духовным не имеет под собой научной почвы, так как социальные явления суть явления *sui generis*, качественно не сводимые ни к каким иным. Только непосредственное и тщательное исследование социального факта может вскрыть его природу, а отнюдь не дедуцирование этого факта из психики, духа и т. п. субстанций и начал. Нельзя априори приводить к общему знаменателю, как выражается Гумплович, эти столь различные факты, — иначе мы впадаем в догматизм, совершенно несовместимый с объективным методом точных наук.

Таким образом, Гумплович устанавливает четыре мира явлений: неорганический, органический, психический и социальный. В каждом из этих миров разыгрываются своеобразные явления, подчиненные особым, только данному миру явлений свойственным, законам. Конечно, вещь, относящаяся к высшему из этих миров, подвержена также и законам предыдущих низших сфер бытия. Например, когда человек (факт, принадлежащий к высшему, социальному миру явлений), соскользнувшись на апельсиновой корке, потерял равновесие и упал, то он в этом случае подчинился законам неорганического мира, законам физики или, точнее, механическим законам равновесия. Но для человека дело одним падением может и не ограничиться: он мог так упасть, что разбил, например, сильно нос, потерял много крови и повредил от сотрясения мозга, — он заболел, одним словом. Эта его болезнь есть уже, очевидно, явление органического порядка. С соскользнувшей с горы лавиной, например, ничего подобного случиться не может. Но пойдем дальше. Положим, наш человек, после означенного падения, вдруг почувствовал склонность к поэзии <sup>1)</sup>. Его поэтический бред, его фантазии, — плохи, они или хороши, — будут уже принадлежать к области явлений психических. Роза тоже может упасть со своего куста, она увянет тогда прежде времени, но других явлений, выходящих за сферу физиологии растений, у нее не произойдет, ибо она принадлежит только к двум мирам: органическому и неорганическому... Но уже кошка мало чем отличается в этом отношении от человека и хотя, по обычному воззрению, она всегда падает на ноги и, по видимому, носа не бьет, но, упав с приличной высоты, может, вероятно, свихнуться подобно человеку или, во всяком случае, на время очуметь. Однако, человек является гражданином четырех миров, — и после первой апельсиновой корки его может ожидать еще одна апельсиновая корка в перенесенном социальном

<sup>1)</sup> Нечто подобное произошло, рассказывают, с поэтом Бальмонтом; он именно выбросился из окна на мостовую и после выздоровления почувствовал необычайный прилив способностей, изучивши в одно лето несколько языков

смысле. Если, например, наш герой в порыве поэтического творчества пошлет деловую бумагу вместо Архангельска в Астрахань или позволит себе еще какую-нибудь благоглупость, то его подкарауливают социальные законы, «как образно выражается Гумплович», в силу которых апельсиновая корка не пройдет ему даром.

Все это, конечно, очень ясно, и еще задолго до Гумпловича было расписано, например, Огюстом Контом. Но что нового мы встречаем у нашего социолога, так это то, что он с особенной настойчивостью подчеркивает своеобразие, несводимости социальных явлений и объясняет их из групповых интересов индивидуумов. Вот как пишет по этому поводу Гумплович: «как партиец, как соотечественник, как член какой-нибудь церковной общины, человек мыслит и действует не как индивид и представляет не свои собственные убеждения, не свои собственные идеи, — нет, он думает и действует, как составная часть, как представитель своей социальной группы; он выражает ее интересы, которые ни в коем случае не должны быть его собственными; он является рупором своей социальной группы, эхом ее лозунгов; он — солдат в маршевой колонне, или, если угодно, стадное животное» (цит. соч., 20).

Факт этот, конечно, индивидуумом не сознается, и всякий, кто бы стал убеждать человека в этом направлении, получил бы с его стороны самый решительный отпор <sup>1)</sup>. Тем более, что этот социальный факт умышленно и неумышленно задрапирован всевозможными идеологическими (тяжелыми и легкими) материями различных теорий, учений, философий и т. п.

Однако, определяя сущность социального факта, Гумплович приходит далее к выводу, что социальное ни конкретно, ни абстрактно. Оно не конкретно, ибо, по Гумпловичу, конкретно то, что мы можем воспринимать или непосредственно при помощи наших органов чувств или посредством всевозможных задрапированных научных техник. Но каким бы телескопом или микроскопом мы ни исследовали такой, например, факт как государство, мы не нашли бы нигде реальной сущности государства, мы не смогли бы его конкретизировать. Государство, как таковое, не конкретно, оно есть и его в то же время нельзя обнаружить, как всякую другую реальную, конкретную вещь. Государство объективно есть, оно существует, в этом может убедиться, и убеждается на каждом шагу всякий слишком зарвавшийся индивидуалист, который готов утверждать нереальность государства и который подчас здорово получает за это по шалке. Именно благодаря этой своей, очень часто грубо-объективной силе или силе, государство не абстрактно, по Гумпловичу. С конкретным, — пишет Гумплович, — они (т. е. социальные факты) имеют то общее, что они действительны, с абстрактными — что они не могут быть восприняты чувствами» (26).

Так ставит вопрос Гумплович и, так как для него высшей инстанцией служит школьная логика и грамматика, которая

<sup>1)</sup> За последнее время, столь насыщенное социальными переворотами и кое-чему научившее людей, произошло как бы идеологическое смещение в этом отношении. Индивидуалистическая точка зрения сейчас не только у нас в СССР считается почти преступлением, но от нее многие отрешаются уже и в Европе, как от точки зрения явно ложной, устаревшей и вредной.

знает лишь абстрактное и конкретное,—то по-своему он, несомненно, прав. Общественное явление меньше всего укладывается в схему формально-логических категорий, они прежде всего, по нашему мнению<sup>1)</sup>, засадили Гегеля притти к его диалектике. Но только человек, подобно Гумпловичу, «неповинный в диалектике», может ставить таким образом вопрос о конкретном и абстрактном. В самом деле, разве мы можем даже самым сильным ультра-микроскопом обнаружить отдельный атом материи или еще больше—электрон? Однако, кто же усомнится в наше время, после опытов Крукса со спинторископом, после тончайших исследований броуновского движения, после опытов Кюри и т. д. в реальности атома и электрона?.. И разве, с другой стороны, в каждой сколь угодно «конкретной» науке мы не находим в той или иной мере абстракций, т. е. сознательного отбора различных фактов или отдельных сторон даже какого-нибудь одного факта.

Касаясь этого вопроса об отношении абстрактного к конкретному в связи с разбором понятий материи и ее форм существования—пространства и времени,—Энгельс прекрасно пишет: «Эта старая история. Сперва сочиняют абстракции, отвлекая их от чувственных вещей, а затем желают познавать их чувственно, желают видеть время и обонять пространство. Эмпирик до того втягивается в привычное ему эмпирическое познание, что воображает себя все еще в области чувств, опыта—даже тогда, когда он имеет дело с абстракцией. Мы знаем, что такое час, метр, но мы не знаем, что такое время и пространство... Разумеется, обе формы существования материй (т. е. время и пространство. А. Б.), без этой материи представляют ничто, только пустое представление, абстракцию, существующую лишь в нашей голове. Но мы не способны познать, что такое материя и движение, ибо материя, как таковую, и движение, как таковое, никто еще не видел и не испытывал каким-нибудь иным образом, как только в виде различных реально существующих форм материи и движения. Вещество, материя есть не что иное, как совокупность веществ, из которой абстрагировано это понятие: движение, как таковое, есть не что иное, как совокупность всех чувственно воспринимаемых форм движения. Слова, в роде материя и движение (и общества в социологии—прибавим мы. А. Б.) это просто сокращения, в которых мы резюмируем, согласно их общим свойствам, различные чувственно воспринимаемые вещи. Поэтому материя и движение можно познать лишь путем изучения отдельных форм вещества и движения, и поскольку мы познаем последнее, постольку мы познаем материя и движения, как таковые... Это точь-в-точь, как встречающаяся у Гегеля трудность, что мы в состоянии есть вишни, сливы и т. д., но не в состоянии есть плода, потому что еще никто не ел плода, как такового»<sup>2)</sup>.

И вообще, каждую вещь мы познаем совершенно таким же образом, ибо ведь, например, в понятие вишни включаются все

<sup>1)</sup> «Феноменология духа» Гегеля, центр тяжести которой лежит в обнаружении духа и законов его развития в человеческой истории, является, как известно, первым произведением Гегеля, в котором он последовательно применяет свой метод диалектики.

<sup>2)</sup> Ф. Энгельс, Диалектика природы, стр. 150—152.

реально существующие и могущие существовать вишни, а между тем мы едим только те или иные вишни. Наоборот, в таком абстрактном понятии, как божество, мы всегда усматриваем наличие тех или иных конкретных социальных отношений. Отсюда ясно, что, только мысля метафизически, можно, подобно Гумпловичу, удивляться своеобразию, социальным явлениям и создавать для них особую логическую категорию абстрактно-конкретного.

Однако, вернемся к социологии Гумпловича и попросим читателя приготовиться: здесь начинается самое интересное в теории—обнаружение метода. Непосредственные наблюдения и обобщения социальных фактов являются, по Гумпловичу, первым источником социологического познания. Это «непосредственное осознание» приводит нас прежде всего к выводу, что основной формой проявлений человеческой общественности является государство. Не надо большого ума и глубоких научных изысканий, чтобы уловить общий смысл этой общественной формы, чтобы дать государству общее определение, раскрывающее смысл этого социологического абстрактно-конкретного понятия. «Государство, по определению нашего социолога, есть отношение между человеческими группами» (26). Его можно познать только по действиям составляющих его людей, а так как эти действия людей в государстве обусловлены тем отношением, что одна часть людей исполняет то, что приказывает другая, то именно «отношение, при котором одни господствуют, а другие подчиняются мы и называем государством» (27). Или еще: «Государства прошлого совершенно так же, как и современные, суть комбинации гетерогенных (разнородных) социальных групп, связанных самобытно-искусственной (naturwüchsigkunstvoll) организацией господствующих» (22).

Однако, по мнению Гумпловича, эти определения еще ничего не говорят о сущности государства, они дают лишь общее понятие о его бытии. Для исследования же сущности государства нужно большое число фактов, которые мы должны черпать из иных источников познания. Так, возникает необходимость во втором источнике познания, каковой для Гумпловича и является всеобщая история, «которая, собственно, должна бы быть историей государств, но которая, к сожалению, издавна была почти исключительно историей правителей и войн». «Впрочем, мы можем встретить у историков и кое-какие факты, касающиеся непосредственно жизни государства».

Так, в первую очередь, по мнению нашего автора, история дает нам тот факт, «что все государства, начальное происхождение которых нам известно, произошли путем завоевания, при котором побежденные народы были обращены в рабство». Затем следует факт, свидетельствующий об экспансионных тенденциях всякого государства, т. е. о его стремлении к расширению путем поглощения более слабых государств. И, наконец, история же показывает нам, что всякое государство, как бы могущественно оно ни было, после ряда столетий своего развития и расцвета приходит в упадок и исчезает с лица земли, уступая место другим, более молодым и сильным государствам...



Таковы основные факты, которые дает нам история. Очевидно, что и одних этих фактов все еще недостаточно для построения социологической доктрины государства-общества. Этим фактам недостает объединяющей их связи и, следовательно, при помощи только этих фактов мы не сможем еще понять «глубочайшей сущности» государства. История нам ничего не говорит о причинах и целях возникновения именно этой определенной общественной формы — государства, о движущих силах его развития и о законе, полагающем пределы его развитию.

Но если ни непосредственно созерцание социальных фактов, ни история не могут дать нам всех этих законов, то существует еще один (3-й по счету) источник познания. Это... (слушайте!) — интуиция гениальных мысли телей, которая одаряет нас внезапными мыслями (Gedankenblitze), магическим светом освещающими некоторые загадки нашего мира». Мы боимся в собственной передаче исказить этот «перл» методологии Гумпловича и посему приведем его в изображении самого автора. «Эти интуитивные озарения, — пишет он, — весьма своеобразны. Они встречаются часто у поэтов, но также и у мыслителей. Это ни в коем случае не продукт рефлектирующей работы мысли, но внезапное самовнушение, род художественного вдохновения. Они возникают и приходят, повидимому, из-под порога сознания, и поэтому вся их важность, все их значение часто не сознаются даже самими субъектами, которые их испытали и передали нам. Наоборот, содержащиеся в них истины признаются только постепенно, часто позднейшими поколениями. Сколько подобных озарений содержится в произведениях наших великих поэтов! Сколько житейской мудрости заключено в созданиях художников, которые (создания) являются, однако, порождением внезапного нерассудочного вдохновения!.. Но в течение столетий должны были, конечно, существовать и такие гениальные мыслители, которые имели интуитивные озарения в отношении государства. Всего глубокого смысла этих интуиций сами они не раскрыли, но эти интуиции содержат в себе истины, озаряющая сила которых и спустя столетия освещает проблему государства и позволяет позднейшим поколениям вновь и вновь рассматривать ее в этом освещении, чтобы тем глубже в нее проникнуть» (28—29).

Но, само собой разумеется, далее, что таких «героев души» немного, что они «родятся тысячелетиями», — но интересно, что такими героями, на основании откровений которых Гумплович и пытается построить социологическую доктрину, он считает Аристотеля и Канта. Посмотрим, что же дает этот третий и единственный, по Гумпловичу, не важнейший источник социологического познания или, верней, какие откровения двух названных мыслителей, отделенных друг от друга 2000-летним промежуток времени, Гумплович считает за фундамент социологии.

Два положения, два «гениальных озарения» Аристотеля берет он за первые краеугольные камни своей теории государства. Первое положение, ставшее трионизмом в наше время в силу своей беспоспорной очевидности для всякого человека, мало-мальски объективно подходящего к вопросу о сущности общества, — первое положение звучит: «человек — общественное животное». Гумплович прав, когда он подчеркивает то обстоятельство, что

несмотря на известность этого положения, ставшего «крылатым словом», оно слишком недооценивается социологами. Буржуазные мыслители и в наше время далеки еще не вполне примирились даже с дарвиновским учением о происхождении человека, а признать еще к тому, что человеческое общество возникло из стада питекантропов, — это уж выше их сил, это оскорбляет их «лучшие чувства, делает невозможными их «возвышенные идеалы»...

Сам Гумплович разъясняет смысл этого аристотелевского положения так, что государство есть особый род естественного образования на подобие пчелиного улья или муравьиной кучи и в подтверждение своих слов он приводит второе положение Аристотеля: «государство есть естественный продукт». К сожалению, кроме этих двух мыслей, замечает Гумплович, у великого греческого мыслителя ничего больше позаимствовать нельзя, несмотря на обширность его трактата о государстве («Политика»). А между тем, по образному выражению нашего социолога, «государство не было выстрелено природой из пистолета», т.-е. оно возникло не чудом, не внезапно, а должно было иметь и имеет какой-то генезис, какие-то побудительные причины для своего возникновения. Аристотель не ответил на этот вопрос, ибо он и сам не понимал всей важности высказанных им положений, не понимали этого и его последователи и позднейшие европейские философы, пока не явился Кант. Этот последний, «равный по мощи своего гения первому», дал в своем сочинении «Идея к всеобщей истории во всемирно-гражданском смысле» (Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht—1784), недостающее «изречение оракула», изречение, объясняющее причину появления государства, как особой жизненной формы.

Кант именно, прежде всего, считает вместе с Аристотелем государство естественным продуктом, говоря, что «человеческие действия так же, как и всякие другие явления природы, определяются по общим естественным законам». Но Кант, когда он говорит о создании «основанного на праве гражданского общества» (das Recht verwaltenden bürgerlichen Gesellschaft, вдруг — без пистолета все-таки не обойдешься — осеняет мысль, что для этой цели природа воспользовалась антагонизмом людей, живущих в обществе. Этот антагонизм порождает первоначально «дикое общество» (ungesellige Gesellschaft — собственно «необщительное общество». А. Б.), которое затем и переходит в «основанное на праве гражданское общество». Конечно, это только счастливая интуиция, тут еще нет ясного и определенного содержания, — но это уже задача Гумпловича, который на этих трех вехах и возводит здание человеческого общества.

Вот, примерно, как мудрствует наш социолог дальше. Совершенно верно, что антагонизм, борьба являются причиной, «средством» возникновения общества. Но что это за антагонизм? Между кем и кем происходит эта борьба?.. Только спустя столетие после Канта дала социология на этот вопрос определенный недвусмысленный ответ и тем самым окончательно разрешила тысячелетнюю проблему о происхождении естественного продукта — государства. Социология совершенно отчетливо объясняет, что

государство нигде и никогда не возникало иным образом, как путем враждебного столкновения, по крайней мере, двух героических социальных групп, из которых одна побеждала и покоряла другую, и что развитие государства происходит не иначе, как в постоянной взаимной борьбе этих различных групп» (33).

С этими положениями социология, «предчувствуемая Контом, подготовленная Спенсером», по праву может считаться естественно-научной дисциплиной, выйдя из положения «золушки на юридических факультетах», где она совершенно ошибочно фигурировала в виде юридической дисциплины, именуемой общим государственным правом. «Наука о государстве (Staatswissenschaft), социология—не юридическая дисциплина, она чистая естественная наука, имеющая дело с областью социальных явлений. Ибо государство есть естественный процесс, особый вид того рода процессов, которые разыгрываются в течение круговращения солнечной системы в химических, растительных и биологических явлениях» (35).

Гумплович называет свою теорию, извиняясь за неологизм группизмом и противопоставляет ее индивидуализму и социализму», как двум полярным, взаимно друг друга исключаящим теориям общества. При чем, под индивидуализмом Гумплович понимает те теории государства, которые весь вопрос сводят к индивидууму, которые видят последнюю и высшую цель государства в счастье и благополучии индивидуума. Под термином «социализм»<sup>1)</sup>. Гумплович в данном случае имеет в виду противоположные доктрины, которые своей «путеводной звездой» считают государственную целостность, интересы и благополучие государства, как целого, и которые видят в индивидуумах лишь всецело подчиненные интересам целого элементы.

Обе эти крайности не соответствуют действительности и потому иллюзорны, т.е. не только ошибочны, а просто не научны. «В государстве существуют только социальные группы и так как элементами и факторами процесса государственного развития являются только социальные группы, то только их и следует принимать в рассмотрение, если дело идет о научном исследовании государства (курс. мой. А. Б.)». Эти группы состоят из индивидуумов—это уж дело группы и принадлежит к рассмотрению последней. Для государства важны только группы, индивидуумы же для его понимания совершенно безразличны» (37). Совершенно противно также истинной природе государства и диаметрально противоположная точка зрения, в силу которой государство является единичной совокупностью (einheitliche Gesamtheit), имеет «единую волю» и единую цель и для которого индивидуум, как таковой, не должен существовать.

Справедливость концепции группизма обнаруживается, по мнению Гумпловича, уже на первом вопросе, который ставит теория государства, именно на вопросе о причинах возникновения государства. «Индивидуализм» видит эту причину в деятельности основателя государства, как, например, об этом рассказывается

<sup>1)</sup> Употребляя этот термин, Гумплович оговаривается, замечая, что не прибег к нему лишь в качестве простого противопоставления термину «индивидуализм» и просит не смешивать его с «современным экономическим социализмом»...

предание о Ромуле. Но эти героические сказания, возводящие всякое социальное явление в индивидуальные действия того или иного героя-полубога не имеют под собой почвы, ибо история делается не героями и государства далеко не героического происхождения вообще. Подобным же образом ничего не объясняет в этом вопросе и противоположные теории «социализма», вроде теории общественного договора Руссо... Ибо государство отнюдь не целокупность и индивид, никогда не входит в государство, как в таковое, он никогда не служит и не жертвует собой государству, как целостной совокупности...

Наоборот, группизм легко справляется с поставленной задачей, опираясь на целый ряд конкретных примеров в образовании государства,—больше того, опираясь на всю историю, группизм указывает ясный путь образования и развития государства,—которое всегда возникает из борьбы и антагонизма одной социальной группы (орда завоевателей) против другой социальной группы (автохтонов или туземцев). Достаточно понаблюдать только современность, прилежно читая, например, газеты, чтобы убедиться в справедливости положений группизма, заключает это место Гумплович.

Итак, для правильного понимания природы государства необходимо рассматривать его как комплекс социальных групп. Только именно с этой точки зрения могут быть правильно освещены сущность и развитие государства. Мы уже видели, что в момент образования государства в нем выявляются две социальные группы: группа господствующих или, как выражается Гумплович, конквистадоров (завоевателей) и покоренное население. Однако, во всех государствах без исключения вскоре же после их образования можно констатировать наличие третьей группы—среднего сословия, по терминологии Гумпловича, которое является буфером между повелителями и подчиненными.

По поводу происхождения этого среднего сословия, этой промежуточной группы, существует два воззрения, но истинно, по видимому, заключается в соответствующем синтезировании этих двух воззрений, замечает наш социолог. Так, Лестер Уорд принимает, что среднее сословие произошло под влиянием экономических законов из членов обеих основных групп примитивного государства, развиваясь с течением времени в прототип буржуазии. Другая точка зрения утверждает, что это среднее сословие произошло из чужеземцев, не принадлежащих ни к тому, ни к другому из основных классов. Сам Гумплович склоняется больше ко второму мнению, ссылаясь при этом на авторитет Фомы Аквината. Во всяком случае, какова бы ни была причина происхождения этого сословия, она вполне естественна и обусловлена тем обстоятельством, что этот средний социальный слой отвечает потребностям господствующего класса, ибо при помощи его (среднего сословия) господствующий класс удовлетворяет те потребности, которые не могут быть удовлетворены представителями класса эксплуатируемых, всех этих крестьян<sup>1)</sup>, горнорабочих, пастухов и т. д. Во-первых, необходимо эту сырую массу рабочих физического труда так организовать, чтобы они

<sup>1)</sup> Крестьяне являются, по Гумпловичу, основной составной частью эксплуатируемой группы или класса.

обусловили больший эффект производительности; это достигается, как известно, технической интеллигенцией, которая особенно способствует продуктивной эксплуатации трудящихся масс. С другой стороны, среднее сословие представляет собой мастеров-ремесленников, обрабатывающих сырые продукты, или же торговцев, купцов, при помощи которых происходит обмен продуктами между различными странами. Наконец, этот средний слой имеет и непосредственно политическое значение. Он смягчает те резкие противоречия, которые порою достигают слишком больших размеров между двумя основными классами общества. И при этом, как промежуточный слой, он превращается в козла отпущения, на шкуру которого восставшая угнетенная масса очень часто вымещает все свои обиды и веками накопившееся негодование против угнетателей. В качестве примера Гумплович приводит здесь восстание румынских крестьян (в 1907 г.), от которого прежде всего и больше всего пострадали еврейские арендаторы поместий, за спиной которых стояли, конечно, румынские бояре.

Впрочем, несмотря на столь незавидную судьбу среднего сословия, оно играет в государстве существенную роль: без него организация государства слишком быстро распалась бы, так как обострившиеся противоречия между эксплуататорами и эксплуатируемыми слишком резко выступали бы друг против друга и немилосердно разрывали бы государственные скрепы. «С точки зрения общей организации,—пишет Гумплович,—этот средний слой является, таким образом, необходимым. Естественный процесс, вызывающий его к жизни, работает в интересах общего, вследствие чего, как выражаются неовиталисты, этот процесс целестремителен...» (стр. 60).

Кроме такого разделения социальных групп, какое мы видели выше, Гумплович, далее, устанавливает еще одну форму классификации этих групп: именно, он различает первичные и вторичные социальные группы, при чем под первичными группами он разумеет вышеназванные три основные группы—эксплоататоры, эксплуатируемые и среднее сословие. Вторичные группы образуются из этих основных путем их дифференциации. Так, из угнетенного населения в новое время возникает сословие рабочих (Stand der Arbeiter), а из среднего сословия возникают многочисленные группы на основании профессиональных различий и отношений собственности. Сюда, например, относятся чиновники, духовенство, военное сословие, индустриалсты и т. д. Подобная же дифференциация происходит и в группах господствующих. Здесь, например, появляется знать различных рангов, вплоть до «бархатного» дворянства дореволюционной России. Это непрерывная дифференциация и образование все новых и новых вторичных социальных групп происходит вместе со все возрастающим развитием государства, так как каждое подобное новообразование соответствует той или иной хозяйственной или культурной потребности, приобретающей, однако, с течением времени и социально-политическое значение. Примером такой вторичной группы, получившей в настоящее время уже социально-политическое значение в государстве, Гумплович считает рабочий класс...



Происхождение вторичной группы обусловлено интересами господствующего класса, и последний всегда, прямо или косвенно, является инициатором образования все новых и новых социальных групп. Однако, общая картина жизни государства не меняется от этой дифференциации классов. Основную роль в государстве продолжают играть господствующий класс и среднее сословие, так что с течением времени назревают противоречия между этими двумя последними классами. Пользуясь различными привилегиями со стороны господствующего класса за все услуги, которые оказывает этому классу среднее сословие, оно с течением времени преуспевает в своем интеллектуальном развитии и накапливает большие богатства. Тогда оно убеждается во всех неудобствах опеки господствующего класса и старается высвободиться из-под нее, тем более, что для этой цели третье сословие обладает всеми данными. Накапливая большие материальные и интеллектуальные силы, третье сословие вырастает и в числе, привлекая к тому же еще в качестве союзника народ, т. е. эксплуатируемую массу, которая всегда имеет основное возмущение и восставать против господствующих. Вожди третьего сословия, пользуясь этим обстоятельством, внушают массам народа идеи свободы, равенства и братства и дают целый ряд других «прекрасных обещаний». Так возникает революционное восстание, революция, во время которой третье сословие завоевывает себе те или иные новые привилегии и преимущества, беспощадно надвывая в результате своего союзника, т. е. народ. «Ибо после победы революции, оно (третье сословие) находит более выгодным эксплуатировать народ в союзе с побежденным господствующим классом. Оно мало заботится о том, что привилегии, завоеванные с помощью народа, вырезаны из мяса этого последнего...» (стр. 62).

При этом Гумплович считает, что свои политические цели третье сословие может достигнуть не раньше, чем образуются новые (вторичные) социальные группы рабочих и их теоретиков-агитаторов. Последние, являясь обычно перебежчиками из среднего сословия, обращают затем свои «рабочие батальоны» против самого же третьего сословия, против предательской буржуазии и капиталистов-эксплоататоров.

Но чем сильнее свирепствует социальная борьба между группами, тем надежнее и тверже господствует в государстве абсолютизм.носителем его является монарх, который первоначально был представителем господствующего класса, он вышел из его среды и первое время был только «первым среди равных», ибо тогда все его монаршее достоинство основывалось на большинстве сословных друзей. Им всецело он был обязан, получая во время выборов королевский титул. Однако, с течением времени выборность была заменена наследственностью, а политическая мощь государя становилась все больше и больше, образовав, в конце концов, так называемое первое сословие. Представляя собою отныне «политическую личность» (Ratzenhofer), монарх становится величайшей силой в государстве, он господствует над всеми социальными группами, заключая время от времени союз то с одной, то с другой социальной группой против остальных. И чем больше таких социальных групп имеется в государстве, так надежнее укрепляется абсолютизм. Разумеется, он

не всегда проявляется в брутально-примитивной форме неограниченного монарха,—он умеет маскироваться в конституционализм, парламентаризм, республиканизм, смотря по обстоятельствам. Но, если сегодня монарх управляет «божьей милостью», а завтра «волей народа», то сущность его остается, однако, той же. Он всегда опирается на прочный фундамент потребности масс в авторитете, ибо масса всегда остается одинаковой,—как бы ни развивалось государство, каких бы вышших ступеней оно ни достигало, масса не изменяется. И Гумплович сравнивает государство с пирамидой, вершиной которой является монарх, а неотъемлемым основанием—эта косяная масса. Промежуточные же слои, все эти многочисленные социальные группы, являются прочным цементом, связующим верхушку с основанием и обуславливающим прочность государственной организации.

Из этих промежуточных слоев, стоящих между монархом и массой, кроме среднего сословия, Гумплович отмечает духовенство, придавая ему большое значение. Обыкновенно могущественная церковь становится союзницей абсолютизма, так как этот последний хорошо оплачивает ее услуги. Однако, при случае клерикалы заключают союз с феодалами, чтобы свергнуть ненавистный абсолютизм, при чем под феодалами Гумплович понимает социальную группу, выделившуюся из господствующего класса после кристаллизации монаршей камарильи, или первого сословия. Как бы многочисленны ни были эти промежуточные группы, заполняющие средину государственной пирамиды, решающую роль в хозяйственном и культурном отношении играют, по Гумпловичу, феодалы, буржуазия (третье сословие) и крестьяне. Тенденции развития государства всегда обуславливаются тем обстоятельством, какая из этих трех групп превалирует в государстве.

В развитом государстве эти три группы, таким образом и представляют собой те три основных социальных группы, которые составили государство уже вскоре после его возникновения и среди которых, как уже неоднократно было замечено, происходила и происходит непрерывная дифференциация, особенно усиливающаяся по мере все большего и большего разделения труда.

Частично эти три класса государства, благодаря дифференциации, могут перемешиваться, образуя вторичные группы, как, например, бюрократия и войско, которые вербуются из различных основных групп и которые тем не менее проникают единными профессиональными интересами; или, например, националистические группы, которые с середины XIX века борются под общим флагом национальной идеи. Впрочем, классовые интересы каждой из этих основных групп, несмотря на различную надстройку, несмотря на профессиональную дифференциацию, берут над всем верх, составляя основную природу сущности организованного государства-общества.

Как же живет общество, организованное в государство, в какой социальной процесс разыгрывается в его рамках?—Гумплович отвечает на это весьма лапидарно, как принято теперь выражаться. Этот социальный процесс, отвечает он, состоит из таких действий групп, которые (действия) направлены к дости-

жению интересов каждой группы<sup>1)</sup>. До образования государства эти действия состояли просто из насильственной борьбы различных, еще недифференцировавшихся частей первобытной орды, но после возникновения государства эта грубо насильственная борьба уступает место политике. Гумплович так определяет политику: она есть не что иное, как борьба, которая ведется без применения насилия, а при посредстве мирных средств и способов с расчетливостью и хитростью. По мнению Гумпловича, такое определение политики ни с чьей стороны не встречает возражения, когда речь идет о внешней политике государства, но социолог настаивает на том положении, что и в применении к внутренней жизни государства это определение политики подходит как нельзя лучше. Политика есть политика, рассуждает он, и что бы там не говорили о мероприятиях правительства для достижения целей государственного управления, для поддержания государственного порядка или сохранения народного благосостояния, существо политики, будучи анализировано социологически, всегда остается тем же, т.е. замаскированным применением насилия одного класса, одной социальной группы над всеми остальными социальными группами. «Ибо все мероприятия правительства,—пишет Гумплович,—которые обозначаются как внутренняя политика, суть ведь не что иное как мероприятия одной социальной группы против других и, следовательно, с точки зрения правительства и представляемой им группы это есть внешняя политика, не отличающаяся по существу от всякой иной внешней политики» (70).

Однако, и социальные группы, которые образуют народ, также имеют свою политику, т.е. они также ведут борьбу против господствующего класса, представленного правительством. Нужно заметить, что Гумплович очень мало заботится о терминологии и, употребляя тот или иной социологический термин, он, повидимому, сам не всегда отдает себе полный отчет в его содержании. Так, что, например, разумеет Гумплович в данном случае под понятием «народ», как не выше указанное основание социальной пирамиды, на верхушке которой сидит в той или иной форме монарх. Между тем, понятие «основания социальной пирамиды» идентичное с понятием «массы» вовсе не разобрано Гумпловичем по существу. То у него эта масса выступает как репрезентант стихии человечества (и при этом, что такое человечество?), то социолог утверждает, что это есть совокупность всех эксплуатируемых групп, всего покоренного населения, основной частью которого является крестьянство. Мы попросим поэтому читателя вооружиться терпением и последовать дальше за изложением доктрины Гумпловича, оставляя разбор всех этих столь обычных в буржуазной социологии понятий до второй части нашей работы, где будет дана их критика.

Остальные классы или группы общества примыкают то к правительству, то к народу, смотря по обстоятельствам и сообразуясь со своими групповыми интересами. И если случится, что

<sup>1)</sup> По-русски это получается, может быть, и не совсем лапидарно, но в тексте подлинника это место звучит так: „Der soziale Prozess, der sich im Rahmen des Staates abspielt, besteht aus interessengemässen Handlungen der Gruppen“ (69). Курсив мой. А. Б.

правительство останется в одиночестве, то его судьба решена — победа революции (при чем Гумплович берет это слово в кавычки, как, очевидно, понятие, чуждое естественно-научному методу, которым он претендует пользоваться в социологии) обеспечена.

Итак, существует только групповая или классовая политика, которая имеет своей целью увеличение могущества данной группы и достижение и охранение благодаря этому ее интересов, ее материальных и духовных потребностей. Эта истинная цель политики или скрытой групповой борьбы совершенно открыто выражается только низшими малокультурными группами, высшие же классы и группы всегда стараются так или иначе замаскировать непосредственные цели своей борьбы. Они, именно, выставляют и проklamируют идеальные цели, совокупные интересы государства... Так возникает идея «республики» (что в буржуазном переводе означает «общественное дело»), идея «отечества» и т. п. При этом идеи эти сопровождаются, разумеется, целой идеологией, — «отечество», например, требует самопожертвования, верности правителям и правительству, национальной гордости и храбрости и прочих «высочайших добродетелей». А так как каждому государству всегда угрожают те или иные внешние враги, то необходимо создать институт защитников отечества, охранителей государства, армию, которая, кстати, является надежным оплотом в руках господствующего класса и против «врагов внутренних». Конечно, одним скудным жалованием<sup>1)</sup> не удовлетворишь многочисленных защитников отечества, им по-этому нужно насаждать или попросту вбивать — так как в рабочих душах подобные идеи плохо прививаются — любовь к отечеству, верность монарху, беззаветную преданность начальству, готовность умереть «за веру, царя и отечество» и все прочие моральные атрибуты «серой скотинки». Дело это, конечно, трудное, но на помощь приходят поны с их религиозной идеологией, с их проповедью благочестия, покорности «предержавшим властям», с идеей «помазанника божия», в силу которой земной государь получает мандат от царя небесного и т. д., и т. п.

Проповедь попов тем более удается, что наряду с церквями государство покровительствует и даже непосредственно воздвигает всякого рода притоны, где масса одурманивается всевозможными наркотиками: алкоголем, опиумом и т. п., — между тем как школы и прочие средства и способы народного образования всячески заперцаются или так контролируются и организуются, что никакой живой мысли в них не услышишь, тогда как внедрение идей «страха божия», «ада кромешного», «благонравности», «греховности», «сверхъестественного откровения» и прочей белиберды процветает во-всю. «Эта политика, — заключает Гумплович, — держится долгое время и достигает желаемого результата: необходимой пасивности масс как прочного фундамента государства».

Но вечного ничего нет в этом мире, и как бы ни старались правительства сохранить государственный порядок навсегда, он рано или поздно взрывается. Образованность среднего сословия прогрессирует все больше и больше, чтобы, наконец, превр-

<sup>1)</sup> Это жалование первоначально называлось Sold, — откуда и происходит слово солдат, одинаковое, кажется, во всех европейских языках.

таться в идеологию, совершенно враждебную идеологии господствующего класса и подрывающую в корне его моральный престиж. Все эти возвышенные и святые идеи трона, помазанника, отечества и пр. об'являются как ложь и лицемерие, беспощадно бичуются критикой революционных писателей и вождей, пока, наконец, не вспыхивает народное восстание. Однако, если до сих пор все так хорошо и гладко шло у нашего социолога в описании социального процесса, то сейчас мы приведем место, которое прямо-таки повергает в уныние читателя в силу своей ученой бесшабашности. «Масса следует этому призыву (т. е. революционным лозунгам третьего сословия. А. Б.) не потому, что как раз все эти обоснования и объяснения среднего сословия просвещают ее, но именно потому, что представляется случай для насильственных действий, которые ей особенно по душе. Равноправны ли люди или нет, должно ли государство иметь конституцию или нет, — это для массы безразлично. Стремление к убийству и грабежу — вот единственно, что ее воодушевляет» (73).

Помимо того, что самое понятие массы смутно и неопределенно, уже самая постановка вопроса об этом *deus ex machina* социологии, абсолютно не имея ничего общего с научным методом, обеспечивает все социологические построения Гумпловича, порой, как мы видели, не лишённые остроумия и даже социальной правды. В самом деле, представлять себе величайшие исторические процессы революционного движения классов в таком, можно сказать, мистическом свете, когда вместо реального соотношения классовых сил в революционной борьбе видят только «стихийные силы природы» — представлять себе так дело, повторяем мы, может только человек, или совершенно незнакомый с житейской практикой и никогда не участвовавший в общественной борьбе, или же совершенно свихнувшийся в тиши своего ученого кабинета и променявший истинный объективно-научный метод на заумный метод социальной астрологии.

Однако, дальше. Взубушевавшаяся масса, подобно бурной морской стихии, обрушивается на господствующий класс и на его государственную организацию, беспощадно ломая и уничтожая все на своем пути. — настолько беспощадно и слепо, что и третье сословие скоро проникается священной ужасом и трепетом за свою судьбу, за свое благополучие. И оно ищет способа, как бы снова утихомирить этих ужасных духов разрушений и произвола, для которых существует только одно наслаждение в жизни — бродить по колену в крови своих врагов. Обыкновенно, разумеется, способ этот так или иначе находится: диктатура, дурриация, цезаризм в той или иной форме полагают, наконец, предел «духу разрушения». «В потоках крови восстание массы подавляется, и снова воцаряется порядок». Но этот порядок никогда не может длиться до бесконечности, так как всякий порядок служит помехой для развития. Ведь порядок обозначает устойчивость, стабильность общества, между тем как последнее всегда должно развиваться, всегда должно пребывать в движении. Развитие, таким образом, является врагом порядка и, следовательно, как бы ни казались беспечными и печальными стихийные восстания масс, в море крови низвергающие на время порядок, чтобы он, однако, снова восторжествовал, — они так же естественно необходимы и потому оправданы, как землетрясения, извер-

жения вулканов и т. п. стихийные явления природы. Больше того, «беспрерывный поток развития» есть закон всей природы и особенно человеческого общества, тогда как явления порядка, организации суть лишь краткие, мимолетные паузы для отдыха.

Каждый век социальная эволюция создает все новые и новые классы и группы, которые устремляются против существующего порядка, чтобы затем опрокинуть его вышеупомянутым способом. Наиболее новым из таких классов, которые служат развитию, которые двигают историю—является класс промышленных рабочих. Происхождение этого класса рисуется Гумпловичу в довольно упрощенном виде<sup>1)</sup>. Стремление к наживе, рассуждает он, притягивает дух изобретателей, которые создают крупную индустрию. Последняя притягивает к себе рабочие массы, которые очень скоро вступают в борьбу с предпринимателями, так как их интересы противоположны. Там же, где сталкиваются противоположные интересы двух социальных групп, всегда не замедлит появиться «смеющийся третий», по образному выражению Гумпловича. Этот третий, раздувая социальную классовую борьбу до возможных пределов, становится затем вождем рабочего класса и ведет свои рабочие батальоны против капиталистов. Снова находят лозунги для воодушевления рабочих масс, на этот раз уже несколько иные по форме: рабочие именно требуют «наследства», которое было отнято у них насильственным путем крупными собственниками. Иначе говоря, снова выдвигается требование уравнивания социального неравенства, при чем это требование в той или иной форме удовлетворяется в конце концов, в государственной организации, общественному порядку полагается конец. Так как ведь только на неравенстве и держится государственная организация. Снова врываються хаос и анархия, чтобы затем уступить место следующей по очереди исторического развития государственной организации, как организации наследия одной группы над всеми прочими.

Такова общая схема социального процесса, разыгрывающегося в обществе, организованном в государство. Социолог придает этой схеме значение алгебраической формулы, утверждая, что многообразие форм социальных процессов бесконечно, но что «дух, который в них живет, сила, которая приводит их в движение, остаются всегда одни и те же».

В каком же, спрашивается, отношении находится социология или теория общественной жизни к практике этой жизни или к политике? Часто полагают, говорит Гумплович, что социология должна давать правила и нормы для практической политики,—но это положение можно принять только с большими ограничениями. По Гумпловичу, вообще является неправильным то положение, что теория во всех областях жизни и природы должна создавать правила и нормы для практики. Только в отдельных весьма редких случаях это имеет место: например архитектор предварительно чертит план, делает теоретические расчеты и измерения и уже потом, на основании его проектов в строгом с ними соответствии, рабочие возводят здание. Но обыкновенно бывает как раз наоборот, обыкновенно «теория»

<sup>1)</sup> Впрочем, он отсылает читателя в этом месте к I тому «Капитала» К. Маркса.

лишь ученица практики». Поэты не следуют теории, а между тем мы учимся у них стихосложению,—то же самое можно сказать про живопись. И если иногда на основании творений великих мастеров и создается та или иная теория живописи, поэтики и т. п., то обыкновенно какой-нибудь гениальный художник или поэт становятся новаторами и беспощадно ломают теоретические основания старых доктрин. То же самое имеет место и в естествознании. Здесь также теория извлекает из наблюдения естественных процессов те или иные законы и правила, однако последние распространяются лишь на прошедшее и настоящее время, — только в редких случаях эти законы являются «ключами к будущему». Что же касается изменения, преобразования естественного процесса, то никакая теория здесь ничего сделать не может.

Читателю уже, вероятно, ясно, для чего нужны эти рассуждения нашему социологу. Ведь социальный процесс является для него одним из видов естественного процесса и, следовательно, всякая теория общественного развития может лишь иметь ретроспективное значение, т. е. она может сделать ряд выводов и даже законов, устанавливающих жизнь человеческого общества в прошлом и настоящем, она может даже наметить общий путь будущего развития общества, но изменить она ничего не может. «Так же мало, как Ньютон или Коперник,—пишет Гумплович,—могут изменить путь планет, который они исследовали и узнали, так же мало даже самый гениальный государственный человек (по нашему—общественный деятель, «личность» А. Б.), которого историки и журналисты прославляют как «руководителя истории народов»—может изменить направление социальных движений и развития человечества. Ибо в политике только кажется, что отдельная личность направляет движение целого: на самом деле, эта личность сама направляется в своих действиях общим течением целого» (155).

Одной из причин, почему так мало знают о государстве, почему все еще нет (читай: в буржуазной науке А. Б.) подлинной научной теории государства, является, по мнению Гумпловича, то обстоятельство, что исследователи-социологи обыкновенно рассматривают государство für sich, совершенно отвлекаясь от всего человечества, «все равно как если бы ботаник описывал и объяснял яблоко, совершенно не считаясь с самой яблоней». Между тем, поэтическое озарение Фрейлиграта,—а такие озарения важнее всего для Гумпловича,—давно гласит:

Am Baum der Menschheit drängt sich Blüt' an Blüte...  
(На древе человечества цветок к цветку теснится).

По сему случаю Гумплович спешит в не менее поэтической (но научной ли?) форме заключить, что «государство является как бы плодом на древе человечества», и считает, что в этом образе лежит «глубокая социологическая истина: нельзя выразить более удачно отношение государства к человечеству».

И наш социолог, стремясь восполнить этот пробел в исследовании государства, подробно останавливается на выяснении отношения государственной общественной формы к человечеству, как к единому органическому виду. Прежде всего, следует установить,

рассуждает Гумплович, примат человечества по отношению к государству, т.-е. закон, гласящий, что человечество является первоначальным явлением, тогда как государство есть уже нечто производное. Больше того, *post hoc—ergo propter hoc*: «по закону причинности (! А. Б.) наших мыслителей мы можем считать человечество причиной, а государство—следствием, ибо очевидно, что без человечества не существовало бы государств» (41). Мы не будем здесь заниматься критикой этого вульгарного и схематического понимания причинности,—заметим лишь, что оно не удовлетворяет и самого Гумпловича. Объявив человечество причиной (в вышеуказанном смысле) государства, он тотчас же прибавляет: «наша потребность знания (*Erkenntnistrieb*) не удовлетворяется таким общим констатированием... Тотчас же возникает вопрос: есть ли возникновение государства из человечества случайным, произвольным или же, наоборот, необходимым акт?» (41).

Все источники познания, какие знает Гумплович (а он их знает, повторяем, три: 1) непосредственное наблюдение из окошка и чтение утром газеты за чашкой кофе, 2) исторические книжки, 3) озарение мудрецов и поэтов), говорят очевидно за то, что государство и, следовательно, его возникновение есть естественно-необходимый факт. Мы об этом уже, собственно, говорили, но дело в том, что Гумплович идет дальше. Всякий естественно-необходимый факт, рассуждает Гумплович, сталкиваясь с естественно-необходимым явлением, с полным правом (! А. Б.) ставит вопрос: для чего служит оно? (то или иное явление). Какую цель оно преследует?.. «Подобный вопрос во всяком случае научно оправдывается тем, что ответ на него служит прежде всего для лучшего познания соответствующих фактов...» (42).

Может быть бы еще и можно было кое-что выковырять из этого, вообще совершенно ложного, положения, неоправданного никакой естественной наукой, если бы Гумплович не привел примера, который делает его положение по меньшей мере смешным и в корне подрывает всю его методологию. В доказательство этого своего положения Гумплович именно приводит такой пример. Когда ботаник видит у растения усики, то он ставит вопрос: для чего служат они? И уже ответ, что усики служат для того, чтобы цепляться, объясняет во всяком случае сущность этого естественного явления и даже сущность самого растения, как растения лазящего и, наконец, сущность усика, как органа лазания. «Следовательно, постановка целевого вопроса по меньшей мере является важным методологическим и эвристическим основоположением научного исследования» (42).

Гумплович все время ратует за научный метод исследования. Но где же тут наука, если я, желая, например, исследовать свойства пробки, пойду в пивную вместо физической лаборатории и поставлю целевой вопрос: для чего служит пробка?—и тотчас, конечно, отвечу: для закупоривания бутылки, чтобы пиво не разливалось зря, а попадало в определенное место моего организма... Конечно, не боги горшки обжигают, но судите сами—в пивной физические законы, насколько известно, еще никем не открывались и не обосновывались...

Впрочем, вопрос о цели является у Гумпловича в несколько более сложной форме: он, именно, в другом месте утверждает вещи, совершенно обратные только что развитым положениям.

Чтобы не возвращаться к этому вопросу вновь, позволим себе здесь сделать отступление. Вопрос о цели всегда играл чрезвычайно важную роль в социальных науках и всякий социолог уделяет ему не мало места,—посвящает несколько глав этому вопросу и Гумплович. Он прежде всего устанавливает понятие мировой цели (иначе говоря, конечной цели мироздания), государственной цели и цели жизни (в общепсихологическом смысле «жизни»), решительно утверждая, что эти цели нам неизвестны и никогда не могут быть известными. Если, пишет он, биологи и говорят о цели какого-нибудь отдельного органа данного организма, то цель всего организма никогда не может быть найдена биологией. Это положение повторяется во всех областях человеческого познания: мы можем определить и устанавливать относительные цели частей целого в отношении этого целого, но определить цель самого целого невозможно. А это подрывает и вообще значение целевого вопроса, по мнению Гумпловича, ибо если неизвестна цель целого, то нет никакого смысла говорить о целях его частей: ведь, все равно, рассуждая по целям, мы упрямся, наконец, в факты, недоступные целевому объяснению. Это уже ясно из того, что сама цель мироздания нам никогда не будет известна и, следовательно, целевое объяснение всегда иллюзорно, заставляя нас рано или поздно «удариться головой о стену необъяснимого». Но этого мало, нам не в большей степени известна и цель самой жизни и если мы иногда, и даже часто, все же ставим или стремимся найти цель того или иного явления, то это есть лишь способ нашего мышления, один из антропоморфизмов, от которых несвободно никакое человеческое знание уже по одному тому, что оно—человеческое. Исследуя объективно явления природы,—а общества как особого социального явления, стоящего над физической природой. для Гумпловича не существует,—мы всегда обнаружим только цель естественных причин и действий, и если мы подсовываем под эту цепь определение цели, то это происходит вследствие того, что мы объясняем причинную связь явлений по аналогии с нашими действиями и поступками, которые всегда для нас в той или иной мере целесообразны.

Так, механика государственного аппарата основана, как мы уже знаем, на антагонизме социальных групп, и Гумплович понимает диалектику государства этого «социального процесса природы». Под развитием и преуспеянием государства, правильно трактует он, не следует понимать процветания всех социальных групп, образующих государство,—нет, процветать может только совокупная жизнь государства, государство как целое; неравное же положение социальных групп является необходимой предпосылкой, предварительным условием для образования и сохранения государственности, т.-е. государственной формы человеческого общежития. «В намерение природы входит только образование совокупности, сохранение которой обусловлено неравным положением ее элементов, т.-е. социальных групп» (47). Или другими, весьма знаменательными для нашего времени словами: для природы важнее, «ближе к сердцу» организация ее элементов, чем сами эти элементы. Это вполне подтверждает биологический закон самосохранения, слепо и грубо действующий в интересах целого по отношению к составным частям этого

целого, в частности по отношению к социальным группам общества.

Можно было бы сказать, поэтому, что социальные группы относятся к государству как средство к цели, но понятие цели есть лишь необходимый вспомогательный прием (Notbehelf) человеческого мышления, выступающий всюду, где мы видим какое-нибудь следствие (особенно если оно выгодно для нас) естественной деятельности. В этих случаях мы, в силу самого образа действия нашего мышления, приписываем всегда природе определенное намерение, которое в сущности априори являлось для нас целью. Фактически, например, нам известно только, что там, где встречаются социальные группы, мы видим, как следствие, появление особой организации—государства. Но так как для человека, вообще говоря, жизнь в государстве выгоднее, целесообразнее,—то он и устанавливает целевую схему: природа для пользы и назидания человеческому роду воздвигает из разрозненных и враждебных социальных групп здание государства. Совершенно подобным же образом мы усматриваем, например, цель государства в создании национальности, материальной и духовной культуры и вообще во всем том, что принято называть развитием и прогрессом человеческого общества.

Гумплович особенно нападает на телеологическое объяснение явлений потому, что одним из эксцессов, как он выражается, этого антропоморфизма (т. е. телеологического объяснения) является представление о творце мира. В самом деле, если все должно иметь свою цель, если все «так целесообразно и разумно устроено», то очевидно, что это возможно лишь при наличии всемирного устроителя-организатора. Но, возражает Гумплович, одно из двух: или этот устроитель большой дурак, который далеко не все устроил целесообразно, или же этот всемирный разум преследует такие цели,—каким-нибудь землетрясением или мором,—которые нашему слабому уму совершенно не доступны. Но в последнем случае мы приходим к такому образу мышления, посредством которого можно объяснить все, но которое совершенно несвойственно ни человеческому знанию вообще, ни науке в особенности.

Однако, с другой стороны, постановка целевого вопроса имеет моральное значение,—она доставляет человеку утешение в его печальной судьбе, так как если мир и не имеет цели или по крайней мере эта цель нам неизвестна, то все же не следует впадать в пессимистическое отчаяние о ничтожестве существующего мира, о бессмысленности бытия,—так как мы можем и должны иметь цель нашей индивидуальной жизни. И если мы имеем эту цель, то для нас уже становится совершенно безразличным, существует ли мировая цель, так как с этой нашей индивидуальной целью, которая состоит в удовлетворении или в стремлении к удовлетворению наших столь различных интересов и потребностей как материальных, так и духовных порядка, мы можем и должны с достоинством прожить нашу жизнь. «Пессимизм в отношении мировой цели вполне уживается с оптимизмом в (частной) жизни—оптимизмом, который является плодом достижения разумных целей жизни. Именно в них, в этих целях, дело: такие цели человек должен иметь, если он не хочет погибнуть» (83). Таким образом, Гумп-

плович придает большое значение частным относительным целям, побуждающим и направляющим деятельность как отдельных индивидуумов, так и социальных групп. При чем, чисто индивидуальные цели Гумплович совершенно исключает из своего рассмотрения, отсылая читателя по этому вопросу к психологии,—он имеет дело лишь исключительно с целевой деятельностью общественных групп.

Несомненно, что все эти бесчисленные цели, как индивидуальные, так и групповые, можно привести к общему знаменателю или вывести из одного источника, а именно, из стремления к удовлетворению прирожденных потребностей. Но если индивидуальная цель обусловлена всегда слишком пестрым переплетом темпераментов, склонностей, расположений и персональных отношений, вследствие чего объективное знание просто не может с ними справиться, не может их охватить, то групповая цель представляет из себя нечто совершенно объективное. «Это уже вполне определенные величины; деятельность групп, направленная на их достижение, образует содержание групповой политики, основные положения которой поэтому могут стать предметом научного исследования и познания, как это прекрасно показывает политика Раценгофера» (92).

При исследовании групповых или классовых целей нужно прежде всего заметить, что, какими бы нарядными идеологическими покровами их ни одевали, сущность их всегда состоит в одном, а именно—в достижении наибольшего могущества данной группы. Есть, собственно, только одна цель у всех общественных групп: это цель могущества или власти (Machtzweck). Ни одна группа в целом не сознает, разумеется, этого, ибо человек всякий раз, когда он действует без внешнего принуждения, считает, что он действует свободно и по собственному усмотрению. самостоятельно ставя себе цели.

Субъективно человек обыкновенно не видит, не понимает, что социальная группа, к которой он принадлежит, подчиняется строгому естественному закону борьбы за власть, за могущество. за более богато уставленное место у жизненного стола. Еще Спиноза прекрасно высказал эту мысль в своем примере с камнем, который обладал бы человеческим сознанием, но, однако, не знал бы закона всемирного тяготения. Этому камню тоже казалось бы, что он падает на землю или разбивает голову человеку по своей доброй и свободной воле, что таков смысл и цель его существования. Человек же, как существо, мыслящее и обладающее большой фантазией, одевает свою кажущуюся свободу всякого рода фикциями: то он выдумывает волю творца, то категорический императив, то еще что-нибудь, лишь бы возможно подробнее обосновать и оправдать свою свободу и тем выделить себя из подчинения железным законам природы. Так возникает философия, религия, этика, философия истории и т. п.,—все они имеют своим назначением скрасить существование человека высокими целями, поддержать его телеологический самообман. Но все это только воздушные замки, ибо каждый человек в отдельности, принадлежа к той или иной группе, всецело находится во власти этой группы, всецело подчинен ее принципам и идеологии. Разумеется, тот или иной человек может не подчиниться принципам своей группы и не признавать вообще



никаких принципов, но тогда он будет изгнан из своей группы и превратится в ничто, так как в обществе всегда необходимо принадлежать к какой-нибудь группе,—так как один в поле не воин...

Об'ективно же в жизни общества имеет место известная уже нам картина: каждая группа имеет те или иные потребности, она заинтересована в их наиболее полном удовлетворении, а так как природа является мачехой по отношению к человеку, то каждой группе приходится бороться за эти интересы, достигать определенных целей, которые выражаются в идеологии данной группы или в ее принципах. Поэтому, сколько существует социальных групп, столько и идеологий имеется в обществе.

Однако, вернемся к вопросу об отношении государства к человечеству. В доисторическое время, когда еще человечество не пришло к государственной форме организации,—это было необычайное множество человеческих орд и родов (Stamm), которые во многих отношениях различались друг от друга, хотя все одинаково принадлежали к виду homo sapiens. Нормальным состоянием таких орд была постоянная смертельная ненависть и враждебность друг к другу, часто доходящая до каннибализма. Миф об убийстве Авеля Каином, нахождение человеческих костей, разрубленных с целью извлечения костного мозга для лакомства,—все это доказывает справедливость высказанного утверждения. Но кое-где уже и тогда это «дикое» (как вичича Гумпловича) состояние заменялось тем, что та или иная орда, подчинив себе другую, заставляла ее работать на себя, создавая таким образом первоначальную форму организации господства (Herrschaftsorganisation), зародыш государства.

По мнению Гумпловича, стоит только сравнить этот первый росток государственности с первоначальным «нормальным» состоянием орды, чтобы «цель государства и намерение природы сами выпрыгнули в глаза,—как выражается по-немецки для лучшей убедительности. Государство именно служит для лучшего сохранения вида homo sapiens, охраняя и поддерживая человеческую жизнь в пределах области, подчиненной данной организации господства, и доставляя этим господствующей группе лучшие условия жизни, чем в первобытной орде. «Таким образом, пишет Гумплович, государство есть взлелеянный (hervergetriebenes) природой орган, обуславливающий собой как сохранение вида, так и установление лучших условий жизни сперва лишь для относительно малой социальной группы, но затем и для все более широких кругов» (44). Совершенно подобно тому, как у других организмов (животных и растений) различные органы служат как для сохранения вида, так и для его преуспеяния, и государство служит для сохранения и преуспеяния человеческого рода. Такова уж, по выражению Гумпловича, политика природы. И, что самое важное, эта «политика природы» остается в принципе совершенно неизменной на всем протяжении истории. Пружинной дальнейшего развития государства является то же самое стремление все более и более широких социальных групп к улучшению условий своей жизни. Это улучшение жизненных условий все большего и большего числа социальных групп и является основной целью общественного развития. Достижение этой цели и есть «функция государства, как органа человечества».

Однако, как и всякое средство, государственная организация стареет и разрушается в отдельных участках человечества, там и тут оно, как шелуха, спадает с поверхности человечества... «только последнее (т.е. человечество) пребывает,—государство же есть нечто преходящее». Однако, читатель ошибется, если заключит отсюда, что Гумплович приходит к теории отмирания государства: концепция его совершенно иная. Большинство людей, рассуждает он, не понимает, что представляет собой в сущности государство, не понимают его назначения и преходящей природы, наоборот, обыкновенно мыслят себе дело так, что форма и сущность государства все прогрессирует, что на смену огромному числу мелких и враждебных государств приходят все большие и большие государства, меньшие числом и уже не столь воинственные. И, наконец, эти огромные государства кончат тем, что сливаются в единое государство всего человечества без различия рас и национальностей.

Но трезвая наука не имеет никаких оснований для подобных фантазий на счет будущего—правильно замечает Гумплович. Означенные фантазии представляют процесс развития человеческого общества в виде бесконечно-прямой линии, постоянно восходящего развития,—но вся история с очевидностью показывает нечто совершенно обратное. Наблюдая историю различных государств и народов, мы видим постоянное чередование расцвета с упадком, рождения со смертью,—мы обнаруживаем здесь с несомненностью циклический путь развития и распада, необозримое колебание возникновений и закатов. Исходя из этого факта, а наука не может исходить не из фактов, мы совершенно иначе должны рисовать себе планы будущего социального развития. Постоянно повторяющийся цикл или круг определенной совокупности социальных явлений начинающихся с зарождения того или иного государства и кончающихся его смертью,—вот всеобщий и неизменный процесс истории, как в прошлом, так и в будущем. Стоит только подумать, прибавляет для убедительности Гумплович, о Вавилоне или о государстве Хаммураби, о древнем Египте и государстве фараонов или о Перу с его государством инков, о Мексике с ее государством ацтеков, о Элладе и Риме, наконец!.. Везде и всегда мы видим основание государства через завоевание и порабощение, везде имеет место организация властителей, разделение труда, культура, цивилизация с искусством и наукой и, наконец, закат и окончательная гибель!.. Таковы с неизменной правильностью повторяющиеся, так сказать, стереотипные этапы естественного процесса, известного под именем государственного развития. Ничего принципиально нового история не привносит и привнести не может.

Впрочем, не одни исторические факты убеждают нас в этом. Если мы обратим внимание на характер явлений из других областей знания, то и там всюду мы обнаружим этот же самый циклический характер. Разве не цикличны в самом деле движения, происходящие в солнечной системе или геологические явления? Разве не цикличны все биологические процессы?—«Уже одни эти соображения, пишет Гумплович, должны настроить нас против континуума социальных явлений природы». Популяро-вуль-

гарные воззрения континуизма, т. е. теория непрерывного прямолинейно-восходящего процесса социального развития (теория прогресса) должна уступить место теории циклазма, как имеет Гумплович, только что развитые воззрения, высказанные еще, правда, задолго до него, например, Соломоном<sup>1)</sup> и изычно представленные в последнее время Анатоном Франсом в его «Острова дингвинов», этой неподражаемой сагире нашего времени. Мы не станем цитировать слишком длинных для нашей статьи заключительных страниц этой книги А. Франса, отсылаем к ней читателя и ограничимся напоминанием отрывка «О будущем» из его литературного наследия, опубликованного М. Кордэ: «... народы пережили рост, расцвет и упадок. Правда, эти этапы не вполне ясно рисуются нам: в юности народа мы уже наблюдаем много зрелости; а в его дряхлости—еще много молодости. Но если каждый народ обегает свою кривую, не является ли и вся история только непрерывным повторением?». Слова эти написаны великим французским скептиком уже совсем в наши дни, и вместе с знаменитым изречением древнего мудреца они показывают, насколько живуча теория циклического хода истории и относительно-скептического мировоззрения вообще... В другом месте<sup>2)</sup> я стараюсь показать социальный смысл подобных теорий, и ниже коснусь этого вопроса в отношении социологической доктрины Гумпловича.

Здесь же пока я должен показать еще один методологический кунштштук нашего социолога. Гумплович именно заканчивает свою теорию циклазма, как истый логик. Он исходит из той верной презумпции, что различные части одной последовательно построенной и логически выдержанной теории должны поддерживать и подтверждать друг друга. При чем, это их взаимное подтверждение, их логическая обусловленность может служить пробным камнем цельности и истинности системы. Гумплович выкидывает поэтому такой фортель (я не нашел иного выражения для излагаемого далее мыслительно-словесного ухищрения социолога). Роковой или, наоборот, благоприятствующий момент, рассуждает Гумплович, всякой исходной точки зрения всякого теоретического базиса социологии заключается в следующем: любое образование природы обладает вполне определенной продолжительностью жизни, соответствующей структуре данного образования. Долговечный поугай, например, обладает иной анатомической структурой, чем недолговечная курица. Если теперь применить это правило к обществу (о наука, клятвоприсягнув защищать тебя, вместо того изнасилуют сейчас бесцеремонным образом!..),—то мы сразу обнаружим в государстве все признаки, говорящие в пользу циклическости его явлений. Гумплович пишет: «государство в силу своей социальной структуры предназначено для определенного жизненного пути, совершенного так же, как, например, человек в силу своей анатомо-физиологической

1) Мы читаем в Эклезиасте: «Суета сует—все суета». Что за выгода человеку при всех трудах его, что трудится он под солнцем? Одно поколение отходит, другое поколение приходит, а земля вовеки пребывает... Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться... Что было под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «Смотри, это новость, но то было уже в веке, бывшем прежде нас».

2) См. мою работу о Пуанкаре.

ческой структуры предназначен для среднего человеческого возраста» (54).

Какие же анатомическо-социологические признаки усматривает Гумплович в государстве, чтобы оправдать циклическость последнего. Во-первых, образование государства из двух гетерогенных групп на почве беспрестанного антагонизма, как мы это выше видели. Во-вторых, численное неравенство между группой господствующих и группой подчиненных или подвластных (по-нашему, эксплуататоров и эксплуатируемых). Последние всегда составляют большинство, угнетаемое господствующим меньшинством при посредстве «политического искусства». Однако, угнетаемое большинство с течением времени в силу своей все более и более растущей численности начинает угрожать своим угнетателям и свертывает их, ломая всю государственную организацию, которая имела целью подавлять большинство, держать его в узде покорности меньшинству. В конечном счете разрушение это происходит в силу того обстоятельства,—которое, кстати, и является третьим анагомическим признаком определенной продолжительности жизни государства,—что угнетаемое большинство становится все более и более культурным. Оно, ведь, находится в непрерывном общении с меньшинством и не может поэтому не приобщиться к плодам культуры, доступным в начале только представителям господствующего класса. А так как политическое искусство, на котором только и держится государство, основано на культурном неравенстве большинства и меньшинства, то ясно, что по мере сглаживания этого неравенства государственная организация должна распасться. Ведь политика становится все более и более трудным «искусством», пока, наконец, не сделается вещь совершенно невозможной, в силу одинакового культурного уровня социальных групп... Таким образом, уже в самом зародыше государства скрывается весь его жизненный путь, резко ограниченный определенным циклом развития.

Гумплович резюмирует свои выводы об отношении государства к человечеству в следующих поэтических выражениях: «так, только отдельные моменты в жизни человечества представляют собой государство, они—только культурные оазисы в бесконечной пустыне человеческого рода» (56). И если сопоставить миллионы лет существующее уже человечество со сравнительно недавнего происхождения государственной организацией,—то станет ясно, как мала еще культурная работа государств над сырой, дикой массой необъятного человечества! Мы обыкновенно склонны переоценивать значение этой культурной работы, а между тем, эфемерное существование государственной формы человеческого общества ясно показывает, что наши социальные идеалы, наша вера в творческую мощь человечества, в его доброе начало—есть лишь утопия, столь же далекая от реальной действительности, как и все представления наивного реализма далеки от научных представлений. Человечество, вопреки нашим обычным воззрениям, представляет собою следую стихию, безусловно враждебную организаторским тенденциям государства. «Подобно тому, как пески пустыни стремятся засыпать оазисы, и море—поглотить острова, так и человечество с нетерпением ждет и ищет случая, чтобы уничтожить государство».

Конкретно эта враждебность человечества по отношению к государству осуществляется через массу, которая является «по Гумпловичу» «представителем человечества в государстве», воплощением стихийности и хаоса в организующих рамках государственного начала. Именно эта-то столь пресловутая в буржуазной социологии масса ведет вечную борьбу с государством. Однако, государство, несмотря на разрушительную работу слепой стихии человечества все вновь и вновь начинают свой Сизифов труд, стремясь насадить государственную культуру хоть в маленькой частичке человечества, хоть часть пустыни превратить в цветущий оазис. И перед нами возникает один из вечных проклятых вопросов: кто же, наконец, победит? Удастся ли государству в конце концов культивировать, организовать хаос человечества, или, наоборот, масса с корнем вырвет когда-нибудь все ростки государственности и культуры? Или, может быть, в плане природы начертана вечная борьба между обоими соперниками, как это мы усматриваем в других областях природы? Гумплович, повидимому, склоняется к последнему мнению, хотя и считает, что задачей социологии является установление твердых основоположений для макроботики государства, которая, подобно тому как медицина удлиняет жизнь отдельных людей, смогла бы возможно дольше продлить существование государства. Гумплович, таким образом, не впадает в фатализм и не поддается скепсису отчаяния...

## Крестьянство как класс в работах Маркса и Энгельса.

В. Борзенко.

(Окончание.)<sup>1)</sup>

### IV.

Какова же классовая сущность крестьянства? Только что было показано экономическое положение крестьянства и его развитие в капиталистической среде. Оно было бы загадкой без ясного понимания экономики крестьянства, как пережитка докапиталистической структуры. Точно также непонятными остались бы и классовые отношения крестьянства без анализа их классового прошлого—производственных отношений непосредственных производителей. Этим объясняется и оправдывается необходимость генетического подхода при анализе крестьянства родоначальниками марксизма.

Непосредственные производители являлись классом своего общества. Они занимали определенное положение в его системе производства. Система распределения средств производства, определяющая все остальные экономические отношения общества, включала их в качестве необходимого элемента. В их непосредственном владении находились средства производства. В основе личного владения средствами производства лежал их личный труд. Включение непосредственных производителей в систему распределения средств производства данного общества конституировало их как класс этого общества.

С переходом непосредственных производителей в капиталистическую среду положение радикально изменилось. Производственные отношения буржуазного общества: наемный труд, капитал, поземельная собственность, не включают в себя личной собственности, основанной на личном труде. Прямо обратное—они исключают возможность существования такого отношения производства. Соответствующая системе распределения средств производства (труду, капиталу, поземельной собственности), система распределения общественного продукта,—заработная плата, прибыль, капиталистическая рента, исключают возможность бытия формы дохода непосредственных производителей,—собственности на полный продукт производства. Поэтому в число трех классов капиталистического общества, соответствующих трем формам дохода—распределения общественного продукта,—в число наемных рабочих, капиталистов и земельных собственни-

<sup>1)</sup> См. № 6 за 1926 г. Статья дискуссионная. Ред.

ков, непосредственные производители не входят и включены быть не могут. Поэтому непосредственных производителей—крестьян оказываются таким образом исключенными из системы производственных отношений и классов капиталистического общества. Им нет места как классу в развитии капитализма, поэтому их судьба—подвергаться непрерывному уничтожению, т. е. превращению их производственных отношений в капиталистические, а представителей их класса в капиталистов или в наемных рабочих. Не участвуя в системе распределения средств производства капиталистического общества, крестьянство не является классом капиталистического общества, не входит в систему его производственных отношений.

Отсюда вытекает целый ряд чрезвычайно важных следствий. Капиталистическое общество развивается по своим капиталистическим законам развития, и все посторонние некапиталистические экономические и социальные элементы (остатки докапиталистической структуры) вынуждены развиваться вместе с капиталистическим обществом, в его недрах, по законам его развития, чуждым и противоречащим их собственному бытию. Эти пережитки прежних структур имеют вместе с тем какие-то свои собственные интересы, правда исключенные из *paus légal* буржуазного общества, но требующие своего выражения и своей защиты. Не являясь классом, крестьяне лишены возможности сами представлять свои интересы и вынуждены находить защитников своих «классовых» задач среди классов и партий буржуазного общества. Исключенные из системы капитализма, они не могут сами регулировать ее движение,—им нужны группы капиталистического общества, с интересами которых их интересы совпали бы, и которые в период этого совпадения могли бы сделаться репрезентантами интересов крестьянства. Поясним на примере. В введении охранительных пошлин на сельско-хозяйственные продукты одинаково заинтересованы и землевладельцы и мелкие крестьяне. В период борьбы за пошлины репрезентантами крестьянства делаются земельные собственники. Но представим себе борьбу против налога на потребление, здесь репрезентантом крестьянства делается рабочий класс<sup>1)</sup>. Исключенные из классового состава капиталистического общества, крестьяне вынуждены искать защиту своих интересов в этом обществе, поэтому естественно отсутствие единой политической линии крестьянских партий и неизбежность их шатания между партиями, представляющими классы капиталистического общества. Как пережиток менее развитой общественной формации, крестьянство для достижения своих стремлений и разрешения своих «классовых» (так как оно не является классом в собственном смысле слова) задач должно, прежде всего, стремиться к восстановлению свойственного ему системы производственных отношений, что невозможно на стадии развития производительных сил, достигнутой капитализмом. Логическим выводом отсюда является необходимость борьбы крестьянства с производительными силами капиталистического общества, которые предопределяют собой замену общественным трудом личного труда непосредственного производителя. Но общество никогда не откажется от достигнутого им уровня раз-

<sup>1)</sup> См. Введение налога на вино; Маркс, Классовая борьба во Франции

вития производительных сил, поэтому и вся борьба крестьянства, в пределах буржуазного общества, за восстановление общества непосредственных производителей, обречена на неудачу. И даже в тех случаях, когда интересы крестьянства «совпадут» с интересами какого-либо из классов буржуазного общества, и совместная борьба закончится положительным результатом, даже тогда крестьянство неизбежно оказывается в проигрыше, так как эти результаты всегда имеют капиталистический характер, и буржуазный союзник крестьянства может их использовать, в то время как крестьянство лишь потеряет от этого, так как все капиталистическое ведет лишь к его гибели. В этом смысле, крестьянство оказывается всегда обманутым своим союзником.

Но можно ли среди всех «колебаний» политики крестьянства, объясняющихся тем, что оно не является классом в капиталистическом обществе, различить какой-либо твердый, определенный и постоянный круг интересов, за которые борется крестьянство. Маркс в «18-м брюмере» дает на это положительный ответ, справедливо считая вместе с тем, что в этом смысле крестьянство является классом и в капиталистическом обществе. «Крестьяне—парцеллярные собственники, образуют огромную массу, члены которой живут в одинаковых условиях, не вступая между собой в многообразные отношения. Их способ производства разделяет (изолирует) их, вместо того, чтобы устанавливать между ними разносторонние сношения (*wechselseitiger Verkehr*). Разобщенность вызывается скверными французскими (речь идет о французских крестьянах половины XIX в. В. Б.) средствами сообщения и бедностью населения... Парцелла крестьянина, его семья; рядом другая парцелла, другой крестьянин, другая семья. Несколько десятков парцелл образуют деревню, несколько десятков деревень—департамент. Так, путем простого складывания одноименных величин образуется большая часть французской нации, почти так же, как мешок картофеля образует мешок с картофелем<sup>1)</sup>. Поскольку миллионы семей живут в экономических условиях существования, которые отделяют и враждебно противопоставляют другим классам их образ жизни, интересы и образование, постольку они образуют класс. Поскольку между парцеллярными крестьянами существует лишь местная (локальная) связь и одинаковость их интересов не образует никакой общности, никакой общенациональной связи и никакой политической (классовой. В. Б.) организации, постольку они не образуют никакого класса. Поэтому они неспособны отстаивать свои классовые интересы от своего собственного имени, помощью парламента или конвента—безразлично. Они не могут представлять (политически. В. Б.) сами себя, они должны быть представлены<sup>2)</sup>. Приведенный отрывок не только подтверждает сделанные выводы, но и позволяет пойти дальше. Крестьянство не является классом в собственном смысле слова, это лишь масса населения, имеющего одинаковые интересы, враждебные всем

<sup>1)</sup> Непереводимая игра слов. В первом случае мешок картофеля—мера, количество, во втором—настоящий мешок.

<sup>2)</sup> 18-е брюмера, стр. 102 (разрядка наша).

остальным классам общества, т. е. самому капиталистическому способу производства. В пределах борьбы классов данного общества оно выступать не может<sup>1)</sup>, но, будучи враждебно обществу в целом, оно может выступить лишь за полное уничтожение данного способа производства (капитализма). Эта последняя задача является логически необходимой, учитывая историческое прошлое крестьянства, так же, как и его экономическое разложение в капиталистической обстановке.

Борясь с феодализмом, крестьяне свергали внешнеэкономическую эксплуатацию феодалов. «Свободный от эксплуатации непосредственный производитель» — таков был их лозунг. В условиях капитализма они должны были сделаться и сделались непримиримыми врагами капитализма, уничтожающего их личную собственность и превращающего их в наемных рабочих. Капитализм включает крестьянство из своей классовой структуры, поэтому естественной задачей крестьянства является уничтожение структуры капитализма. И в этом смысле потомки прежних непосредственных производителей — крестьяне — являются непримиримыми врагами буржуазного общества, его ярыми критиками, даже социалистами, поскольку существует мелкобуржуазный социализм. Коммунистический манифест еще в половине прошлого столетия дал яркую и до сих пор остающуюся верной характеристику «классовых задач» крестьянства и мелкой буржуазии<sup>2)</sup>, пределы и корни их революционности.

«Этот социализм (мелкобуржуазный и мелкокрестьянский В. Б.) прекрасно умел подметить противоречия современных условий производства. Он разоблачил мишурные прикрасы экономистов. Он неопровержимо доказал разрушительное действие машин и разделение труда, централизацию капиталов и землевладения, перепроизводство, кризисы, неизбежную гибель мелкой буржуазии и крестьянства, нищету пролетариата, анархию в производстве, вопиющие несправильности в распределении богатства, разор-

<sup>1)</sup> Говоря о «разобщенности» непосредственных производителей-крестьян, Маркс очень тонко подмечает различие форм классовой борьбы феодальной и капиталистического общества. В первом, как выше было показано на примере Крестьянской войны, разрозненность крестьянских хозяйств, — наличие лишь локальной связи между ними, не являлось препятствием к национальному масштабу движения, которое являлось (а в силу средневековой экономики и не могло быть иным) лишь суммой локальных восстаний. Капитализм предполагает иные, более тесные связи между единицами, составляющими класс. В основе общности интересов лежат здесь общественные средства производства (так же, как в основе разобщенности непосредственных производителей лежат личный труд и индивидуальные средства производства), создающие экономическую основу для тесной сплоченности представителей одного и того же класса и большой организованности представляющей его партии. Пережиток докапиталистической формации, крестьяне перенесли в капиталистическое общество отжившие формы классовой связи и организованности, совершенно недостаточные в его условиях.

<sup>2)</sup> Это не значит, что Ком. манифест отождествляет мелкую буржуазии и пережитки феодальных классов, наоборот, в самом тексте параграфа они точно разграничены. Изложение идеологии собственно мелкой буржуазии и прежних непосредственных производителей объединено в одном параграфе по двум причинам: 1) ввиду того, что обе группы населения обречены на исчезновение в ходе развития капитализма и поэтому имеют сходные задачи борьбы с ним и одинаковые идеалы мелкого мещанского производства; 2) так как идеологи мелкой буржуазии часто вместе с тем репрезентируют интересы прежних непосредственных производителей (последние являются основной группой населения, из которой вырастают мелкобуржуазные слои).

тельную промышленную войну наций между собой, разложение старых нравов, старых семейных отношений, старых национальностей.

По своему положительному содержанию этот социализм стремится или восстановить старые средства производства и сношения, а вместе с ними и старые имущественные отношения и старое общество; или же он старается насильно удержать новейшие средства производства и сношения в рамках старых имущественных отношений, которые они уже разбили и необходимо должны были разбить. В обоих случаях он является одновременно реакционным и утопическим.

Цеховая организация промышленности и патриархальное сельское хозяйство являются последним его словом<sup>1)</sup>.

Революционности крестьянства ставится предел невозможностью ни «восстановить старые средства производства и сношения», ни «насильно удержать новейшие средства производства и сношения в рамках старых имущественных отношений». Общество не отказывается от достигнутого уровня развития производительных сил, поэтому крестьянство не только бессильно бороться за свое существование в рамках капиталистического общества, для него столь же невозможно быть инициатором, вожаком и руководителем революции; вообще, революция, имеющая целью восстановление производительных сил и производственных отношений непосредственных производителей, невозможна. Крестьянство должно дожидаться того момента, когда внутренние силы капитализма, один из классов капиталистического общества откроет революционную борьбу, имеющую прогрессивную цель разрешения противоречий буржуазного общества. Лишь тогда крестьянство может примкнуть к гражданской войне против капитала<sup>2)</sup>.

Примкнувшие к революции крестьяне остаются верными классовым задачам непосредственных производителей: устранение эксплуатации и увековечение способа производства, основанного на личном труде и личной собственности. Впрочем, специфические условия революционного низвержения капитализма должны ставиться перед ними еще и третья — новая задача — уравнивания собственности, — передел средств производства. Буржуазная революция застаёт сравнительную недифференцированность средств производства. Массы их, сосредоточенные в руках отдельных представителей общества (непосредственных производителей), примерно равновелики. Процесс развития капитализма экспроприрует, лишает часть непосредственных производителей доли или всех имеющих в их распоряжении средств производства. Поэтому они естественно смотрят на земельную собственность и капитал (машины, постройки, скот и т. д.) крупных земельных собственников и капиталистических арендаторов, как на незаконно захваченную и отобранную от них собственность, основанную на экспроприации и эксплуатации, а не на личном труде. Уравнивать всех, вернуться к исходному пункту развития путем передела

<sup>1)</sup> Ком. манифест, стр. 100—101.

<sup>2)</sup> Исключение составляют восстания (неизбежно локальные — см. выше) непосредственных производителей — особенно ремесленников — против нового способа производства, нашедшие свое выражение в погромах и уничтожении машин (силезские ткачи и т. п.).

имущество, — таково новое классовое требование крестьян<sup>1)</sup>, имеющее целью устранить дифференциацию, порожденную капитализмом. В момент революции, направленной к уничтожению основ буржуазного строя, крестьянство выступает со своими особыми требованиями: 1) уничтожение капиталистической (а если таковая сохранилась, то и феодальной) эксплуатации, 2) перераспределение средств производства, как материальная предпосылка увлечения способа производства непосредственных производителей.

Но если в условиях капиталистического общества крестьянство не является классом, в собственном смысле слова, то является ли оно классом в период открытой революционной борьбы против капитала. Ответ должен быть дан положительный. Препятствием к существованию крестьянства, как класса в буржуазном обществе, служила твердая система производственных отношений и классов. Революция является выразителем разложения и недостаточности этой системы отношений и пересмотра существующих общественных классов. Например, если это революция пролетарская, то пролетариат стремится к уничтожению изживших себя форм собственности и дохода капиталистического общества, и к уничтожению репрезентантов этих форм — буржуа и землевладельцев. В течение всего периода революционной борьбы, вплоть до вынесения ее результатов, в сторону ли сохранения старой системы производственных отношений, или в направлении начала построения нового общества, прежние жесткие общественные рамки являются разрушенными, новые еще не являются построенными. Одна система производственных отношений разрушена, другая — еще не начала создаваться. Жесткий и устойчивый скелет общественной структуры, связывавший отдельные экономические и социальные элементы, определявший основные пути развития и остававшийся неизменным, несмотря на многообразие своих конкретных выражений и модификаций, разложился. Закономерность развития прежней структуры перестала существовать, так как революция и является выражением ее банкротства. Революционный процесс, разрушая существующую систему производства, деклассирует и классы на ней основанные, — раньше всего прежние господствующие классы, против которых революция направлена. Все силы общества, до сих пор сдвинутые устойчивой системой отношений, теперь оказываются развязанными и начинают играть самостоятельную роль, так как прежде подавлявшая их и господствующая над ними закономерность общественного развития перестала действовать.

Поэтому и крестьянство в противобуржуазной революции снова становится классом в собственном смысле слова. Оно само начинает представлять свои собственные интересы, под шумок общей борьбы оно пытается осуществить свои экономические и политические идеалы. Такое возрождение классового характера крестьянства может продолжаться, и то с известными ограничениями, лишь вплоть до выяснения результатов борьбы.

Не являясь, как выше было показано, основным революционным классом, двигателем и инициатором революции, крестьянство не может стать таковым и в течении уже разгоревшейся

<sup>1)</sup> См. глава II.

гражданской войны. Причиной тому — та же отсталость, — характер крестьянства как пережитка докапиталистической формации — класса непосредственных производителей.

Когда происходит революция, имеющая целью разрешить противоречия буржуазного строя, уничтожить препятствия, ставящие капитализмом на пути развития общественных производительных сил, то класс, существование которого связано с более низким уровнем развития производительных сил, чем капиталистический, естественно не может разрешить противоречий капитализма. Капитализм создал производственные отношения, допуская развитие более высоких производительных сил, нежели возможные при способе производства непосредственных производителей или их потомков — крестьян. Общество требует создания системы экономических отношений, позволяющих пойти еще дальше в развитии производительных сил, нежели это допускает капитализм, а совсем не возврата к докапиталистическим производительным силам и производственным отношениям. Поэтому, ни при каком исходе революции, крестьяне не могут разрешить стоящих перед ними задач восстановления общественного строя непосредственных производителей. В пылу гражданской войны они могут вырвать у одной из борющихся сторон те или иные уступки, в пользу отстаиваемого ими способа производства, но не более того. Больше, они могут решить исход борьбы, став на сторону одного из борющихся классов, но дать собственный исход борьбе для них не представляется возможным.

Вместе с завершением революции, которая не может кончаться установлением системы отношений непосредственных производителей, как господствующего способа производства, а может завершиться лишь победой одного из более передовых классов общества — капиталистов или пролетариев, крестьянство, естественно, снова теряет свою классовую самостоятельность. Независимо от исхода борьбы, оно снова оказывается включенным в более передовую структуру, в которой господствуют чуждые ему производственные отношения, которые подчинят развитие крестьянства своим законам развития. Крестьянство перестает быть классом, и, как и прежде, потеряв свою самостоятельность, вынуждено представлять свои интересы через классы, входящие в господствующую систему производственных отношений.

Если, в условиях буржуазного общества, производственные отношения и законы развития навязываются крестьянству капиталистической средой, то то же будет и в любом другом обществе, в среду которого попадет крестьянство, с той только разницей, что в одной среде ассимиляция крестьянства будет протекать более, в другой — менее болезненно.

Подытоживая классовый анализ крестьянства, нужно отметить следующие важнейшие моменты:

1) В буржуазном обществе крестьянство, как пережиток докапиталистической структуры, вынуждено развиваться по законам капиталистических производственных отношений, поэтому его развитие является процессом разложения хозяйств непосредственных производителей, превращающим непосредственных производителей в наемных рабочих, а их личную собственность в капитал.

2) Производственные отношения хозяйств непосредственных производителей (личная собственность, натуральность, самоудовлетворяемость хозяйств и т. д.) используются капиталом в целях буржуазной эксплуатации крестьянства, по своей интенсивности захватывающей не только добавочный, но и часть необходимого продукта.

3) В буржуазном обществе крестьянство перестает быть классом в собственном смысле слова, так как не входит необходимым элементом в систему производственных отношений капиталистической структуры; поэтому крестьянство само не может репрезентировать и защищать свои интересы, а вынуждено использовать для этого какой-либо из классов буржуазного общества, интересы которого совпали в данном конкретном требовании с стремлениями крестьянства.

4) Буржуазное общество исключает возможность экономического и классового бытия крестьянства, поэтому неизбежной задачей последнего является революционная борьба за разрушение капиталистической структуры. Но и в революции крестьянство, как пережиток докапиталистического общества, спирающийся на низкую ступень развития производительных сил, не может быть руководителем—главной силой революции, оно может лишь примкнуть к революционной борьбе одного из классов буржуазного общества.

5) В период революции, крестьянство вновь приобретает характер класса и выступает с требованием уничтожения капиталистической эксплуатации и уравнительного перераспределения средств производства, как базиса увековечения способа производства непосредственных производителей. Крестьянство может добиться частичного удовлетворения своих стремлений лишь как уступкой, сделанной одной из борющихся сторон.

6) С окончанием периода открытой революционной борьбы и началом строительства нового общества (или реставрации системы буржуазных отношений) крестьянство вновь теряет характер класса и подчиняется законам развития господствующей структуры.

У.

Маркса и Энгельса, как выше указывалось, вопрос о классовой сущности крестьянства интересовал в связи с революционными перспективами свержения власти капитала и возможной ролью крестьянства в пролетарской революции. Экономический и классовый анализ крестьянства должен был дать объективные научные данные для установления политики пролетариата в отношении крестьянства. Родоначальники марксизма выявили две принципиально различные линии политики пролетариата, одну—для периода развития крестьянства в недрах буржуазного общества, другую—для эпохи революции и пореволюционного строительства хозяйства будущего. Маркс и Энгельс никогда не пытались установить какой-либо общей политической линии, применимой ко всему аграрному населению, они строго дифференцировали различные социальные наслоения деревни. Это позволило и нам ограничиться изложением взглядов основоположников марксизма на политику пролетариата в отношении крестьянства, не затрагивая другие слои сельского населения.

В условиях буржуазного общества в отношении основного вопроса существования хозяйств непосредственных производителей, вопроса охраны их личной собственности, как базиса мелкого производства, политика пролетариата должна носить отрицательный характер. Охранять или обещать поддержку в борьбе за сохранение собственности непосредственных производителей против капиталистической экспроприации пролетариат не должен по трем мотивам. Во-первых, пролетариат является строителем социалистического общества на основе материальных предпосылок, созданных капитализмом. Пролетариат призван воссоединить средства производства с производителями, но «его задача состоит только в передаче средств производства производителям в виде общественной собственности»<sup>1)</sup>. Между тем, «единоличное владение... в той мере, в какой оно существует, делает невозможным общественное владение»<sup>2)</sup>. Поэтому борьба за сохранение единоличной собственности, при которой неизбежен застой в развитии производительных сил, противоречит интересам пролетариата, так как лишает будущее строительство социализма необходимой материальной базы. Во-вторых, не в интересах самого крестьянства поддерживать тот способ производства, который превращает его в наиболее нищую, забитую и варварскую часть населения. «Самостоятельный мелкий крестьянин и не обеспечен во владении своим клочком земли, и не свободен. Как сам он, так и его дом, его двор, его поле принадлежат ростовщику; его существование менее обеспечено, чем существование пролетария»<sup>3)</sup>. В-третьих, в случае, если бы пролетариат, руководствуясь своими собственными классовыми интересами, или «классовыми» стремлениями крестьян, даже решил бороться за сохранение их способа производства, то эта борьба была бы безрезультатна<sup>4)</sup>. Разложение крестьянства происходит под влиянием капиталистических законов развития общества, бороться же против последних, не подорвав самих основ капиталистического уклада,—его отношений производства—бессмысленно.

Эти три мотива, вынуждающие, по мнению Энгельса, революционную социал-демократию не противодействовать разложению хозяйств, основанных на личном труде, имеют своим результатом нейтрализацию пролетариата в вопросе экспроприации крестьянской собственности и дифференциации их хозяйств.

В буржуазном обществе пролетариат поддерживает в целом ряде вопросов борьбу крестьянства против капитала, но в отношении основного вопроса существования крестьянства,—крестьянской собственности,—пролетариат «нейтрален». Он не заинтересован в сохранении ее. Ниже мы увидим, что он также не заинтересован в скорейшей экспроприации крестьянина капиталом. Этим объясняется классовая нейтральность пролетариата, оставляющего крестьянскую собственность развиваться по законам капитализма. Чем свободней будет «игра экономических сил», что означает быстрый процесс роста крупного капиталистического производства, создающего предпосылки социализма, тем быстрее пойдет

<sup>1)</sup> Крестьянский вопрос во Франции и в Германии, стр. 31.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 30.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 30.

<sup>4)</sup> Там же, стр. 31 и 35.

процесс создания общественных средств производства, взамен единых крестьянских. Поэтому пролетариат заинтересован в уничтожении всех преград на пути свободного развития крестьянских хозяйств. Главнейшей из этих преград являются остатки феодализма. В борьбе за уничтожение пережитков феодальной эксплуатации, пролетариат — верный союзник крестьянства, и при этом часто единственный союзник, особенно в тех странах, где буржуазная революция не смела до конца феодальной надстройки<sup>1)</sup>.

Далеко не «нейтральной» является политическая линия пролетариата в крестьянском вопросе в период пролетарской революции и начала строительства социалистического общества. Здесь правильная политика рабочего класса по отношению к крестьянству является в известной мере решающей исход революции.

Отмечавшаяся выносливость и консервативность крестьянства, как пережитка докапиталистической формации, его почти безграничная способность сжимать даже необходимое потребление, позволяют крестьянству (там, где оно при рождении буржуазного строя составляло преобладающую массу населения, как, например, во Франции) длительно сохранять свою жизнеспособность, сопротивляясь капиталистическому разложению на протяжении многих десятилетий. В результате, как это предвидели Маркс и Энгельс, крестьянство может «пережить» капитализм, известная часть крестьянства может сохраниться недифференцированной до эпохи пролетарской революции, составляя если и не преобладающую, то очень значительную часть населения. Одно это позволяет ему играть в ходе революционной борьбы роль крупнейшего или даже решающего фактора<sup>2)</sup>.

Неправильно понимать крестьянство в революции, как равно-великую пролетариату силу; по причине своей экономической отсталости, как пережиток другого общества, оно не может решать задачи более развитой и передовой структуры, их может поставить и разрешить лишь класс этого общества — пролетариат.

Роль крестьянства, как подчиненного союзника пролетариата, должна сказываться на всей его политике в отношении крестьянства. Пролетариат, репрезентирующий развитие и стремления наиболее передовой части общества, поддерживает крестьянские требования лишь до тех пор, пока они совпадают с интересами развития всего общества в целом.

В пролетарской революции судьба крупного сельского хозяйства — крупно-крестьянского, арендного или помещичьего, та же что и капиталистических промышленных предприятий; положение сельско-хозяйственного пролетариата тождественно положению промышленного пролетариата.

В отношении крестьянских хозяйств задачи пролетариата, захватившего в свои руки государственную власть, ставятся по-иному.

<sup>1)</sup> Крестьянская война в Германии, стр. 20. В числе требований коммунистической партии в Германии, опубликованной в 1847 г. за подписью Маркса, Энгельса, Вольфа и др., под п. 6 значится: «Все феодальные повинности, все оброк, барщина, десятины и т. д., до сих пор тяготевшие на сельском населении, отменяются без всякого выкупа».

<sup>2)</sup> Крестьянский вопрос, стр. 23—24, 35.

Пролетарская революция, свержая основы капиталистической экономики, освобождает крестьян от капиталистической эксплуатации, которой они, подвергшись в буржуазном обществе, где она заменила внеэкономическую эксплуатацию феодалов. В деле уничтожения буржуазных отношений производства, задачи пролетариата и крестьянства (понимая крестьянство в ограниченном смысле слова, см. гл. II) целиком совпадают, так как разрушение механизма капиталистического хозяйства означает вместе с тем прекращение процесса эксплуатации и разложения крестьянства.

На примере Парижской Коммуны, примере очень неудачном, в силу недолговременности существования Коммуны, в условиях совершенной изолированности от массы французского крестьянства, Маркс дает понять, каковы конкретно меры пролетариата в этом направлении<sup>1)</sup>. Ипотека (задолженность), налоги, аппарат буржуазного государства — таковы, как мы видели три бича крестьянства, и все три должны были быть устранены с приходом пролетариата к власти. Облегчение налогового бремени и ипотечного долга<sup>2)</sup>, не говоря уже о замене капиталистического государства и буржуазной администрации выборным управлением, — таковы непосредственные выгоды для крестьянства от пролетарского переворота. Но еще более важным для облегчения участи крестьян, нежели эти конкретные мероприятия, является общая борьба пролетариата против экономической системы капитализма, во всех своих проявлениях столь неизбежно ведущей к эксплуатации и экспроприации крестьянства<sup>3)</sup>.

Так же, как и в борьбе против феодализма, крестьянство является необходимым и верным союзником пролетариата, борющегося за разрушение капиталистической системы. Это явствует из анализа положения крестьянства в капиталистическом обществе. Но если в буржуазной революции крестьянство является союзником буржуазии лишь в процессе уничтожения феодальной эксплуатации, и делается ее врагом при переходе к строительству капиталистического общества, то не может ли то же самое иметь места, когда пролетариат приступит к организации начал социалистического хозяйства. Здесь задачи пролетариата и крестьянства заметны разойдутся. Пролетариат превращает капиталистическую частную собственность в общественную, в целях организации с помощью общественных средств производства социалистических предприятий, между тем, крестьянство разрушает капиталистическую систему в целях увековечения единоличной собственности и личного труда производителя, принципиально враждебных коммунистическим началам. Не следует ли отсюда вывод, что по мере развития социалистического строительства крестьянство будет все больше и больше отходить от своего прежнего союзника и даже делаться его врагом, так как социалистическая система производства исключает возможность существования крестьянских хо-

<sup>1)</sup> Маркс, Гражданская война во Франции, стр. 55.

<sup>2)</sup> П. 8 требований коммунистической партии в Германии гласит: «Ипотеки на крестьянские земли объявляются государственной собственностью. Проценты по этим ипотекам крестьяне уплачивают государству». См. также Крестьянская война в Германии, стр. 20.

<sup>3)</sup> Гражданская война, стр. 243; 18-е брошюра, стр. 106.



зйств и неизбежно ведет их к гибели. А в таком случае, нежели «преждевременной» революцией создавать себе в недрах социалистического общества классовых врагов, не лучше ли пролетариату «пождать», если и не до полного, то до приближающегося к полному разложению крестьянства в недрах буржуазного общества <sup>1)</sup>. Наконец, может ли крестьянство, минуя стадию капиталистического развития, непосредственно перейти к социалистическим формам производства или оно должно будет, в условиях развития социалистической экономики, пройти сперва эволюцию капиталистического разложения, развивая и питая элементы капиталистического хозяйства, и, лишь по завершении процесса капиталистического разложения, сможет перейти к социалистическим формам хозяйства.

Маркс и Энгельс ставили эти вопросы и давали их решения на примере анализа русской общины и возможности перехода ее к социализму. В 70-х и 80-х г.г. народнические идеологи русского революционного движения ставили вопрос о возможности для России (в случае революционного свержения самодержавия), минуя фазу капиталистического развития, непосредственно перейти к созданию социалистического общества, используя для этого общинную организацию крестьянства,—подавляющей массой всего населения.

Формулировать марксистски смысл вопроса народников можно следующим образом: возможен ли и какие условия необходимы для перехода от докапиталистической системы экономики (в данном случае — от общины) к высшей форме общества — социализму, минуя промежуточную — капиталистическую формацию или же всякое общество должно самостоятельно проделать все этапы развития. На этот вопрос, Маркс в письме к Засулич, а Энгельс в статьях «О России», отвечали положительно, но считали, что переход общины к социализму, минуя капиталистическое развитие, может иметь место лишь при наличии определенных общественных условий.

Рассмотрим эти условия.

«Если русская революция послужит сигналом рабочей революции на Западе, так, что обе они пополняют друг друга, то современное русское землевладение может явиться исходным пунктом капиталистического развития» <sup>2)</sup>. Социалистическое общество может быть создано лишь на основе производительных сил определенной высоты развития. Эти производительные силы созданы капитализмом Запада. Возможность использования их общиной позволяет ей миновать капиталистическую стадию <sup>3)</sup>. Не будь на Западе нужного уровня развития производительных сил, община должна была бы самостоятельно проделать весь путь развития, чтобы приобрести производительные силы, которые ею самой созданы быть не могут. Важно не только то, что имеются производительные силы достаточной высоты развития, крайне существенно также, что промежуточная стадия, которую нужно было проходить общине, уже изжила себя, и взамен ее строится новая более высокая общественная форма

<sup>1)</sup> Крестьянский вопрос во Франции и в Германии, стр. 39.

<sup>2)</sup> Предисловие к 1-му русскому изданию Ком. манифеста в 1882 г.

<sup>3)</sup> Энгельс — Николаю — ому, 24/III — 1893 г.

ция <sup>1)</sup>. Если бы она не существовала одновременно с общиной, последняя не могла бы воспользоваться производительными силами капитализма. Отсталая, в сравнении с капитализмом форма производства,—община может воспользоваться результатами его развития лишь через посредство заинтересованной в этом более передовой нежели капитализм структуры.

Объяснение этому надо искать в недостаточном развитии производственных отношений, необходимых для использования производительных сил. Докапиталистическое единичное хозяйство не может заимствовать производительных сил капитализма, предпосылкой бытия которых является общественный процесс производства. Другое дело, если докапиталистическая формация оказывается включенной в социальную среду еще более развитую, нежели капитализм; здесь она должна подчиняться законам и тенденциям ее развития, и эта среда должна и может передать докапиталистической формации свойственные ей самой производительные силы.

При наличии схожих социальных условий, заимствование достигнутого уровня развития производительных сил одним обществом у другого не только возможно, но и необходимо. Каждая страна не должна самостоятельно проделывать всего пути развития производительных сил. Маркс это прямо утверждает на примере развития русского капитализма <sup>2)</sup>.

Следовательно, Маркс и Энгельс: 1) считали возможным перенесение достигнутого одним обществом уровня развития производительных сил в другое, в случае схождения системы производственных отношений обоих обществ; 2) исключали возможность самостоятельного перенесения достигнутого уровня развития производительных сил из экономической (по системе производственных отношений) более передового общества в более отсталое; 3) такое перенесение возможно лишь при посредстве и по законам развития передовой общественной формации, когда она включает и подчиняет себе развитие более отсталой, и последняя может заимствовать существующие в окружающей ее среде производительные силы, минуя этапы экономического развития, необходимые для их достижения.

Таковы объективные предпосылки, при наличии которых Маркс и Энгельс считали возможным переход общины, минуя капиталистическое «разложение», к коммунистическим формам производства.

Помимо этих «объективных» предпосылок, существуют еще «субъективные» — классовые предпосылки, необходимые для осуществления процесса. Для упрощения анализа мы абстрагировались от них, теперь их необходимо ввести. Если процесс непосредственного перехода от общины к коммуне объективно возможен, то соответствует ли осуществление этого процесса классовым интересам обоих «агентов» процесса: «среды», делающей его возможным — пролетариата, и субъекта процесса — класса крестьян общинников. Грубо говоря: заинтересован ли класс пролетариев, чтобы община не разлагалась путем капиталистической

<sup>1)</sup> Архив Института Маркса и Энгельса, т. 1, стр. 274.

<sup>2)</sup> Архив, стр. 271.

дифференциации, а, развивая свои общинные начала, прямо перешла к коллективному производству; и заинтересован ли в том же классе крестьян общинников. Оба вопроса Маркс и Энгельс решали в положительном смысле. «Не только возможно, но и несомненно, что после победы пролетариата и перехода средств производства в общественное владение у западно-европейских народов, остатки общественной собственности и соответствующие народные привычки в тех странах, которые только что вступили на путь капиталистического развития и сохранили еще у себя родовые учреждения или их остатки, явятся могучим средством, чтобы значительно сократить процесс их перехода к социалистическому обществу и избежать большей части тех страданий и той борьбы, через которые приходится прокладывать дорогу нам, жителям Западной Европы. Но неизбежным условием для этого является пример и активная помощь доселе капиталистического Запада<sup>1)</sup>. На примере общины и других докапиталистических форм хозяйства Маркс и Энгельс доказывали выгодность для пролетариата, как основного класса, заинтересованного в строительстве будущего коммунистического общества, избежать огромного количества «непроизводительных затрат», с которыми сопряжены экспансия капитала, процесс его накопления, отделение производителя от средств производства<sup>2)</sup>.

В непосредственном переходе от общинного хозяйства к коммунистическому, минуя стадию капитализма, заинтересован не только рабочий класс, но и сами крестьяне-общинники. Община, по уровню развития своих производительных сил и производственных отношений, — пережиток, обреченный на разложение и уничтожение, при чем это разложение может пойти лишь по одному из двух путей: либо подвергнуться капиталистической экспроприации, либо развить коллективистические начала, задержанные в общине, и перейти к собственно коммунистическому способу производства. Социалистические формы хозяйства структурно ближе общине, не только в силу бытовых привычек и строя психологии крестьян-общинников, но и по системе производственных отношений. Общественная собственность на средства производства ближе экономике общины (общинной собственности), нежели буржуазный способ производства (частная собственность на средства производства, как основа эксплуатации)<sup>3)</sup>. Община, поставленная перед дилеммой выбора формы своей гибели, скорее пойдет по пути превращения в форму хозяйства более близкую ей по системе своих производственных отношений.

<sup>1)</sup> «О России»; стр. 32—33; см. также Архив, стр. 275—276; письмо к Николаю — ону от 24/II 1893 г.

<sup>2)</sup> «Нам было бы бесполезно ожидать с этим преобразованием (пролетарской революцией. В. Б.) до того времени, когда капиталистическое производство повсюду разовьется до своих крайних последствий, когда и последний мелкий ремесленник и последний мелкий крестьянин падут жертвами капиталистического производства. Материальные жертвы, которые придется принести в этом смысле в интересах крестьян из общественных средств, с точки зрения капиталистической экономики могут показаться выброшенными деньгами, а между тем это — десятиразное употребление капитала, потому что они сберегут, может быть, вдесятеро больше суммы при расходах на общественное преобразование в его целом». Крестьянский вопрос во Франции и в Германии, стр. 39.

<sup>3)</sup> Архив, стр. 281, 275. См. также «О России», стр. 24 и 32.

На вопрос о «субъективной» классовой возможности превращения докапиталистической структуры в коммунистическую, минуя стадию капитализма, приходится ответить двумя пунктами: 1) Класс пролетариев, по своеобразиям экономики издержек производства общественного развития, непосредственно заинтересован в осуществлении такого перехода. 2) Отношение докапиталистической формации определяется тем, насколько ближе ее производственным отношениям производственные отношения структуры, в которую она должна перейти, нежели отношения структуры, развитие которой она минует.

Все то, что Маркс и Энгельс писали относительно перехода от общины к коммунизму, целиком верно и применительно к проблеме возможности перехода хозяйств непосредственных производителей-крестьян к социалистическому производству, минуя стадию капиталистического развития. Помимо прямых указаний Энгельса, что сказанное об общине «относится не только к России, но и ко всем странам с докапиталистическим строем», нужно иметь в виду, что вопрос об общине анализировался Марксом и Энгельсом на основе общесоциологических положений марксизма о возможности перехода одной структуры в другую. Достаточно отбросить конкретно-исторические черты анализа, сохранив лишь обще-социологический скелет построения, чтобы с полным правом применить его к любой докапиталистической формации, в том числе и к крестьянству, с внесением, конечно, поправок, вызываемых конкретно-историческим своеобразием крестьянского хозяйства.

Применяя развитые на примере общины общетеоретические положения марксизма к вопросу о предпосылках перехода крестьян к социализму, минуя капиталистическую стадию развития, мы получим следующие условия, делающие возможным такой переход: 1) После пролетарской революции перенесение высоко-развитых производительных сил обобществленных социалистических хозяйств в крестьянские делается возможным, так как их развитие и эволюция подчинены экономическим законам господствующего способа производства — социалистического. 2) Пролетариат, как класс, не заинтересован в том, чтобы «ожидать» завершения капитализмом полной экспроприации всех единичных производителей-крестьян. С переходом власти в его руки и экспроприацией экспроприаторов, пролетариат, в целях экономии общественных средств производства, заинтересован прямо в обратном — наиболее быстром и безболезненном переходе крестьян к коллективным формам хозяйства. 3) Отношение крестьянства, как класса, к коллективизации их хозяйств целиком определяется близостью или отдаленностью структурных форм их собственного способа производства к тому, в который они должны перейти. Поэтому в тех странах, где крестьянство сильно, задача пролетариата, на другой день после захвата власти, заключается в том, чтобы создать такую переходную форму крестьянских хозяйств, которая позволила бы и применить высоко-развитые производительные силы социалистического производства, и была бы достаточно близка по своим производственным отношениям к системе производства крестьянских хозяйств.

Если такая форма не будет найдена, крестьянство неизбежно превратится в классового врага рабочих.

Для создания базиса крупного социалистического производства в сельском хозяйстве, нужно прежде всего воссоединить раздробленное средство производства—землю. Образование крупных земельных участков может быть достигнуто путем экспроприации крестьянского землевладения. Но эта мера, хотя и удовлетворяющая задачам строительства нового способа производства, не может быть применена по двум основаниям. В распоряжении пролетариата, непосредственно после пролетарской революции, нет достаточного количества средств производства, необходимых для организации крупных хозяйств. Лишь с налаживанием социалистического производства эти средства могут быть постепенно созданы. Но если бы в распоряжении общества и имелись нужные производительные силы, даже тогда экспроприация крестьянской земельной собственности была бы неприемлемой мерой. Экспроприация сразу восстановила бы против пролетариата многочисленный класс крестьян, способ производства которых основан на личной собственности на землю<sup>1)</sup>. Отсутствие достаточных производительных сил и противоречие классовым интересам крестьянства—таковы две основные причины, препятствующие экспроприации крестьян после социалистической революции.

Говоря об экспроприации, нужно все время иметь в виду, что под ней разумеется реальное отделение производителя крестьянина от средств производства—земли. Для сохранения способа производства крестьянских хозяйств важна фактическая принадлежность участка производителю, его обрабатывающему. Поэтому изменения в системе поземельной собственности, оставляющие фактически в руках крестьянина землю, не экспроприируют его хозяйства и не идут в разрез с классовыми интересами крестьянства. На незаинтересованности крестьянства в системе частной собственности на землю основывается вся политика пролетариата на столь крупном вопросе, как национализация земли.

Крестьянство, как класс, в поземельной ренте совершенно не заинтересовано, их способ производства исключает возможность включения в состав доходов их хозяйств ренты, их экономические интересы не затрагиваются уничтожением поземельной собственности. Система поземельной собственности определяет систему распределения поземельной ренты. Слои аграрного населения, заинтересованные в распределении ренты, заинтересованы и в форме собственности на землю. Национализация земли изменяет распределение поземельной ренты. Рента не является формой дохода крестьянских хозяйств, и это делает возможным для пролетариата национализацию, если она сохраняет прежнюю форму землепользования, — «владение» крестьянином своим участком земли<sup>2)</sup>.

Экспроприация крестьянского землевладения, как мера, становящая «класс» крестьян против пролетариата и создающая внутри нового общества, стремящегося к уничтожению классов, классовый антагонизм, является неприемлемой. Но на-

<sup>1)</sup> Крестьянский вопрос во Франции и в Германии, стр. 26—27.

<sup>2)</sup> К. Маркс, Капитал, т. III, ч. II, стр. 333—34.

ким же может быть другой путь создания крупного производства в сельском хозяйстве, достигающий этой цели и, одновременно, не уничтожающий основного условия крестьянской экономики—личной собственности? На первый взгляд кажется, что сама постановка вопроса таит в себе внутреннее противоречие. Между тем, родоначальники марксизма дают его решение.

Энгельс, анализируя крестьянский вопрос (1894 г.), считает, что обоим условиям удовлетворяет путь кооперирования—образования крестьянских сельско-хозяйственных товариществ. «Наша задача по отношению к мелким крестьянам состоит прежде всего в том, чтобы их частное производство и их частную собственность перевести в товарищескую, но не насильно, а посредством примера и предложения общественной помощи для этой цели»<sup>1)</sup>. Вся суть вопроса заключается в отсутствии насилия и экспроприации в этом пути. Крестьянин не отделяется от средств производства. Он не лишается своего права на полный продукт производства. На протяжении всей эволюции, средства производства остаются в руках производителя, постепенно перерождаясь параллельно процессу перерождения самого производителя—крестьянина. Капитализм отделял средства производства от крестьянина революционным путем, резко изменяя его положение в производственном процессе и его классовую принадлежность. Экспроприация не захватывала равномерно весь класс крестьян, но выхватывала отдельных его членов, оставляя неизменным способ производства в целом. Весь процесс носил характер «разложения», а не эволюции крестьянства. Процесс обобществления крестьянского производства путем кооперирования постепенно перерождает весь «класс» крестьян. Не часть крестьян отделяется от средств производства, в то время как другая сохраняет их, а вся масса крестьянства постепенно обобществляет свою личную собственность и индивидуальный процесс производства, превращаясь в рабочих крупного производства, в то время как средства производства превращаются в коллективную собственность. Материальной предпосылкой этого процесса является «общественная помощь» социалистического производства, в среду которого крестьянство включено. По мере развития производительных сил общества, оно представляет в распоряжение мелких хозяйств все более и более крупные производительные силы. Здесь уместно вспомнить еще один момент, облегчающий перерождение крестьянских хозяйств: крестьяне перестали быть классом с момента на-

<sup>1)</sup> Крестьянский вопрос во Франции и в Германии, стр. 37; дальше Энгельс пишет: «Главное дело тут в том, чтобы выяснить крестьянину, что спасти или удержать его усадьбу и земельную собственность мы можем, только превратив их в товарищескую собственность и товарищеское производство. Именно единоличное хозяйство, обусловленное единоличной собственностью, и ведет крестьян к гибели. Если они будут настаивать на своем единоличном хозяйстве, то неминуемо потеряют и землю и двор, так как крупное капиталистическое хозяйство вытеснит их устаревший способ производства. Так теперь (в условиях капитализма В.Б.) обстоит дело; и вот являемся мы и даем крестьянам возможность ввести самим крупное производство не за капиталистический, а за их собственный общий счет» (стр. 38).

См. также статью Энгельса о марке—«Крестьянская война в Германии», стр. 97.

чала социалистического строительства. Независимо от их собственных стремлений, они вынуждены подчиниться законам развития социалистических элементов хозяйства, которые так же, как это делал прежде капитализм, включая крестьянство в свои экономические связи, необходимо принуждают их развиваться по пути обобществления единоличной собственности — индивидуальных средств производства.

Кооперированием мелкого производства, как формой перехода от индивидуальных хозяйств к социалистическому производству, разрешается трудность для пролетариата создать способ производства, структурно близкий крестьянскому хозяйству. Начав с форм кооперации, лишь внешне охватывающих индивидуальные хозяйства, в конце развития пролетариат будет иметь крупное производство, находящееся в коллективной собственности рабочих, в нем занятых.

Анализ отношения крестьянства к пролетарским формам хозяйства позволяет выяснить до конца классовые интересы крестьянства в пролетарской революции, когда крестьянство приобретает характер класса, само репрезентирует свои собственные интересы. Крестьянство прежде всего старается осуществить в народно-хозяйственном масштабе свой экономический идеал — систему хозяйств, основанных на личном труде. Не будучи способно отстоять эту цель, так как оба главные борющиеся класса — пролетариат и буржуазия — опираются на более развитые средства производства, чем хозяйство непосредственных производителей, крестьянство независимо от всех своих колебаний на протяжении борьбы, клонящихся к получению максимального числа уступок, необходимых для развития его способа производства, все же вынуждено присоединиться в основном к пролетариату или к буржуазии. В конечном счете присоединение крестьянства объясняется не той или иной конкретной исторической обстановкой, не уступками одной из сторон, а основной экономической характеристикой крестьян как пережитка непосредственных производителей. Их собственная форма хозяйства обречена на гибель как отсталая. Им остается лишь выбрать между буржуазной экспроприацией и постепенным кооперированием социализма. Крестьянство становится на сторону пролетариата, и не случайно. Буржуазия несет ему эксплуатацию собственниками средств производства неумирующим пролетариатом. Экономический, никогда не осуществившийся идеал крестьян — общество, состоящее из трудящихся индивидуальных собственников средств производства, исключает какую бы то ни было форму эксплуатации. Как тип хозяйства, такое общество структурно ближе социалистическому производству, так же исключает эксплуатацию, но основанное на собственности всего общества на все средства производства. Поэтому крестьянство, вставшее перед дилеммой выбора формы своей гибели, предпочитает постепенное обобществление социализма. Оно не только практически безболезненней для людей — крестьян, но и экономически ближе к форме крестьянского хозяйства. Это решает вопрос. Несматривая на все свои колебания, крестьянство и в борьбе с буржуазией и при строительстве социализма вынуждено стать политическим союзником пролетариата.

Роль крестьянства в пролетарской революции и политика пролетариата по отношению к крестьянским слоям населения не могли быть уяснены ни Марксом ни Энгельсом в исчерпывающей полноте. В их распоряжении не было необходимого для этого материала. Лишь опыт пролетарской революции мог решить эту проблему. Поэтому все взгляды гурцов научного социализма в этом вопросе носят характер прогноза. Правильно взятая экономическая и классовая характеристика крестьянства позволила этому прогнозу сделаться научными предсказаниями, сохранившими глубокий интерес до наших дней. Но лишь опыт пролетарской революции заполнил живую ткань проекцию в будущее.

## К вопросу о социальных и классовых корнях учения и пропаганды Роберта Оуэна и его последователей.

Арк. А—н.

### I.

В статьях, помещенных в журнале «Под Знаменем Марксизма» (1923 г., №№ 8—9 и 10), мы попытались показать, что в мирозерцании Роберта Оуэна было два направления—одно, прямо или косвенно перешедшее к нему от материалистов XVIII века, другое, выражаясь языком Маркса, имевшее своим пунктом фабричную систему. Одно из них состояло из смеси материалистических и идеалистических элементов, другое базировалось на чисто экономической основе. Оба эти направления уживались рядом друг с другом, то взаимно переплетаясь и влияя друг на друга, то, наоборот, отодвигая назад и даже вытесняя одно другое.

Несмотря на то, что теория образования характера средней была доминирующей в мирозерцании Р. Оуэна, не подлежит, однако, сомнению, что самыми плодотворными моментами его деятельности были те, когда он импульс для нее получал из анализа экономической действительности, где, с одной стороны, он видел чудодейственные силы машины, способной создавать счастье для всех, а с другой—кризисы и безработицу, порожденные эгоистическим и неразумным приложением этой силы.

В настоящей статье мы сделаем попытку определить социальные и в частности классовые корни учения Роберта Оуэна. Остановимся сначала на идее об образовании характера средней.

Не лишены, конечно, интереса попытки, делаемые всеми авторами, писавшими об Оуэне, проследить источники, откуда эта идея им заимствована. Большинство из них, впрочем, сходится в том, что эта идея заимствована Оуэном непосредственно у Годвина.

Так, Э. Доллеан, считая социальную теорию Оуэна логическим выводом из философии XVIII века, высказывает мнение, «что философия XVIII века воздействовала на Оуэна через посредство Годвина и что теория влияния внешних обстоятельств во всех подробностях заимствована им из книги «О политической справедливости» (Enquiry concerning Political Justice. А. А.). Это влияние, проявляющееся в употреблении одних и тех

же выражений, делается очевидным, если, оставив в стороне более или менее натянутые выводы, которые Оуэн и Годвин делают из теории, сравнить общие идеи первого с теми, которые приводятся в книге второго. Глава IV первой книги «Исследования о политической справедливости», в заголовке которой поставлено положение: «Характер людей является продуктом внешних обстоятельств»—и есть тот источник, из которого Оуэн почерпнул все свое мировоззрение.<sup>1)</sup>

Ф. Подмор, подобно Доллеану, находит в идеях Оуэна об образовании характера большое сходство с идеями Годвина из «Political Justice» и не только в идеях, но и в выражениях. Он полагает, что Оуэн в юности читал Годвина, но за те двадцать лет, которые прошли с этого момента (с момента появления «Political Justice» в 1793 г.) до появления в 1813 г. его «Essays on the principle of the formation of the humane character» он до того проникся этими идеями, что добросовестно считал их своими собственными<sup>2)</sup>.

Джордж Кол по вопросу об источниках оуэновских идеологических заимствований пишет: «В какой степени Оуэн заимствовал свои идеи у других? В какой степени он находился под влиянием предшествовавших ему мыслителей и писателей? Мы этого не знаем по той простой причине, что и сам он этого не знал. В ранней юности он читал очень много; но я того мнения, что он никогда не заимствовал сознательно ни одной идеи. Он усваивал из книг и разговоров мысли, которые ему были нужны; но все, что он поглощал, он так переваривал в своем уме, что потом это казалось ему продуктом собственной мысли.

Поэтому мы мало выиграем, если займемся изысканиями, в какой степени Оуэн обязан своими воззрениями своим предшественникам. Так, не нужно долго углубляться, чтобы видеть, какое большое сходство между его идеями о воспитании и соответствующими идеями Руссо; но можно сильно сомневаться в том, читал ли он Эмиля. Он был другом Уильяма Годвина и, по всей вероятности, читал его «Political Justice», представляющий в известной степени истолкование руссоизма перед английской аудиторией. Он, наверно, много разговаривал с Годвином и, конечно, мог у него много заимствовать. Без сомнения, его мысли во многих пунктах очень сходны с мыслями Годвина; но столь же несомненно, что его главные теории целиком были развиты в его уме уже задолго до встречи с Годвином. Точно так же он мог быть подражателем Песталлоцци, Фелленберга и других пионеров в области воспитания; но мы знаем, что он основал свою собственную школу в Нью-Ланарке еще до поездки

<sup>1)</sup> Э. Доллеан, Роберт Оуэн. Его жизнь и учение. Изд. «Просвещения» стр. 24—25.

<sup>2)</sup> См. Rob. Owen, A. Biography by Frank Podmore, 2 изд., 1923 г., стр. 119—121. Подмор приводит рассказ Фр. Пласа (из его жизнеописания, составленного F. Wallace'ом) о впечатлении, произведенном на него Оуэном, когда последний явился к нему, чтоб с ним познакомиться, а затем обратился к нему с просьбой исправить стилистические недочеты его первого произведения. Разговоры с Оуэном, отмечает Плас, произвели на него определенное впечатление, что Оуэн тогда, как и впоследствии, был убежден, что он первый открыл, что человек является результатом окружающей среды (см. цит. соч., стр. 122—123).

на континент, давшей ему возможность прийти в соприкосновение с указанными педагогами...»<sup>1)</sup>.

Но к каким бы выводам мы ни пришли в рассматриваемом вопросе, возникает другой гораздо более важный вопрос, почему эта идея, заимствованная из идеологического арсенала XVIII в., вдруг овладела нашим утопистом и заняла такое исключительное место в его мирозерцании. Нельзя ли это объяснить социальными и в частности экономическими причинами эпохи, в которой жил и действовал Роберт Оуэн? Нам кажется, что это можно и должно объяснить указанными причинами.

Последствия промышленного переворота для трудового населения Англии в конце XVIII и начале XIX в.в. достаточно описаны и достаточно известны, чтобы нужно было здесь на них опять останавливаться. Роберт Оуэн, родившийся через четыре года после изобретения Харгривсом своей «Дженины», был современником и очевидцем этого беспримерного в новой истории экономического землетрясения. Связанный с десятилетнего возраста с торгово-промышленной средой, перебрасываемый с одного класса лет из одного города в другой, из родного маленького Ньютауна в Лондон, из Лондона в Стамфорд, оттуда опять в Лондон, затем в Манчестер и пр., обладая недюжинной наблюдательностью и чувствительным сердцем, Оуэн, более чем кто-либо из его современников, проник в сущность происходившей перед ним трагедии английского рабочего класса. Он видел, как тысячи и десятки тысяч честных тружеников, еще вчера живших в сравнительном довольстве в здоровой сельской обстановке, вдруг как ураганом были снесены с насиженных мест и брошены в тяжелую бедственную обстановку больших городов, где, еле добывая средства к полуголодному существованию, многие из них опускались до низов бродяжничества, воровства и проституции. Он собственными глазами и более душой видел, как тысячи и десятки тысяч детей, при содействии представителей власти и даже их собственных родителей, приносились в жертву ненасытному Молоху наживы, при чем одни из них преждевременно погибали, другие становились калеками на всю жизнь, а значительное большинство уродовалось умственно и нравственно. Оуэн был также свидетелем, как обездоленный рабочий класс, доведенный до отчаяния бедствиями и несправедливостями, громады фабрики и машины, в которых неправильно видел причины этих бедствий,—машины, которые в действительности были друзьями рабочих, но стали их врагами, вследствие нерационального антиобщественного их использования.

Как же реагировало правительство на всю эту кучу бедствий и страданий, в которые был ввергнут рабочий класс Англии, на нарушение законов буржуазной морали и права, которые он совершал, толкаемый к тому внешними не от него зависевшими обстоятельствами? Правительство знало две меры: с одной стороны, рабочие дома или жалкую помощь от прихода, а с другой—наказание, беспощадное, без снисхождения и милосердия,—наказание жестокое, равносильное расправе с врагами или дикими вредными животными. Вспомним, что до реформы

<sup>1)</sup> Robert Owen, by G. D. H. Cole, London 1925, стр. 236—237. Нам кажется, что Кол наиболее правильно выразил тот взгляд, которого придерживается по рассматриваемому вопросу.

уголовного законодательства, произведенной Пилем в 1826 г., в английском уголовном кодексе насчитывалось больше ста мелких преступлений, преимущественно против собственности, за которые полагалась смертная казнь (например, кража с витрины или кража со взломом)<sup>1)</sup>; о разбивании машин говорить не приходится; закон, каравший смертью за разбивание машин, установленный в 1769 г., подтверждался неоднократно впоследствии.

Для Роберта Оуэна, с самых юных дней привыкшего мыслить материалистически и объективно (вспомним, что в манчестерском кружке ему дали прозвище «мыслящей машины», потому что он доказывал, что таковой делают человека природа и общество), эти во множестве осуждаемые и наказываемые рабочие были не субъектами преступлений, а жертвами неблагоприятных обстоятельств и прежде всего иррациональной безнравственной среды, в которую они были ввергнуты против своей воли, вследствие переворота, которого они не хотели, который произошел помимо их желания и во вред их интересам.

Сердце Оуэна-филантропа было прежде всего поражено этой резкой несправедливостью, и свой первый печатный труд «Опыт об образовании характера» он начинает с указания на эту именно несправедливость. Эта идея о грубой несправедливости, которую господствующие классы совершают, наказывая тружеников за преступления, на которые они сами их толкают, красной нитью проходит через первые два «Опыта», посвященные, главным образом, вопросу об образовании характера.

Указав в начале первого «Опыта», что около 12 миллионов человек, т. е. 3/4 населения Британских островов, принадлежит «к рабочим и беднейшим классам», Оуэн продолжает: «Характер лиц этих классов складывается в настоящее время без всякого руководства, а во многих случаях даже при таких обстоятельствах, которые прямо толкают людей на путь крайней нищеты и порока. Следствие этого они делаются самыми сверными и опасными членами государства, тогда как большая часть остальных членов общества воспитывается в принципах, совершенно не соответствующих человеческой природе...». Таким образом, общество распадается на две группы несчастных: на большинство, «состоящее из лиц трудовых классов, необразованных и испорченных, которых в настоящее время принуждают (курсив мой. А. А.) совершать преступления, за которые их же погоняют и наказывают», и меньшинство привилегированных, «которых учат верить... что некоторые принципы безусловно истинны, но поступать так, как будто они были в высшей степени ложны»... Благодаря этому мир наполняется безумием и противоречиями, и во многих слоях общества царит неисключительность и разлад. В таком положении находится мир и теперь; его бедствия растут с каждым днем; они громко и требуют энергичных мер улуч-

<sup>1)</sup> В «Письме к английским промышленникам» (подробно изложенном в статье в № 8—9 1923 г. нашего журнала) Оуэн выразил эту классовую жестокость английского уголовного законодательства в следующих словах: «Неужели же мы будем сочинять законы, осуждающие людей на тюрьму, ссылку и смертную казнь за похищение нескольких шиллингов, за вред, причиненный какому-нибудь домашнему животному, или за порчу ветки на дереве и в то же время будем воздерживаться от издания закона для обуздания тех, которые иным путем невозможно обуздать в их жажде прибыли, получаемой ими путем ограбления наших братьев»...

шения, и если мы будем медлить с проведением реформ, то должно наступить всеобщее расстройство и беспорядок»<sup>1)</sup>.

Исходя из своего другого излюбленного принципа, согласно которому правильно понимаемого счастья можно достигнуть, только способствуя счастью своих ближних, Оуэн в дальнейшем уверяет, что никакая человеческая сила не сумеет остановить быстрых успехов указанного принципа, когда он надлежащим образом будет разъяснен и понят. Неизбежным следствием торжества этого принципа, уверяет Оуэн, будет то, что «сравнительно немногочисленная группа лиц (иначе говоря, господствующая часть общества. А. А.) будет лишена возможности преднамеренно ставить остальное человечество (т.-е. трудовое население. А. А.) в условия, неизбежно способствующие образованию испорченных характеров, за которые она же чувствует себя нравственно обязанной наказывать даже смертью, хотя сама она способствовала образованию этих характеров»<sup>2)</sup>.

В какую сторону ни оглядывается наш утопист, болеющий душой за бедствия и страдания, в которые ввергнут английский рабочий класс (или, как он выражается, «рабочие и бедные классы»), он всюду натывается на вопиющее зло—наказание людей за преступления, на совершение которых их толкает общественная среда.

«Среди заблуждений и гнетущего нас зла,—заявляет он (во втором «Опыте»),—первое место занимают нелепые и вопиющие по своей несправедливости законы, которыми мы теперь управляемся. Таковы, например, законы, которые налагают наказание за целый ряд разнообразных поступков, называемых преступлениями; а между тем лица, совершающие такие поступки, воспитываются так, что они и не могут приобретать никаких других познаний, кроме тех, которые заставляют их считать свои поступки вполне хорошими и нравственными».

«Но долго ли еще мы будем терпеливыми свидетелями того, как целый ряд поколений воспитывается, чтобы стать преступниками? Сколько времени еще мы будем преследовать, как диких зверей, этих бедных, не возбуждающих жалости страдальцев, пока они окончательно не запутаются в сетях и каменном законе? А между тем, если их поставить в жизненные условия людей, окруженных в настоящее время блеском и достоинством юстиции, а последним дать жизненные условия несчастных преступников, то первые заняли бы судейские места, а вторые очутились бы на скамье подсудимых»... Тем, которые думают иначе, я ответил бы так: «Послушайтесь хоть раз чувства человечности или просто справедливости и потратьте несколько часов на посещение общественных тюрем Лондона; расспросите с сердечным участием различных заключенных о событиях их жизни и жизни их родственников. Их рассказы должны приковать ваше внимание; они раскроют перед вами такую бездну страданий, бедствий и несправедливости, существование которых вы не считали бы возможным в культурном государстве...»<sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> «Опыты по образованию характера», цит. по переводу «Вестник Знания», изд. 1909 г., стр. 3.

<sup>2)</sup> Цит. соч., стр. 8.

<sup>3)</sup> Цит. соч., стр. 13—14.

Наконец, как Оуэн объясняет, сами «Опыты» написаны им и предложены вниманию общества с целью устранить условия, толкающие «трудовые и бедные классы» на различные противобщественные поступки и преступления, и уменьшить бедствия, их гнетущие.

«Настоящие очерки,—заявляет он,—написаны мною не с увлеченной целью и не для забавы праздного мечтателя, который только предается размышлениям в своем уединенном кабинете, но никогда не действует на практике; нет, они написаны с целью побудить людей к деятельности, заставить общество сознать его собственные интересы и направить общественную мысль к важнейшей задаче, а именно к рациональной постановке воспитания и образования характера той огромной массы населения, которая при настоящем положении вещей повсюду совершает разнообразные преступления<sup>1)</sup>. Неужели внимание политических деятелей и министров будут занимать вопросы чисто местного и преходящего значения, окончательное решение которых сводится к тому, чтобы отнять материальные выгоды у одного класса людей и передать их другому? Неужели только эти вопросы будут вызывать петиции от заинтересованных земледельческих и промышленных округов? И неужели благосостояние миллионов бедняков, полунагих, полуголодных, без всякого образования и воспитания, число которых в нашей стране возрастает ежегодно до ужасающих размеров, не вызовет ни одной петиции, ни одной депутации, ни одной рациональной и действительной законодательной меры?.. Мы не колеблемся ни минуты тратить годы жизни и расходовать миллионы на раскрытие преступлений и наложение наказаний за них... и в то же время мы не сделали ни одного шага, чтобы предотвратить преступления и уменьшить огромное зло, гнетущее в настоящее время человечество (курсив мой. А. А.). Неужели эти ложные принципы, руководящие поведением правителей мира, будут постоянно оказывать влияние на человечество?»<sup>2)</sup>.

Приведенные отрывки с несомненностью доказывают, что идея об образовании характера средой укрепились в Оуэне благодаря наблюдениям над фактами окружающей его социальной действительности (бедствия, невежество и преступность широких народных масс), явившимися результатом происходившего на его глазах промышленного переворота. В рассматриваемом сочинении Оуэн еще недостаточно ясно выразил связь между этими фактами и экономической средой, их породившей; но что он понимал эту связь, в этом мы убеждаемся из сочинений, написанных всего два—три года спустя.

Так, рассматривая в речи, обращенной к шотландским фабрикантам (в 1815 г.), последствия хлопчатобумажной промышленности для английского трудового населения, он говорит: «Только

<sup>1)</sup> Здесь во взглядах Роб. Оуэна наиболее резко чувствуется противоречие, к которому его приводят рассуждения, основанные главным образом на рационалистической части его мировоззрения. Если характер образуется средой, то каким образом воспитание без коренного изменения социальной среды может изменить характер? Как мы видим дальше, анализ экономической действительности помог ему выбраться из этого противоречия.

<sup>2)</sup> Цит. соч., стр. 11—12.

с введением этой отрасли промышленности бедность, преступление и несчастья с ужасной быстротой распространились среди нашего народа», и далее прибавляет: «Можем ли мы не краснеть, обращаясь к нашим законодателям с просьбой об издании законодательных актов, упрочивающих и расширяющих эту отрасль промышленности, и таким образом заставить их подписать смертный приговор здоровью, нравственности и счастью тысячи наших ближних, не сделав попытки предложить меры к уменьшению бедствий, создаваемых этой отраслью промышленности». А несколькими строками раньше он констатирует, что на фабриках при нынешних порядках дети в продолжение нескольких лет «приобретают скверные привычки, которые они, подобно заразе, распространяют среди соприкасающихся с ними людей»<sup>1)</sup>. А потому—заявляет он в «Докладе Комитету общества вспомоществования бедным»—«чтобы в их (бедной части рабочих) характере могла произойти коренная перемена, их нужно удалить от влияния упомянутых условий и поставить в такие, которые отвечают истинной природе человека и требованиям общественного блага».

## II.

В вышеизложенном мы рассмотрели интересующий нас вопрос только с одной стороны; но в идее об образовании характера среды для Оуэна заключался еще ряд других элементов, лежащих в основу его мирозерцания. Попытаемся их рассмотреть с принятой нами точки зрения.

Рядом с наблюдением действительности Оуэн с юных лет был активным в ней деятелем. Оуэн с 19-летнего возраста стал управляющим крупной бумагопрядильни Дринкуотера; в возрасте 28 лет—совладельцем и управляющим одной из крупнейших в Англии фабрик—нью-лэнаркской. Перед ним, как и перед другими фабрикантами, стояла нелегкая задача технической организации фабрики и превращения ее людского материала в выходящий максимально полезных рабочих. А каков был этот людской материал, мы знаем из сообщений самого Оуэна. Рассказывая в своей «Автобиографии» о возникновении нью-лэнаркской фабрики, он отмечает, что первое представившееся основателю фабрики затруднение заключалось в том, чтобы найти рабочих для нового предприятия. Для этого нужно было, как он выражается, собрать новое население, что, однако, было нелегкой задачей. «Потому что всем шотландским крестьянам, выросшим в нормальных условиях (т.-е. выросшим в родительском доме, а не в благотворительных детских приютах. А. А.), противна была одна мысль—работать с утра до вечера день за днем на хлопчатобумажных фабриках... Чтобы получить взрослых рабочих, была построена целая деревня, где дома за низкую плату отдавались таким семьям, членов которых можно было склонить к поступлению на фабрику в качестве рабочих. Но столь велико было отвращение к подобной работе в те времена, что только немногие лица, лишенные друзей, постоянных занятий и выбитые из колеи, согласились для пробы поступить на фабрику; и даже из не-

<sup>1)</sup> См. Life of R. Owen, т. I A, стр. 17—18.

добных общественных слоев нельзя было набрать достаточного числа рабочих для возрастающих нужд фабрики»...

Правда, сказанное здесь относится к моменту основания первых фабрик в 70-х и 80-х годах XVIII в. Сельское население, хотя и выбитое из обычной колеи, первоначально крайне неохотно шло на фабрики и туда попадали худшие элементы. Но положение вещей оставалось таким же приблизительно до конца XVIII в. и в первых годах XIX в. Роберт Оуэн, характеризующий рабочих нью-лэнаркского поселка, какими он их застал, вступив в управление фабрикой (в 1800 г.), пишет: «Можно сказать не греша против истины, что они воплощали в себе все пороки человеческого общежития, обладая очень немногими из его добродетелей. Воровство и сбыт краденого были их промыслом, лень и пьянство—их привычками, обман и мошенничество—их нравами; ссоры по всяким личным и религиозным вопросам—обычным времяпрепровождением. Они сходились лишь в одном—в упорном, систематическом противодействии планам своего хозяина».

Как выполняли вышеуказанную задачу обучения и дисциплинирования рабочих другие фабриканты? Они смотрели на занимаемых ими людей обычным оком буржуа—предпринимателей, как на низшую людскую породу, и даже хуже, как на сброд, который можно превратить в сносных рабочих только путем строгостей и репрессий (строгого надзора, штрафов, увольнений, привлечений к суду за воровство и пр.).

Оуэн подходит к этому вопросу с совершенно иной точки зрения. Он, как мы видели, из наблюдения общественной жизни убедился, что плохие привычки, приобретенные рабочими, являются результатом неблагоприятной социально-экономической среды и потому не только не могут быть поставлены им в вину, но легко могут быть изгнаны и заменены привычками и стремлениями совершенно иного рода. Как же повести это общее и профессиональное исправление и воспитание рабочих? И в этом вопросе Оуэну помогло его углубление в экономический и технический процесс, происходивший перед его глазами. Для него рабочих—часть общего технического оборудования фабрики, такая же машина, как и прочие машины, но только более тонкой конструкции,—одним словом, живая машина, которую столь же нелегко исправлять и совершенствовать мерами строгости, как другие мертвые машины.

Этот взгляд он с удивительной рельефностью выразил в своем знаменитом «Открытом письме к директорам фабрик», составляющем лучшую и наиболее глубокую страницу его «Опытов». Там он, между прочим, пишет:

«Многие из вас, имеющие дело с фабричными предприятиями, уже давно поняли, какую большую пользу приносит солидная, хорошо придуманная и хорошо сделанная машина. Точно так же по опыту вы знаете, как различны результаты, получаемые от машины, находящейся в чистоте, порядке и полной исправности, и от грязно, неряшливо содержимой машины, в которой не предупреждают излишнего трения и которая поэтому скверно работает и часто нуждается в исправлениях».

«В первом случае вся система находится в надлежащем состоянии; каждая операция протекает легко, успешно, без за-



держки. Во втором случае мы видим обратное. Между всеми факторами и орудиями, принимающими участие в общем процессе производства, наступают трение, беспорядок и дисгармония, вследствие чего фабрикант, конечно, терпит большие убытки<sup>1)</sup>.

«Но если вы, заботясь соответствующим образом о ваших бездушных машинах, можете получить такие блестящие результаты, то каких же выгод можно ожидать, если вы обратитесь ту же долю внимания на ваши живые машины, отличающиеся значительно лучшей организацией? Изучите, как следует быть эти живые машины, их удивительный механизм, их саморегулирующие силы, какими пружинами производятся те или иные движения,—и тогда вы поймете их истинную ценность; тогда вы почувствуете себя склонными обращать на них больше внимания, чем на ваши неодушевленные машины; тогда вы поймете, что их можно легко посредством выучки направить так, чтобы они приносили значительно больше денежной выгоды, и в то же время вы будете испытывать глубокое и действительное удовлетворение от такого образа действий».

В дальнейшем Оуэн подкрепляет свои доводы ссылкой на выгоды, полученные им от подобного усовершенствования живых машин на нью-лэнаркской фабрике. «Я истратил много времени и денег,—прибавляет он,—на улучшение живых машин, и уже теперь время и деньги, затраченные мной на фабрику в Нью-Лэнарке, приносят более 50% дохода, хотя эти улучшения только вводятся, и пока еще достигнута лишь половина из благотворительных результатов; в ближайшем же будущем такие затраты, несомненно, будут приносить 100% выгоды»<sup>2)</sup>.

Таким образом, мы видим, что в своей деятельности на нью-лэнаркской фабрике Оуэн имел возможность посредством технико-экономического эксперимента проверить правильность своего взгляда на способ образования человеческого характера. Нью-лэнаркский опыт должен был его укрепить не только в правильности тезиса об образовании характера средой, но также в его практическом значении для разрешения задачи улучшения участи тысяч и сотен тысяч тружеников, «звергнутых в нищету, невежество и многие другие бедствия совершенно не по своей вине и страдающих так, как будто они были виновны в своей участи»<sup>3)</sup>.

1) Влияние окружающих условий и в частности технического прогресса (машинизма) на укрепление в Оуэне идеи об образовании характера средой отмечено Доллеаном. «Его (Оуэна) теория,—пишет он,—продукт не только философии его времени, но и его профессиональной деятельности. Будучи директором фабрики, Оуэн постоянно имел перед глазами механические операции, при которых человек является только как бы придатком машины и действует автоматически... Взгляды Оуэна на общество имеют механический характер, потому что Оуэн смотрит на общество как на нечто изготовляемое... воспитание он называет фабрикацией характера... человеческая природа представляется ему сырьем, из которого фабриканты социального счастья могут сделать, что им угодно...» (Э. Доллеан, цит. со стр. 26—28).

2) «Опыты об образовании характера», стр. 25—28.

3) Поэтому Оуэн, озираясь много лет спустя на свою нью-лэнаркскую деятельность, не без основания мог ее назвать «великим экспериментом». Характеризуя в своей «Автобиографии» задачу, которую ему предстояло осуществить в Нью-Лэнарке, он пишет:

«Мне предстояло теперь приступить к великому эксперименту, который должен был мне доказать на практике, насколько правильными

Здесь мы подходим к другому, и очень важному тезису, который Оуэн выводил из своей идеи об образовании характера средой. Это—тезис о громадных преимуществах кооперативной системы перед индивидуалистической. Человек не образует своего характера, повторяет многократно на разные лады Роб. Оуэн, он не есть кузнец своего счастья; этого счастья он может достичь только в сотрудничестве с другими. Правильно понимаемое счастье, повторяет он многократно, заключается в способствовании счастью своих ближних и всего общества. Отсюда вывод о преимуществах и благах сотрудничества и кооперации.

Нетрудно, однако, убедиться, что, выводя этот тезис из своей излюбленной идеи об образовании характера средой, Оуэн одновременно с этим находил для него основательное подкрепление в доводах чисто экономического характера. Нетрудно убедиться, что вред системы конкуренции и выгоды кооперации Оуэн обосновывает чисто экономическими доказательствами. Правда, он нигде при этом не входит в подробности, не дает таких детальных и наглядных доказательств, как, например, его современник Фурье, но само его стремление подкрепить эту сторону своего мировоззрения чисто экономическими доводами несомненно и между прочим показывает, что он сам чувствовал, насколько трудно связать этот тезис чисто абстрактным путем с идеей об образовании характера.

Уже в «Докладе Комитету Общества вспом.», хотя и очень кратко, он обосновывает экономические преимущества своих кооперативных поселков. «Труд одного и того же количества и качества,—говорит он,—под одним руководством дает несравненно более ценные результаты, чем под другим... Один порядок расходования средств дает более выгод и удобств, чем другой... Считаюсь с этим, всякий план улучшения участи бедных должен заключать в себе способы, которые... поставили бы их в условия, способные... тесным образом объединить их интересы и обязанности. Такие преимущества не могут быть предоставлены отдельным лицам или семьям порознь. Они могут быть успешно проведены в жизнь лишь при таком устройстве, которое позволяло бы объединить в одном учреждении население от 500 до 1.500 душ, в среднем человек 1.000». В дальнейшем Оуэн рисует картину хозяйства в кооперативном поселке, где все основано на общественных началах, как производство, так и потребление.

В своем «Дальнейшем развитии плана, содержащегося в докладе», он подробно обосновывает преимущества кооперативной системы, перечисляя 15 ее, главным образом, экономических преимуществ перед индивидуалистической системой. Там он, между прочим, пишет: «При ныне существующей индивидуалистической системе, каждая семья должна заботиться о закупке на рынке всего необходимого для ее индивидуальных нужд, при самых невыгодных условиях; при предполагаемом устройстве той же

неправильные принципы, вошедшие в мое убеждение, как вечные принципы истины, которые, будучи приложены на практике, должны были дать одно великое, вечное и доброе... Этот опыт заключался в том, чтобы установить... на фактах: возможно ли посредством замены плохих условий хорошими освободить человека от зла и преобразовать его в интеллигентное, рациональное и доброе существо; возможно ли превратить бедствия, которыми человек окружен от рождения до смерти, в жизнь добра и счастья, поставив его в хорошие и благоприятные условия»...

затратой энергии можно заготовить продуктов для 1.000 человек и на условиях наиболее выгодных. При нынешней системе каждая семья должна иметь все домашние приспособления для стирки и одно лицо в семье должно быть целиком занято изготовлением пищи и т. п. работой для семьи из обычного числа лиц. Соответствующие приспособления дадут возможность пяти или шести лицам изготовить наилучшим образом пищу для 1.000 человек. При современной системе индивидуальной конкуренции «родители должны трудиться по 10—16 часов в день, чтобы обеспечить жалкое существование для себя и своих детей—и трудиться большей частью в обстановке, самой неблагоприятной для здоровья и нормальной жизни, между тем как при кооперативной системе родители будут заняты не более восьми часов в день при здоровой и приятной обстановке»<sup>1)</sup>.

Вопросу о преимуществах кооперативной системы перед индивидуалистической Оуэн посвящает немало места в «Докладе Совету ланаркского графства», где он указывает, сколько труда тратится непроизводительно при современной системе индивидуального соперничества и взаимостребления, сколько при ней существует ненужных занятий и профессий, как односторонне и пагубно для физического и душевного здоровья развивается человеческий организм при существующем ныне детальном разделении труда, и приходит к выводу, что система индивидуальной противоположности интересов... довела нас до того, что «окруженные самыми многочисленными средствами создания богатств, люди пребывают в нищете, охватившей большую часть населения, и среди опасностей, угрожающих всем прочим от последствий этой нищеты»<sup>2)</sup>.

Наконец, вся оуэновская критика капиталистического строя есть не что иное, как отрицание принципа индивидуализма и пользу единения, кооперации и социально-экономического равенства, которые становятся возможными благодаря сверхобильным средствам (superabundant means) для производства богатств, созданных современной механикой и химией, между тем, «как в последних открытиях, изобретениях и улучшений в науках и искусствах и в особенности до изобретений и открытий в области механики и химии равенство в социальном положении и воспитании было неосуществимо» (см. 7-ю часть «Книги нов. нравств. мара»).

Остается указать еще одну сторону в идее об образовании характера,—сторону, связывающую ее с религией, вред которой для укрепления уз общности Оуэн в самых резких выражениях подчеркивает при всяком удобном случае. Сам Оуэн уверяет, что идея об образовании характера средой возникла у него в отроческом возрасте под влиянием размышлений о религии и после освобождения от религиозных предрассудков.

«Освободившись от религиозных предрассудков и их вредного влияния на здравый смысл,—пишет он в своей автобиографии,—я стал мыслить яснее и проче и постепенно пришел к заключению, что люди не в состоянии образовать свою об-

ственную организацию или какое бы то ни было из своих качеств и что эти качества и свойства их характера производятся в каждом обстоятельстве их жизни, над которыми человек не имеет другого влияния, кроме того, которое ему предоставляется совокупностью этих обстоятельств, но над которыми общество, наоборот, имеет громадное влияние. Поэтому я стал смотреть на природу своих братьев, людей с совершенно иной точки зрения, чем другие люди, и с гораздо большим милосердием и снисходительностью. Моя душа в результате этого постепенно приобретала спокойствие и ясность и в то же время чувства гнева и недобржелательства постепенно в ней погасли».

В других местах своих сочинений Оуэн говорит, что он отверг религию, с одной стороны, вследствие лежавшего в ее основе принципа индивидуальной ответственности, а с другой— вследствие распри, столкновений и взаимной ненависти, возбуждаемой ею между людьми.

Чтобы понять ожесточение Оуэна против религии, вспомним о множестве сект, существовавших в Англии и наполнявших своими раздорами общественную жизнь со времени реформации. Малоразвитые и совершенно необразованные английские рабочие начала XIX в., равнодушные в большинстве случаев к очень важным для их интересов политическим и социальным вопросам, со страстью предавались религиозным спорам, часто ненавидя братьев—рабочих, принадлежавших к противоположной секте, гораздо больше, чем угнетателей—капиталистов из единоплеменцев. Вспомним вышеприведенную характеристику нью-ланаркских рабочих, у которых «ссоры по религиозным поводам были обычным времяпрепровождением». В вопросе о преобразовании и усовершенствовании характеров рабочих Оуэн придавал большое значение уничтожению религиозных предрассудков. Живая машина, начатая религиозными предрассудками, была технически отсталой и недостаточно производительной.

И для образования коммунистических общин религиозные предрассудки являлись чрезвычайно серьезным препятствием. С этой точки зрения в известной степени можно объяснить ту смелость и страстность, с которой Оуэн выступил против религии на митинге 21 августа 1817 г. в Лондонской таверне. Этот шаг, стоивший ему значительной доли популярности и симпатий, которыми он пользовался среди богатых и сильных, был частью его «великого плана». Правильная постановка производства и потребления в рекомендуемых им общинах должны были стать невозможными, если их населить лицами разных сект, которые, вместо установления и укрепления принципов единения и кооперации, будут предаваться религиозным ссорам. Оуэн, у которого план коммунистической общины теоретически и практически созревает и оформляется в рассматриваемый период (1816—1820 г.г.), считал нужным, во имя правильной и целесообразной ее организации, обрушиться на религию со всей присущей ему откровенностью и прямотой. К тому же он верил в силу проповеди, в силу истины, высказанной открыто без всяких уверток, ибо «истина—и это было догматом его веры—должна, в конце концов, взять верх над заблуждением». Он настолько уверен в невозможности кооперирования лиц различных религий или сект, что в своем «Дальнейшем развитии плана улучшения положения бедных» он, раз-

<sup>1)</sup> Life of Rob. Owen, т. I А, стр. 89—92.

<sup>2)</sup> Life of Rob. Owen, т. I А, стр. 283.

деляя свои общины на классы и разряды, допускает в одну и ту же общину лиц одной и той же секты или очень сходных сект.

Подводя итог всему вышесказанному, мы видим следующее. Если пристально присмотреться к развитию миросозерцания Роб. Оуэна, то нетрудно убедиться, что идея об образовании характера средой (быть может, и заимствованная им из сочинений его английских современников или материалистов XVIII в.) укрепилась в нем и получила значение основной и руководящей в его миросозерцании, главным образом, под влиянием наблюдения и изучения окружающей его социально-экономической среды: в частности под влиянием наблюдения над последствием промышленного переворота, под влиянием практической деятельности по перевоспитанию и дисциплинированию рабочих, критического анализа сущности капиталистического строя, под влиянием наблюдений над пагубными последствиями религии для укрепления уз единения и кооперации.

Наблюдения над последствиями промышленного переворота убедили его в том, что дурные характеры (грубость, невежество, преступность и пр.) трудовых масс являются результатом неблагоприятной социально-экономической среды, созданной этим переворотом. Практическая деятельность над превращением людей подобных характеров в надлежащих максимально полезных рабочих убедила его в том, что, поставив рабочего в благоприятные условия (благоприятную среду), можно изменить к лучшему весь его характер и в частности добиться наиболее благоприятных результатов от его труда и технических способностей. Изучая отрицательные последствия развивавшегося на его глазах капиталистического строя, он приходит к выводу о неспособности индивида устроить единоличными усилиями свое счастье в подобной социально-экономической среде и о необходимости ее коренного изменения в сторону единения и кооперации. Наконец, наблюдение над существующими религиями, сеющими распри между людьми, обратным путем приводит его к отрицанию проповедимой этими религиями индивидуальной ответственности, и укрепляет в нем убеждение в неответственности человека за его дурные поступки, на которые его толкает дурная общественная среда.

### III.

Теперь попытаемся проследить классовые корни учения и пропаганды Роберта Оуэна. Вопрос, который нам нужно разрешить, заключается в следующем: интересы какой части английского рабочего класса отразились в учении Роберта Оуэна? Или иначе, среди каких элементов этого класса оуэновское учение могло найти и нашло наибольшее последователей, стремившихся дать ему практическое осуществление?

Чтобы ответить на намеченный вопрос, рассмотрим прежде всего в самых общих чертах, каковы были средства оуэновской пропаганды.

Как уже неоднократно было указано, в миросозерцании Роберта Оуэна было два направления, приводившие, с одной стороны, к революционной критике капитализма, внутренние против-

речия которого вскрыты им с удивительной глубиной (см. статью в № 10 «Под Знаменем Марксизма», 1923 г.), к революционной по существу программе (уничтожение существующего строя, которое должно явиться «как тать в ночи»), а с другой стороны—к крайне примиренческой антиреволюционной и утопической тактике. Главным средством обоснования примиренческой тактики служит идея об образовании характера. Начиная с первого своего литературного произведения («Опыт об образовании характера») и кончая последними, каковы «Книга Нового Направленного Мира», «Всемирная Революция» и др., Оуэн не перестает повторять, что уничтожение строя индивидуализма и едновления вместо него строя единения и общности произойдет путем коренной перемены в умах людей и без всякого вреда для богатых и привилегированных классов, без гнева, ненависти и кровопролития, погому что господствующим классам неповинны в бедствиях, причиняемых ими обществу, ибо их положение, характеры и деяния являются результатами не их доброй воли, а окружающих обстоятельств в такой же степени, в какой результатом этих обстоятельств являются бедность, невежество и преступность широких народных масс.

Как уже было отмечено в своем месте (см. указанную выше статью), Роберт Оуэн не был настолько близорук, чтобы не видеть всех тех последствий, к которым могла и должна была привести разыгравшаяся на его глазах классовая борьба. Мы видели уже в своем месте (см. ст. о Роберте Оуэне в № 10, за 1923 г., «Под Знаменем Марксизма»), что Оуэн верил в возможность и близость социальной революции, более того, преувеличивал ее близость и всей силой своей пропаганды стремился ее предупредить. Согласно его уверениям, он во избежание социальных потрясений даже замалчивал в своих речах и сочинениях многие и наиболее отрицательные стороны существующего строя и стремился уменьшить заманчивые стороны рекомендуемых им преобразований. Страхась революции и стремясь ее предупредить, Оуэн предпочитает мирные методы борьбы, ходатайства перед властью имущими и в коридорах парламента, обивание порогов, образование комиссий из влиятельных лиц и т. п. Когда он, наконец, убеждается в бесполезности этих ходатайств и в тщетности своих надежд на помощь со стороны представителей господствующих классов, то, увлекаемый разыгравшимся под влиянием его пропаганды рабочим движением, он становится во главе его, чтобы на короткое время подняться до крайних выводов, к которым его учение могло привести на почве английской действительности той эпохи.

Методы, к которым прибегал Роберт Оуэн, не были новыми в английской политической жизни вообще, ни в частности в английском рабочем движении. Обращаясь к последнему, мы видим, что с самого начала промышленного переворота в нем наблюдаются две струи или два направления. С одной стороны, практика «прямого действия»—разгром фабрик и машин, голодные стачки и пр., с другой—метод парламентских и иных ходатайств. Характеризуя эту сторону английского рабочего движения в первый период промышленного переворота, Уэбб пишет: «... мы видим, что рабочие, возмущенные нововведениями, которые угрожали их обычному источнику средств к жизни,

доверчиво обращались с жалобами на своих новых хозяев в с'езды мировых судей, к парламенту, в государственный совет... посылали адвокатов в палату общин или в комиссию палаты лордов для того, чтобы требовать новых законов или возразить на законопроекты, вносимые хозяевами; наконец, организовывали весь механизм политической агитации с массами петиций, с внушительными демонстрациями на улицах, с давлением на членов парламента посредством переговоров в кулуарах парламента...<sup>1)</sup>

Присматриваясь к раннему периоду английского рабочего движения, мы видим, что метод «прямого действия» был преимущественно фабричным рабочим, а метод парламентских ходатайств и просьб о вмешательстве власти—ремесленным и полуремесленным производствам, где основным кадром рабочих были так называемые обученные рабочие, борющиеся за сохранение законов об ученичестве и минимуме заработной платы (устанавливаемом мировыми судьями).

Но если в своей тактике Оуэн, таким образом, был близок к методам, практиковавшимся так называемыми обученными рабочими, то, с другой стороны, главный пункт его программы—основание общин единения и кооперации—был воспринят и приспособлен для своих нужд теми же слоями рабочего класса. При этом приспособлении был нанесен сильный ущерб революционным элементам самой программы Роберта Оуэна. Она была так «приспособлена», что Оуэн не узнал части своего «великого плана» в кооперативных объединениях, которые стали организовывать его последователи, начиная с 1821 г. Каковы же были слои рабочего класса, среди которых стали возникать эти объединения? Возьмем первую ассоциацию, созданную последователями Оуэна в Лондоне в 1821 г. под названием «Кооперативное и экономическое общество» (Cooperative and economical Society). Просматривая таблицу, составленную комитетом для организации общины и показывающую, сколько экономии должно было получиться от перехода отдельных семей участников к общинной жизни, мы видим, что община была рассчитана на более состоятельных рабочих, таких, которые за квартиру в состоянии платить 10 ф. ст. в год и в состоянии делать взносы по гинее в неделю, «чтобы удовлетворить общежитие предметами первой необходимости и достаточными удобствами... и доставить средства для организации производств и открытия торговли...». И действительно мы узнаем, что основателями этого общества были лондонские наборщики, руководимые одним из первых последователей Оуэна, редактором «Economist'a»—Мюди. Немедленное основание общины оказалось невозможным, и комитет отказался от своего первоначального плана, предложив совершенно иной план—открытие торговли, где пайщикам-членам ассоциации должны были продаваться доброкачественные предметы домашнего обихода, купленные по оптовой цене и продаваемые с наложением 5%, что дало бы возможность покрыть расходы по лавке и образовать фонд.

Этот опыт, как известно, оказался единичным и не нашел подражателей. Между ним и возобновлением кооперативного дви-

<sup>1)</sup> С. и Б. Уэбб, Теория и практика английск. трэд-юна, изд. ВЦСПС, т. 4 стр. 266—267.

жения прошло около пяти лет. Эти пять лет были периодом пропаганды учения Р. Оуэна среди рабочего класса. Первой и главной ассоциацией, задавшей целью кооперативной пропаганды (посредством лекций, диспутов, брошюр и газет) было «Лондонское кооперативное общество» (London Cooperative Society). Кто же составлял главное ядро этого общества? Как правильно указывает М. Бер («История социализма в Англии», стр. 282), это были «интеллигентные рабочие и социалистически настроенная буржуазная интеллигенция». Сюда нужно присоединить еще несколько представителей денежной буржуазии, которые своими средствами готовы были притти на помощь молодым энтузиастам, стремившимся к осуществлению конечной цели, поставленной их учителем—основанию коммунистических общин. Таких попыток в период 1825—1828 г.г. было сделано несколько как кооператорами, группировавшимися вокруг лондонского общества, так и членами других обществ в различных местах страны (Дублинское кооперативное общество, Девонско-экзетерское и др.). Присматриваясь к финансовым операциям этих обществ, мы видим, что они были рассчитаны на более состоятельных рабочих. Так, например, «Лондонское кооперативное общество» собрало капитал в 4000 ф. ст. паями в 5 ф. ст. каждый.

Кооперативное движение возобновляется и получает более широкий и рабочий характер, начиная с 1828 г. Первые из обществ, основываемых начиная с этого года, как известно, ставили первоначальной целью накопление фонда для основания коммунистической общины; средством же этого должна была служить кооперативная торговля. Первое такое общество было учреждено в Брайтоне. Вот как описывает в брайтонском «Кооператоре» цели и методы этого общества доктор Кинг, преданный последователь Оуэна. «Нам недостает капитала... Мы должны соединиться в общество с специальной целью получить его; мы должны составить фонд, делая еженедельные взносы; как только он достигнет достаточных размеров, надо будет закупить различных товаров, чтобы продавать их из общественной лавки всем членам с целью удовлетворить их потребности. Получаемая прибыль будет идти на образование общего капитала, в свою очередь затрачиваемого на приобретение наиболее нужных товаров. Таким образом, у нас будут два источника накопления—еженедельные взносы и прибыль... При достаточном накоплении капитала общество сможет приобрести земельный участок, где поселятся члены; они будут сами обрабатывать его и производить продукты, какие сочтут нужным, удовлетворяя, таким образом, все свои потребности в пище, одежде и жилище»<sup>1)</sup>.

Описываемое движение получило быстрое развитие. В период 1828—1832 г.г. таких обществ во всей Великобритании было основано от 400 до 500.

Какое же был социальный состав этих обществ?

В своей автобиографии (Life and struggles) Ловетт дает об этих обществах и их составе следующие сведения: «... Первое из товариществ этого типа было учреждено, как мне кажется, в

<sup>1)</sup> Цит. по Б. Уэбб, Кооперативное движение в Великобритании, т. 4 изд. ВЦСПС, М. 1918 г., стр. 31.

конце 1828 г. в Брайтоне неким Брайаном. Успех их был так велик, что вскоре в различных частях страны возникло от 400 до 500 аналогичных союзов. Члены этих обществ делали на первых порах небольшие денежные взносы, на которые открывалась лавка, где продавались пищевые продукты и другие нужные рабочим предметы, как платье, книги и т. п. Прибыль присоединялась к основному капиталу. Когда фонд вырос, то многие из них перешли к производству и стали занимать своих членов сапожников, портных и т. д. (курсив мой. А. А.) изготовлением предметов одежды, при чем платили им обычную заработную плату. Затем многие перешли к производству сукна, шелка, полотна, ножевых изделий, мебели и т. п. (курсив мой. А. А.)<sup>1</sup>. Подобные же сведения мы находим у Б. Уэбб, которая пишет: «Путем накопления прибылей многие из этих кооперативных обществ достигли дальнейшей ступени развития, давая работу своим членам в организуемом ими производстве «текстильных изделий, обуви, одежды и мебели» (курсив мой. А. А.)<sup>2</sup>. Уэбб тут же на основании сообщений Холлока прибавляет, что эти общества решительно держались в стороне от политических организаций.

Из этих сообщений мы видим следующее. Во-первых, открываемые кооперативные общества были или потребительными или смешанными потребительно-производительными (вернее сырьевыми); во-вторых, состав этих 400—500 обществ (т. е. главной массы обществ, образовавших ядро оуэновского кооперативного движения) был по преимуществу мелкоремесленный и кустарный; в-третьих, эти общества чуждались политике (в первую очередь были вовлечены широкие кадры как мелкоремесленных, так и фабричных рабочих под влиянием агитаций радикалов), т. е. держались правоверного оуэнизма, стоящего за примирение и сглаживание классов. Да это и понятно само собой. Ведь общества этого периода ставили своей конечной и вместе с тем очень близкой целью накопление капитала для создания коммунистической общины и по существу не могли интересоваться политической жизнью и должны были сторониться политической борьбы. Что касается их отношения к капиталистам, то хотя они стремились к самостоятельному накоплению «фонда общины», но не прочь были от поддержки со стороны доброжелательно настроенных состоятельных людей (в «Брайтонской ассоциации кооперативного фонда» 1828 г. было несколько мелких капиталистов); фактически эти общества обходились, главным образом, собственными очень ограниченными средствами, которые все же давали им возможность существования и развития. Одновременно с развитием кооперативных объединений потребительского характера кооперативное движение направляется в производственный путь и на этом пути приходит в соприкосновение с тред-юнионами. Это движение усиливается к началу 30-х годов.

Дальнейшие успехи машинного производства, с одной стороны, и промышленная депрессия начала 30-х г. г., с другой — особенно сильно отразились на ремесленных и полуремесленных

отраслях промышленности. Безработица приняла грандиозные размеры; в частности эти отрасли производства, в особенности строительная, страдали от произвола и эксплуатации посредников и подрядчиков. Тред-юнионисты, затронутые проповедью Оуэна, начинают основывать производительные товарищества (producing associations). В отличие от trading associations эти товарищества в большинстве случаев не ставят себе грандиозной цели основаания коммунистических общин; они ограничивают ее поддержкой безработных. Их оуэнизм сводится преимущественно к оуэновской фразеологии, вносимой в их уставы; фактически они ограничиваются удовлетворением текущих нужд своих членов. Впрочем, оуэновский идеал здесь проявился в стремлении к сбыту без посредников — к взаимному обмену. Это движение, с одной стороны, и дальнейшее усиление безработицы среди указанных слоев рабочего класса, с другой — привели к созданию «бирж трудового обмена» (Labour Exchange).

Кто же были главные клиенты этих «бирж»? Об этом трудно было судить априорно. Это, конечно, не могли быть фабричные рабочие, а могли быть только ремесленники и кустари, изготовляющие продукты собственными средствами и силами и ищущие рынка сбыта. Более конкретно мы узнаем об этом из доклада Комитета Объединенных профессиональных ассоциаций (United Trades associations) на открытии 1 мая 1833 г.) National Equitable Labour Exchange (Национальной Справедливой Биржи трудового обмена). Это не было открытием новой биржи, а переходом прежней обанкротившейся оуэновской биржи в руки нового правления, избранного из состава тех producing societies, которые совершали свои обменные операции через названную биржу. «Общества, уже объединенные (для обменных операций) — говорится в докладе — обнимают плотников, сапожников, шляпочников, портных, щеточников, меднолитейщиков, маляров, стекольщиков, мебельщиков, токарей и некоторых других... Большой или меньший успех нашего плана, — замечает далее докладчик, — зависит от числа профессий объединившихся, чтобы вести друг с другом дела указанным способом...»<sup>1</sup>.

Лето 1833 г. было периодом наиболее активной агитации оуэнистов, стремившихся привлечь тред-юнионы к оуэнизму и в частности к операциям бирж трудового обмена. Оуэновские миссионеры раз'езжали по всей стране, читая лекции и пропагандируя. Оуэновская манчестерская корреспонденция (1833—1834 г. г.) содержит много писем от последователей Оуэна из Бирмингама, Манчестера, Ворчестера и других мест. В этих письмах агитаторы-оуэнисты сообщают о своих усилиях и успехах, прося учителя прибыть в то или иное место, чтобы своим личным участием закрепить их достижения. Из этих писем можно получить представление о тех слоях трудового населения, среди которых происходила эта агитация.

Так, в письме из Манчестера от 6 июля 1833 г., Маршалл, прося Оуэна приехать для прочтения лекций, сообщает, что столяры, каменщики, кладчики кирпича и все профессии, относящиеся к строительному цеху, лишены теперь работы и хотели бы услышать из его уст о биржах трудового обмена и т. п.

<sup>1</sup>) См. Бер, цит. соч., стр. 283.

<sup>2</sup>) Б Уэбб, цит. сочин., стр. 31.

<sup>1</sup>) Crisis, т. II, стр. 137—139.

вешах. Уилькс из Вёрчестера, сообщая о своих стараниях заинтересовать тред-юнионы биржами, добавляет, что сапожники с удовольствием принимают его предложение и согласны послать обувь в Бирмингем в обмен на точильные принадлежности; точно так же он вел благоприятные переговоры с союзом перчаточников и пр.<sup>1)</sup>

Усилившееся в период этого (1833 г.) лета кооперативное движение подготовило образование «Великого Национального Консолидированного Союза Производств» (Grand National Consolidated Trades Union).

#### IV.

Читая свою обычную субботнюю лекцию в «Charlotte Street Institution» 6 октября 1833 г., Оуэн говорил: «Я только что вернулся сюда, об'ехав самые населенные части нашей страны. Везде господствует чрезвычайное возбуждение по поводу нынешнего кризиса в делах; но это не возбуждение старого мира, не возбуждение гнева и зложелания. Это высокое моральное возбуждение трезвых, работающих и разумных людей, которые, негодя на несправедливость современного общественного строя, решили утвердить справедливые и естественные права тех, которым общество обязано всеми своими удобствами и наслаждениями». Далее Оуэн сообщил об успехах своей пропаганды и своего «великого плана» и прибавил: «Я теперь дам вам краткую схему великой перемены, которая внезапно нагрянет «яко тать в нощи... Мы уже давно открыли, что до тех пор, пока предприниматель конкурирует с предпринимателем, не может быть никаких улучшений ни для него, ни для его рабочих. Единственным выходом из нынешнего положения должно явиться основание национальных компаний в каждой профессии. Все профессии должны первоначально образовать ассоциации или приходские ложи с достаточным числом членов для руководства данной отраслью промышленности. Эти приходские ложи должны послать делегатов в ложи графств, а эти последние в Великий Национальный Совет... Иллюстрируя свой план, Оуэн, что характерно, берет примером одежду отрасль. Все профессии, относящиеся к одежной отрасли—как-то: портные мужские и дамские, шляпочники, модистки, сапожники и пр., должны образовать одну компанию и таким же образом должны сорганизоваться другие рабочие.

В более подробном изложении этой схемы, сделанном на шестом кооперативном конгрессе, происходившем 2—3 дня спустя под его председательством в том же «Institution», Оуэн объяснял, что он имеет в виду объединить в одном Великом Союзе не только рабочих, но и предпринимателей и даже само правительство. Конгресс постановил образовать «Grand National Moral Union of the Productive an Useful Classes», в состав которого приглашались войти все «трэд-юнионы, кооперативные общества, благотворительные общества и все ассоциации, стремящиеся к улучшению положения трудовых классов»<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> См. Podmore, цит. соч., стр. 440.

<sup>2)</sup> См. Crisis, т. III, стр. 42 и 63.

\*Ближайшим шагом в этом движении в нашей цели, — сказал Оуэн — будет объединение хозяев и фабрикантов с их рабочими и служащими; и когда

Как известно, оуэновский Великий Союз не только охватил большинство существовавших в 1834 г. тред-юнионов, но привел к быстрому образованию новых довольно больших профессиональных организаций в различных производственных отраслях. Поэтому не приходится спрашивать о том, к каким слоям рабочего класса принадлежали юнионы, входившие в его состав. Вопрос, на который мы хотели бы ответить, хотя бы в общих чертах, заключается в том, какие союзы находились под действительным идеологическим влиянием Оуэна, и какие примкнули к нему под влиянием момента, втянутые в движение общим увлечением. На этот вопрос можно дать только косвенный ответ.

Для этого мы должны вспомнить, что попыткам к образованию «национальных» и «всеобщих» союзов предшествовало образование оуэновского Великого Союза. Среди этих попыток особенно замечательна попытка, связанная с именем Догерти, организовавшего в 1829 г. бумагопрядильщиков Англии, Шотландии и Ирландии в «Великий Всеобщий Союз Соединенного Королевства», главным ядром которого фактически были ланкаширские союзы. Целью союза сначала была борьба за ограничение продолжительности рабочего времени, а потом выработка общего тарифа расценки. Вскоре Догерти порвал с «Всеобщим Союзом» и начал агитацию за образование «Союза всех производств», которая в 1830 г. привела к образованию «Национальной ассоциации по охране труда», ставившей главной целью сопротивление стремлениям предпринимателей к снижению заработной платы. Устав ее был скопирован с устава «Всеобщего Союза» бумагопрядильщиков. Территорией действия ассоциации были Ланкашир, Чешир, Ноттингам, Дерби, Лейстер. Союзы, вошедшие в ассоциацию, относились, главным образом, к текстильной отрасли; то были преимущественно бумагопрядильщики, аппретурщики, вязальщики и др. Вскоре ассоциация начала притягивать к себе и другие категории рабочих. Так, в апреле 1830 г., углекопы из Стаффордшира, Йоркшира, Чешира и Уэльса в количестве 9.000 человек постановили примкнуть к ассоциации; вскоре к ней примкнуло столько же рабочих шерстеобрабатывающей промышленности, а потом гончары и др. Необходимо, однако, отметить, что фактически руководителем ассоциации оставалось объединение ланкаширских бумагопрядильных союзов<sup>1)</sup>.

Подводя итог этому движению, мы видим, что оно объединило, главным образом, фабричных рабочих, что во главе его стояли бумагопрядильщики, что движение не задавалось никакими грандиозными целями, а стремилось только к завоеванию более короткого рабочего дня и удержанию на прежнем уровне падающей заработной платы.

Совсем с иной стороны и с другими стремлениями началось оуэновское движение, приведшее к образованию «Великого Союза». Ячейками этого движения, как мы видели, были союзы ремеслен-

обе стороны вполне поймут значение этого объединения, то правительство не только почувствует необходимость объединиться с ними, но будет проповедывать выгоды этого объединения всему государству» (Crisis, т. III, стр. 63). Здесь в простых и наивных выражениях высказано то, что Уэбб и Макдональд не перестают повторять в своих многочисленных сочинениях «с ученым видом знатоков».

<sup>1)</sup> Подробнее об этом см. Уэбб, История тред-юнионизма, изд. ВЦСПС, вып. II, стр. 6—11 и далее.

ных и полуремесленных производств, группировавшиеся вокруг бирж трудового обмена и стремившиеся к устранению посредничества и созданию условий, при которых рабочий мог бы получить полный продукт или максимальную долю продукта своего труда; прототипом же «Великого Союза» была «Великая Национальная Гильдия Строителей».

«Среди всех союзов, которые в это время наиболее были восприимчивы к идеям Роберта Оуэна — читаем мы у Кола <sup>1)</sup> — самым крупным был «Союз строителей». Его штаб-квартирой был Бирмингам, в то время один из главных центров оуэновской пропаганды и место, где находилась наиболее процветавший отдел Labour Exchange'a. Бирмингамские строительные рабочие в это время находились под сильным влиянием двух молодых архитекторов Джозефа Генсома и Эдуарда Велша, очень ревностных кооператоров. По их предложению, поддержанному Джемсом Моррисоном, издателем «Pioneer'a», неофициального органа союза, Оуэн был приглашен в Бирмингам, чтобы приветствовать делегатов, прибывших из Манчестера и других мест. В Бирмингаме были сделаны шаги для образования кооперативного товарищества или гильдии, и Оуэн предпринял объезд лож союза для пропаганды. В сентябре «Великая Ложка» или «Парламент строителей», представлявший союз в целом, собрался в Манчестере. Предложенный Оуэном план организации «Великой Национальной Гильдии Строителей» (Grand National Guild of Builders) предварительно был разослан по ложам, напечатан целиком в Pioneer'e и разъяснен Оуэном на многих митингах. «Парламент строителей» под руководством Оуэна посвятил целую неделю реорганизации союза. Он одобрил план Национальной Гильдии и выпустил «дружественную декларацию», возвещающую миру о его новой политике. Сэр Роберт Пилль, говорится в декларации, дал нам совет «взять наши дела в собственные руки».

«Мы решили следовать совету и с этой целью мы организовались в «Национальную Гильдию Строителей», чтобы сделать нас способными строить здания всякого рода в Англии, Шотландии и Ирландии...». Далее идет краткое изложение в обычном оуэновском стиле тех выгод, которые должна принести с собой эта новая организация. Гильдия будет строить лучше и дешевле, чем любой предприниматель, она будет поддерживать всех своих членов и членов их семейств в детстве и старости и в случае болезни; она будет предупреждать безработицу доставлением работы своим безработным членам, она будет строить наилучшие жилища для них самих и таким образом содействовать поднятию их жизненного уровня, а также тому, чтобы строители, их жены и дети могли жить окруженные такой добродетельной обстановкой, которая одна способна создать просвещенное, процветающее, доброе и счастливое население... она будет заботиться о перевоспитании всех братьев и об усвоении ими новых и лучших манер и привычек и о получении их детьми такого воспитания, которое сделает их наилучшими архитекторами и строителями человеческого характера... и т. д., в оуэновском духе. В заключение воззвание приглашало примкнуть к гильдии и предприни-

<sup>1)</sup> Кол в цит. соч. дает некоторые подробности об образовании и истории Национальной Гильдии Строителей.

мателей и подрядчиков, обещая им гораздо больше выгод, чем они имеют сейчас при системе ожесточенной индивидуальной конкуренции. Но предприниматели были гораздо менее готовы, чем делегаты съезда, принять это многообещающее предложение о создании системы всеобщей гармонии; и когда союзы, входившие в гильдию, стали выдвигать требование об увеличении заработной платы и гильдия начала брать подряды независимо от предпринимателей, последние ответили локаутами и требованиями подписания «документа».

В виду безработицы, вызванной забастовками и локаутами, бирмингамская гильдия при содействии Генсома и Велша приступила к постройке собственного «Дома строителей», но, несмотря на старания этих ревностных кооператоров, дело не удалось довести до конца. Возведенное вчерне здание было продано за долги. Вскоре сама гильдия распалась.

«Но раньше этого краха, — заканчивает историю гильдии Кол, — гильдия была вовлечена в движение «Великого Союза», часть которого образовало таким образом движение строителей. Апокалипсический язык вышеуказанной декларации теперь распространялся на все движение, взятое в целом».

Что движение строителей дало толчок к образованию «Великого Союза», мы видим из слов Оуэна, сказанных на обычной субботней лекции в «Institution» за несколько дней перед предложением и принятием его плана на 6-м конгрессе кооперативов и тред-юнионов. В этой речи он находится целиком под впечатлением своего объезда лож строителей и манчестерского конгресса строителей, где его план был одобрен и принят к выполнению <sup>1)</sup>.

Немалую роль в движении, повидимому, играли два других больших союза («big unions») суконщиков и гончаров. Во всяком случае, можно сказать следующее. В то время как строители, суконщики, гончары, портные, мебельщики, если не в массе, то по крайней мере в виде отдельных кооперативных ячеек в большей или меньшей степени, ведут линию оуэновских принципов, среди хлопкопрядильщиков и других фабричных рабочих текстильной отрасли в Ланкашире и прочих северных графствах имеет больше успеха агитация Догерти и Фильдена за восьмичасовой рабочий день <sup>2)</sup> — и только на короткий срок меньше полугода оуэновское движение как бы охватило все промышленные отрасли. Таким образом, можно с полной уверенностью сказать, что рабочие чисто фабричных отраслей были мало задеты оуэнизмом <sup>3)</sup> и во всяком случае мало причастны к созданному им кооперативному движению и мало проникнуты его проповедью классового мира и морального воздействия на предпринимателей <sup>3)</sup>.

Подводя итог всему сказанному нами о классовых элементах, захваченных проповедью Роберта Оуэна и его последователей, на-

<sup>1)</sup> См. выше, а также Crisis, т. III, стр. 63.

<sup>2)</sup> Кол пишет: «Рост оуэнизма и кооперации в продолжение этого периода (т. е. до 1833 г.) был ограничен сравнительно узкими кругами и очень мало затрагивало крупные промышленные округа Северной Англии» (цит. соч., стр. 190).

<sup>3)</sup> Правда, и лидер строителей Моррисон расходился с Оуэном по вопросу о классовой политике, проповедуя классовую борьбу вместо классовой солидарности; но моррисоновский синдикализм не был достаточно воспринят широкими слоями строителей, расточавших свое боевое настроение в бесконечных мелких стачках.

чаяя с «основанного в 1821 г. лондонскими наборщиками «Кооперативного и экономического общества» всех производств, мы видим, что теория и практика оунизма нашла наиболее преданных и ревностных последователей в ремесленных и полуремесленных отраслях производства среди так называемых обученных или квалифицированных рабочих — и не только среди наемных рабочих, но и среди самостоятельных мелких ремесленников и кустарей, сталкиваемых безжалостным экономическим процессом в ряды пролетариата.

Это они (как рабочие, так и самостоятельные мастера), более всех страдавшие от конкуренции машин, обесценивавших их труд, от наплыва новых кадров необученных, и следовательно дешевых, рабочих, от конкуренции предпринимателей между собой, от эксплуатации хозяев, хозяйчиков, скупщиков и посредников, — это они жадно воспринимали учение, которое труд признавало единственным источником богатства, которое требовало поэтому для рабочего права на полный продукт его труда или по крайней мере на максимальную его долю, которое, наконец, указывало ему верный путь спасения от всех бед машины, конкуренции и взаимонистрбления — путь единения и коммунизма.

Но, воспринимая учение Оуэна, эта часть рабочего класса не пошла целиком за своим учителем, а приспособила его учение к своим нуждам. Она восприняла нерволюционные элементы этого учения, она превратила его в мелко-буржуазный кооператизм, который Оуэн отказывался признавать частью своего «великого плана». Этой части рабочего класса, стоявшей только одной ногой в пролетариате и цеплявшейся за свое привилегированное положение обученных рабочих, были чужды страстные нападки Оуэна на «тройду зол» — буржуазный брак и религию. Ей был чужд и коммунизм. Если идеал коммунистических общин находил среди этого слоя рабочих последователей (большей частью на словах, а не на деле), то потому, главным образом, что этот идеал был приурочен к психологии и мечтаньям этих рабочих, жадно цеплявшихся за все, что сулило им возможность избежать пролетаризации; община сулила им возможность возвращения к недавнему столь заманчивому существованию их родителей и дедов — самостоятельному существованию на лоне природы, к обеспеченному существованию кустарей, при котором ремесло равномерно сочетается с земледелием и машина будет не разорителем и угнетателем, а помощником и благодетелем.

Но, лелея в мечтах этот туманный идеал, они были далеки от его осуществления и расгочали в мелких стачках за повседневные нужды свои силы, которые руководители «Великого Союза» призывали их беречь для решительного боя с капитализмом, — для всеобщей стачки — «священного праздного месяца, организованного и проводимого в жизнь всеми классами наемных рабочих». Они не откликнулись на этот призыв, так как по классовой своей природе были неспособны к активной и решительной борьбе с капитализмом.

\* \* \*

На открытии съезда рабочей партии в Лондоне в 1823 г. Сидней Уэбб произнес речь, которую закончил следующими словами, чрезвычайно характеризующими сущность современного

английского социал-реформизма: «Даже осуществив большие преобразования, мы немного достигнем, если не будем действовать в духе солидарности, ибо надо всегда помнить, что основателем британского социализма был не Карл Маркс, а Роберт Оуэн, и что Роберт Оуэн пропагандировал не классовую борьбу, а старое учение о человеческой солидарности».

Значение этих слов становится яснее при свете даже того немногого, что нами выше сказано о классовых корнях оунизма. Хотя между очерченными нами слоями рабочего класса и нынешними носителями оуэновской «человеческой солидарности» лежит целый век английского рабочего движения, но нетрудно доказать, что между современными аристократами труда (плюс профсоюзное чиновничество), являющимися носителями этого принципа и задающими тон в английском рабочем движении, и их предками «обученными» рабочими, стремившимися улучшить свое экономическое положение посредством мелко-буржуазного кооператизма и других мирных средств, цеплявшимися за свое привилегированное положение и страшившимися опуститься в ряды доподлинного пролетариата, — что между этими двумя слоями английского рабочего класса разных эпох существует родственная преемственная связь.

Подобно Сиднею Уэббу и Джорджу Кол, написавший недавно обстоятельную биографию Роберта Оуэна, в неменьшей степени мог бы установить родство оунизма с гильдейским социализмом, сближавшим некоторые неустойчивые умы из рядов квалифицированного пролетариата. Здесь аналогия и сходство в теории и практике с оунизмом эпохи «Великого Союза» и в частности оуэновской Nat. Builders Guild с гильдейской Nat. Builders Guild 1822 г. (с ее неудачными утопическими затеями), — бросается прямо в глаза.

К указанным лидерам и теоретикам английского социал-реформизма и социал-утопизма следует присоединить всех вождей типа Рамзея Макдональда, которые не перестают повторять на разные лады, что их теория, подобно оунизму, является «вернейшим оплотом против революции» и которые подкрепляют ее своей практикой, дезорганизуя и парализуя движение рабочих масс, лишь только оно принимает революционный оборот.

В сказанных нескольких словах мы только намечаем вопрос, на рассмотрении которого, к сожалению, мы здесь останавливаться не можем и который мы надеемся сделать предметом отдельной статьи.



## Спорные вопросы истории философии.

(По поводу книги А. Варьяна „История новой философии“, т. 1, ч. 1. Рационалистический материализм и идеализм. ГИЗ, 1926, Стр. VIII + 341).

Интерес к философии в наши дни бесспорный. В ближайшие годы он, несомненно, будет повышаться. Грандиозные события, необычайное напряжение классовой борьбы в мировом масштабе, обострение всех экономических, политических, бытовых и культурных противоречий эпохи, видимый антагонизм между огромным ростом точных и технических наук и параллельно идущим небывалым кризисом в области теоретического естествознания,—все эти явления вызывают поистине жгучую и неустрашимую потребность в осознании и разрешении сложных проблем бытия, истории, знания и метода. В первую очередь философский интерес современности направлен на вопросы теоретические (в широчайшем смысле этого слова). Революционнейший из всех классов, которые когда-либо боролись за свое будущее и вместе с тем за будущее человечества, борется не вслепую. Он хочет осознать законы своей борьбы и законы того мира, в котором он борется. Арену своей жизни и борьбы он хочет осветить лучами теоретического мировоззрения. Вопросы строения материи, принцип относительности, загадки эволюции и зарождения жизни, противоречия механистического мировоззрения, проблема психического, анализ бессознательного—вот вопросы, которые составляют предмет самого напряженного и неустанного внимания. Обсуждение этих вопросов в специальных ли статьях и журналах или на публичных диспутах и в стенах семинаров—всегда и всюду встречает самый живой отклик широкой аудитории, самое неусыпное внимание.

Казалось бы, при таком исключительном интересе к вопросам теоретического порядка, для интереса к историческому исследованию не остается места. Однако думать таким образом значило бы впасть в огромный и прежде всего—теоретическую ошибку. Мы живем, работаем, строим и боремся в настоящем—для будущего. Мы сами делаем свою настоящую историю, но на основе данных и при помощи сил, которые нам оставило прошлое. Строго говоря, само настоящее не может быть понято без уразумения развития его из тенденций минувшего. Мировоззрение, которое разложило вещи на процессы, а процессы—на тенденции, не может быть равнодушно к связи настоящего с прошедшим. Поэтому историзм есть фундамент не только нашей теории, но и практики. Диалектический материализм есть самая революционная философия в мире, ибо он ставит задачу не только познать мир, но и перестроить его. В то же время диалектический материализм отнюдь не развивается вне философской традиции, ибо перестраивает мир он по тем принципам, которые находят в этом же самом мире, как тенденции его развития, ибо сама его теория

отражающая реальную практику исторической жизни, есть закономерный результат и широчайший синтез всего предшествующего развития теоретической мысли. Даже более того. Ни одно из прошлых и современных философских направлений, ни одна философская система не может стать наравне с диалектическим материализмом в его законном праве на использование всего действительно ценного, что может быть обнаружено в философской традиции прошлых веков. Poleмична, критична и фрагментарна лишь форма выражения и изложения доктрины марксизма, ибо эта форма отражает практические условия борьбы пролетариата, среди которых возникло само учение. Но в то же время по сути диалектический материализм есть истинно положительное и синтетическое учение, развивающееся в русле философской исторической традиции, ею читающееся и ее развивающее.

Уже Лейбницу, а еще в большей мере Гегелю было ясно, что каждый этап, каждое крупное явление в истории философии включает в себе некоторую хотя бы относительную, неполную, но все же положительную истину и что никакой синтез современной философии не может быть осуществлен без использования положительных данных прошлого развития. Гете выразил ту же мысль в известном афоризме о философии, которая всегда едина, всегда была, ибо это есть—истинная философия. Но ни Лейбницу, ни Гегелю, ни Гете не была доступна точка зрения, которой необходимо держаться, чтобы добиться действительного синтеза всех относительно истинных моментов и учений предыдущего философского развития. Гегель лучше других понял, какое значение имеет историческая традиция в философии. Но предпосылки объективного идеализма не позволили Гегелю установить правильный принцип и указать критерий для отбора действительно ценных моментов исторической традиции. Космологический миф о саморазвитии абсолютной идеи приводил на почве истории философии к превратному идеологическому представлению о чисто-логической диалектике развития философских теорий и систем. По Гегелю, каждое направление к истории философии, представляя одностороннее и относительное выражение абсолютной истины, раскрывает в своем содержании логические противоречия, которые, будучи осознаны и развиты, порождают сами по себе, в силу «имманентной» диалектики духа, следующий и высший этап философского развития. С формальной стороны эта концепция истории философии казалась вполне объективной, ибо все без изъятия системы и направления рассматривались в ней, как моменты развития единой философии, ведущие—в пределе—к единой истине бытия. Однако за формальным объективизмом гегелевской истории философии скрывалась далеко не объективная конструкция. В схемах гегелевской истории философии явно выступают на первый план те моменты философского развития, которые были нужны автору для оправдания общего замысла онтологии объективного идеализма. И напротив: ряд чрезвычайно важных моментов в истории материалистических учений не получил у Гегеля ни должной оценки, ни разработки. В итоге, несмотря на то, что Гегель правильно понял значение философской традиции и дал ряд гениальных, во многих отношениях непревзойденных характеристик, история философии в строго-научном смысле слова он не дал.

После Гегеля начинается явная деградация. Философский декаданс второй половины XIX века окончательно разрывает связи, соединяющие философию с положительной традицией. Эпигоны классических идеалистов быстро растрачивают великое наследство. В философии воцаряются многочисленные виды и оттенки скептицизма и релятивизма, задрапированные в одежды «научного» позитивизма. Живые источники диалектической тра-

диции,—традиции Декарта, Спинозы, Лейбница, Фихте и Гегеля,—теряются в песках «позитивной» философии. Вместе с тем в корне меняется взгляд и на философию и на ее историю. В сознании буржуазных мыслителей философия превращается в историю философии, а на последнюю начинают смотреть только как на «историю заблуждений», в лучшем случае, как на род «истории литературы», именно литературы философской. Понятая таким образом история философии становится узко-академической профессией буржуазных профессоров и утрачивает всякое серьезное жизненное и теоретическое значение. В 70-х годах XIX в. против этой деградирующей академической философии восстает Ницше в замечательном этюде «О пользе и вреде истории для жизни». Но личный протест бессильен там, где идут процессы, выражающие тенденции развития целых классов. Свои стрелы против академического историзма Ницше посылает, уже смертельно сраженный ядом той деградирующей культуры, против которой он борется. Академическая философия торжествует.

В то время как в буржуазной культуре конца века задачи истории философии извращались в соответствии с творческим упадком и теоретическим снижением класса, вожди революционного пролетариата выковывали мощное орудие нового метода, в котором историко-философским исследованиям отводилось должное место и обеспечивалось то жизненное и теоретическое значение, каким история философии по праву должна пользоваться. «Теоретическое мышление,—писал Энгельс,—является врожденным свойством только в виде способности. Она должна быть развита, усовершенствована, а для подобной разработки не существует для нас пор никакого иного средства, кроме изучения истории философии»<sup>1</sup>. И в другом месте: «Знакомство с историческим развитием человеческого мышления, с господствовавшим в разные времена пониманием всеобщей связи внешнего мира необходимо для теоретического естествознания и потому, что оно дает масштаб для оценки выдвигаемых этим естествознанием теорий. Здесь часто ярко выступает недостаток знакомства с историей философии»<sup>2</sup>).

Но если основатели марксизма совершенно ясно представляли роль, которую должна сыграть история философии в развитии нового класса, то практические условия борьбы пролетариата в эпоху Маркса и Энгельса не давали еще надежной базы для развития новых традиций историко-философского исследования.

Октябрьская революция принесла свободу марксистской мысли и создала материальные и культурные предпосылки для широчайшего развития марксистских научных исследований. Естественно было ожидать, что новая эра обогатит нашу литературу работами по истории философии. Однако это обогащение еще не наступило. Первая причина сравнительно медленного развития нашей историко-философской научной продукции лежит в общих трудностях нашего экономического и культурного роста. Вторая причина коренится в большой сложности историко-философского исследования. Это исследование требует соединения в одном человеке, помимо теоретической одаренности, данных филолога (розыскателя, интерпретатора и критика литературно-философского наследия), экономиста-историка и—зачастую—специалиста-ученого в области естественных наук. Такое соединение вообще встречается редко, обычно бывает частичным и требует большой, упорной и длительной подготовки. Кадры марксистских историков философии,готавливаемые нашими инст-

1) Архив К. Маркса и Ф. Энгельса, II, стр. 127.

2) Там же, стр. 125.

тутами, находятся еще в периоде образования. Наконец, третья причина, задерживающая рост историко-философской науки, заключается, по нашему мнению, в том, что мы не любим заниматься историей. Отчасти эта нелюбовь есть выражение большой жизненности и здоровой практичности нашей науки. Задачи практического строительства нам ближе всего и накладывают мощный отпечаток на характер и на направление наших теоретических интересов. Отчасти же здесь, быть может, и некоторый дефект нашего научного роста. Этот дефект, несомненно, имеет тенденцию сглаживаться. Уничтожая метафизический разрыв теории и практики, довлеющий над буржуазным мирознанием, мы берем на себя обязательство быть всегда историчными. Сама диалектика, это наше теоретическое и методологическое оружие, есть одно из выражений нашего историзма. Нам нужна основательная научная история, равно далекая от плоской «имманентности» идеалистических конструкторов, от вульгарных упрощенческих схем материалистических конструкторов и от холодного скептицизма и релятивизма академической традиции.

Поэтому появление книги А. Варьяша, представляющей, согласно разъяснениям автора, только первую часть первого тома очень большого систематического сочинения по истории философии, должно бы представлять целое событие. Автор подчеркивает, что его история философии есть не только повествовательное, но, главным образом, объяснительное историческое исследование. Автор стремится не только передать нам содержание теорий рационалистов XVII века, но также пытается объяснить, почему в это время у этих мыслителей эти теории должны были возникнуть. Варьяш исходит из убеждения, что философские теории, даже наиболее отвлеченные, сложные и тончайшие, далекие на первый взгляд от какой бы то ни было связи с «низинами» общественной жизни,—на самом деле суть не что иное, как выражение процессов и событий, происходящих в основном слое общественного бытия—в сфере производительных сил и им соответствующих производственных отношений. В декларативной части своего введения автор энергичски отрицает неизжитый, по его мнению, взгляд, будто «логические процессы определяются двоякого рода закономерностью: логическими законами, с одной стороны, и историческими законами—с другой» (стр. 21). Автор заявляет, что на всем протяжении труда он руководился строго логическим принципом марксистской методологии. Этот принцип он формулирует в положении, что «на определенном общественном базисе могли развиваться только определенные соответствующие ему идеологии, и что между идеями и общественным производственным процессом существует только одно соотношение, а именно, что идеи, в конечном счете, однозначным и подчиненным образом определяются этим производственным процессом» (стр. 11). В связи с таким методологическим принципом стоит еще одна методологическая задача, которую ставит себе автор и которая, в его глазах, выгодно отличает его труд от других марксистских работ по истории философии: автор не ограничивается одной логической критикой несостоятельных теорий, но стремится выяснить историческую необходимость их возникновения: «Мы хотим,—говорит он,—показать не только необходимость тех или иных идей, но также и историческую необходимость подобных заблуждений: независимо от того, истинна идея или ложна, ее историческое появление представляет собой факт, и, как таковой, он требует объяснения» (стр. 12, курсив А. Варьяша).

Провозгласив в методологическом Введении принцип «однозначной причинной связи между общественным производственным процессом и

философией, автор пытается дать объяснение целому ряду исторически развивавшихся понятий и теорий, которые, по мнению автора, до последнего времени оставались недосягаемыми для марксистского анализа, скрываясь за внушительным «табу» логической имманентности. В этот круг теорий, объясняемых Варьяшем, попадает и сама логика, которая слышит твердней всякой имманентной филиации идей. «Исторический материализм,—заявляет автор,—может совершенно устранить предпосылку о логической имманентности» (стр. 27). В особом экскурсе, посвященном истории общества и истории логики, автор показывает, что хотя «содержание идеологии нужно вывести имманентно из логических принципов, но эта имманентность всегда остается относительной, представляя собой следствие из принятой логической системы; в этом случае сама, принятая в качестве масштаба, логика является историческим продуктом»... (стр. 26, курсив А. Варьяша). «Мы не знаем,—говорит автор,—единой логики, которая росла бы только количественно вместе с ростом человеческого знания, и основная нить которой осталась бы неизменно одной и той же» (стр. 239). Автор решительно отвергает взгляд, будто в истории философии характер той или иной философской системы определяется «положенной в основу ее логической концепцией» (стр. 239). Наоборот,—говорит он,—«от общих потребностей данной философской системы зависело то, какое логическое учение принималось за исходный пункт» (стр. 239).

Руководимый своим «монистическим» принципом, автор в специально-исторической части книги пытается «однозначно» вывести все основные понятия и теории рационалистической философии XVII века из общественного производственного процесса: философские колебания и непоследовательности Декарта, его математический метод, интеллектуалистическую форму его учения об аффектах. Автор делает попытку выяснить общественный смысл декартовского «cogito», которое он ставит в связь с идеей Декарта о *Mathesis universalis*.

В отделе, посвященном Спинозе, автор приступает к труднейшей задаче—связать такое умозрительное построение, как спинозизм, с общественной почвой, на которой оно выросло и от которой оно оторвалось (стр. 186). Автор утверждает, что существует связь между политическими взглядами, развитыми Спинозой в «Богословско-политическом трактате», и между учением Спинозы о субстанции в той его форме, которая представлена «Этикой». Посредствующее звено между «Трактатом» и «Этикой» он видит в учении Спинозы об интеллектуальной любви к богу (*Amor dei intellectualis*). Автор пытается дать социологический анализ среды «коллегиантов», в которой жил Спиноза по изгнанию из еврейской общины, а также характеризует его просвещенных друзей, как представителей зажиточного бюргерства. Заслуживает быть отмеченной мысль Варьяша о том, что философский кружок Спинозы был зачаточной формой франк-массонства, этой «организации светского порядка, враждебной принципам тогдашнего феодального общества» (стр. 193). Автор не только констатирует учение Спинозы о всеобщем детерминизме явлений природы и отрицание целевого рассматривания, что уже неоднократно отмечалось историками философии: он идет дальше и ставит вопрос о том, что означает в капиталистическом обществе признание всеобщего закона причинности и отказ от понятия целесообразности» (стр. 199—200). Автор полагает, что строй мыслей, который в онтологии приводит Спинозу к учению о субстанции, совершенно тождественен—в учении Спинозы об обществе—с характерными для этого учения идеями о том, что инди-

видуумы существуют лишь совместно и что нет никаких самостоятельных индивидуумов», что «подобно тому как субстанция не является индивидуумом (ибо индивидуум есть всегда конечный, смертный модус), точно так же нет личного бога, нет пророка, апостолов, церковного и светского трансцендентного» начальства, а, следовательно, нет и царя» (стр. 200). Далее автор стремится обнаружить тождество онтологического учения о модусах, которые «имеют, с одной стороны, преходящий характер, а, с другой стороны, строго дегерминированы...» (стр. 200) с психологическим учением о взаимоотношении волевых актов и с характерным для Спинозы политическим постулатом свободы мысли и философского исследования. Демонстрация соответствия между этим тройным рядом понятий и учений завершается у Варьяша утверждением, что «взгляд Спинозы на общество и, в конечном счете, на субстанцию был обусловлен развитием производительных сил, т. е. развитием мануфактурного производства и рынка, состояние которых и отражает его теория государства» (стр. 201).

В учении Спинозы о причинности автор сосредоточивает внимание читателя на связи между этим учением и кальвинистической доктриной о предопределении. Опираясь на анализ Энгельса, показавшего, что кальвинизм был «чисто земным принципом», «религиозной оболочкой интересов тогдашней буржуазии», Варьяш показывает, что принцип всеобщей, не допускающей никаких исключений причинной зависимости имел в системе спинозизма двойное значение, являясь, с одной стороны, «самым могучим оружием науки», а с другой—служа интересам буржуазной революции, ее «наиболее сильным идеологическим оружием» (стр. 202).

С тем же методологическим принципом автор обращается к анализу философии Лейбница. Нетрудно понять, какой интерес должна вызвать у читателя-марксиста эта глава. Из переписки Маркса с Энгельсом известно, с каким глубоким интересом относился Маркс к Лейбницу. Однако до самого последнего времени характеристика и оценка философского наследия Лейбница составляли привилегию буржуазных ученых. Трудности, представляемые анализом Лейбница, чрезвычайно велики: неисследованность его литературного наследия, эпистолярная форма изложения, обилие тем, тенденций и мотивов лейбницевской философии—все эти обстоятельства надолго задержали марксистский пересмотр учения Лейбница. Тем любопытнее должно было бы быть исследование Варьяша, использовавшего ряд последних работ о Лейбнице: В. Руссел'я, Сасчет'а и других. Как и в анализе учений Декарта и Спинозы, автор исходит из положения, что характерные черты политической и философской деятельности Лейбница «имеют своим источником одни и те же мотивы» (стр. 233). Автор сам позаботился разъяснить читателю, что его работа представляет значительный шаг вперед в сравнении даже с лучшими предыдущими исследователями философии Лейбница. Так, В. Руссел, автор ценной монографии о Лейбнице, в анализе логических невязок системы Лейбница не идет дальше психологических ссылок на личный темперамент ее творца. Правильно раскрыв оппортунистические тенденции философии Лейбница: преданность интересам церкви, преклонение перед князьями, стремление согласовать выводы своего учения с теологической традицией, Руссел—в качестве последней инстанции для объяснения этих учений—выдвигает данные философского темперамента Лейбница. Варьяш считает своей задачей вскрыть всю недостаточность этого объяснения. «Психические особенности Лейбница,—говорит он,—могут объяснить то, почему он стал выразителем таких оппортунистических, приспособленческих тенденций, но они не в состоянии объяснить, почему вообще подобные тенденции возникли в лоно того общества, или, вернее, того

класса, выразителем настроений которого он являлся» (стр. 306). Характеристика Russell'a верная, как описание, не верна, как объяснение. Углубляя эту характеристику, Варьяш приводит интересные самопризнания Лейбница и, сопоставляя их с основными учениями Лейбница, приходит к выводу, что философия Лейбница возникла и получила распространение на основе теоретических потребностей высших групп германской буржуазии, части бюрократии и идеологов складывающейся системы просвещенного абсолютизма. Для определения «социально-идеологических потребностей», которые получили выражение в системе Лейбница, Варьяш предпринимает анализ всех главных понятий его учения. Предикативная теория суждений, понятия непрерывности и бесконечно малого, основные принципы динамики Лейбница, монадология, психологическая теория бессознательного, учение о *petites perceptions*, учение о совершенствовании и оптимизм, одним словом, все центральные понятия и доктрины лейбницевской философии Варьяш пытается подвести под определенную связь с общественными отношениями. В итоге Варьяш провозглашает ряд выводов, действительно, неизвестных еще в нашей историко-философской литературе. Так, система монадологии разъясняется как идеологическое отражение, в первую очередь, не церковных, а государственных интересов феодального общества, в том числе и высших слоев немецкой бюрократии» (стр. 310). В учении о непрерывности, а также в учении о бесконечно-малых обнаружена — в качестве основы — грандиозная попытка «примирения противоположных классовых интересов в то время, когда буржуазия (главным образом, в Германии) была еще слаба и когда она была готова идти на уступки старым хозяевам жизни» (стр. 312). Выражением этой компромиссной тенденции была, по Варьяшу, и динамика Лейбница, в которой идея силы, как представляющего и стремящегося существа, должна была удовлетворять одновременно и потребности науки — с ее всеобщим принципом причинности — и нуждам церкви — с ее отстраненной от нее концепцией конечных причин.

Тот же социологический анализ дает, по Варьяшу, ключ к уразумению и объяснению двойственного характера философии Лейбница: метафизической в одних и диалектической в других своих тенденциях и учениях. В учении Лейбница об эволюции и непрерывности диалектически было, по Варьяшу, понятие о «предельных видах, т. е. о тех видах, которые находятся как бы около точек поворота и пересечения и которые допускают двоякое толкование» (стр. 312). Теория покоя и движения развитая Лейбницем в сочинении о принципе непрерывности, вплотную приближается к идее диалектической логики. Варьяш показывает, что данное Лейбницем объяснение прерывности процессов природы по сути тождественно принципу перехода количества в качество, хотя Лейбниц не пользуется прямо этими терминами (стр. 319). «Лейбниц, — гласит вывод Варьяша, — настолько приблизился к идее диалектического перехода, что ему лишь не хватало слов, чтобы формулировать ее» (стр. 321). Даже понятие *optimus*, т. е. известное учение Лейбница о том, что мир, в котором мы живем, — наилучший, раскрывает, по Варьяшу, свою двойственную природу, а социологический анализ этого понятия приводит автора к выводу, что хотя «Лейбниц не был революционером, но его система, его философия в своих основных идеях пропитана духом революционной диалектики» (стр. 325). В итоге в памяти читателя закрепляется заключение, что «философия Лейбница не представляла в свое время целиком ни одного из тогдашних классов, являясь идеологическим блоком части помещиков и буржуазии» (стр. 325).

Мы познакомились с выводами социологических анализов, представленных в книге Варьяша. Но автор не ограничился задачей социологического объяснения философских теорий. Свою работу автор усложнил другой задачей, которая представляет несомненный интерес, но в то же время возлагает на автора большую ответственность. Автор стремится не только объяснить из общественных условий возникновение и развитие философских учений, но также стремится на всем протяжении книги выяснить, какое теоретическое значение и какую ценность представляют излагаемые им старые теории для современности. Разработка этого вопроса несомненно придает книге т. Варьяша много живости. И это вполне понятно. Прошлое имеет для нас значение не само по себе, но лишь постольку, поскольку оно еще живет в настоящем, поскольку оно способно питать собою потребности настоящего. Не в том задача историка идей, чтобы словами старых авторов или собственными словами повторить и воспроизвести в сокращенном виде ход их мыслей и строй их рассуждений. Скорее она в том, чтобы, поняв социальные корни прошлых учений, определить затем, какой смысл и какое применение получили они в дальнейшем развитии, особенно же то значение, какое они могут иметь для нас и в наше время. Но такой анализ — очень тонкая и трудная задача. Очень легко переступить черту, за которой подобная интерпретация превращается в субъективнейшую и потому недопустимую и антинаучную «интроекцию». Ниже мы увидим, насколько удалось т. Варьяшу избежать этой опасности. Но предварительно познакомимся с выводами самого автора.

В отделе о Декарте автор пытается разъяснить историческое значение декартовой теории сознания и учения о единстве интеллекта, при чем автор утверждает, что именно Декарту принадлежит заслуга «открытия сознания». Автор раскрывает диалектический смысл таких достижений Декарта, как *Mathesis universalis*, концепция аналитической геометрии, обоснование закона сохранения количества движения, идея математического метода. Автор пытается проследить историческое влияние не одних только положительных приобретений Декарта, но также и его заблуждений. Отмечены следы воздействия Декарта в теоретических спорах современной физики.

В анализе Спинозизма дана попытка представить учение об *amor dei intellectualis*, как первый в новой философии зародыш идеи развешения, которая в дальнейшем историческом движении через системы Лейбница, Канта и Гегеля приводит к материалистической диалектике Маркса (стр. 189—192). Автор разъясняет, что *amor intellectualis* «содержит в себе в мистической форме некоторые черты диалектики» (стр. 190), именно выражает «диалектику психики» (стр. 191). Отмечены важнейшие идеи «Теолого-политического трактата» Спинозы, предвосхищающие позднейшие учения исторического материализма: идея о том, что государство есть продукт истории, что государство и церковь суть организации власти, господства; идея обратной зависимости между подчинением природы человеку и господством суеверий в человеческом обществе; наконец, отмечена аналогия между учением Спинозы о церкви и государстве и идей Маркса об отмирании государства.

Система Лейбница также подвергнута анализу не только в ее обществено-исторических корнях, но, кроме того, и в ее связях с теориями современности. Этот анализ — бесспорно самый интересный и самый ценный во всей книге, хотя не вполне самостоятельный, ибо основные выводы автора в значительной мере подсказаны ему изучением монографии В. Russell'a.

Двойственная природа философии Лейбница, обнаруженная социологическим анализом, стала источником двойственного же ее воздействия в истории философии. С одной стороны, Лейбниц поразительно ясно представлял себе категорию качества. Для Лейбница математика не сводилась только к алгебре и к теории функций. Варьяш показывает, что Лейбниц был «не только одним из основоположников анализа бесконечно-малых, но и основоположником геометрии положения, чисто качественной науки, и творцом комбинаторики и теории определителей» (стр. 237). С другой стороны, идеалистические предпосылки помещали Лейбницу «спритти к правильной теории об отношении между качеством и количеством» (стр. 237), и все отношения он попрежнему пытался вывести «из двух первоначальных качеств (аналогичности и непрерывности монад)» (стр. 237). Особенно подробно Варьяш останавливается на разборе научных идей, оказавшихся плодотворными для развития частных наук. Он отмечает генетическую связь и теоретическое сходство между учением Лейбница о бесконечно-малом и современным понятием дифференциала, а также правильный взгляд Лейбница на значение понятия предела в новом исчислении. Исключительный интерес представляет анализ гениального письма Лейбница к Вариньону, где Лейбниц утверждает, что «природа представляет необходимо такой порядок, при котором различные классы суть лишь звенья единой цепи. Эти звенья, — говорит Лейбниц, — так тесно сцеплены между собой, что ни чувства, ни воображение не могут точно определить, где кончается одно звено и начинается другое: ибо пограничные виды, т.е. виды, расположенные так бы вокруг точек поворота и пересечения, допускают двойное толкование и могут быть по своим признакам с равным правом отнесены как к одному, так и к другому виду» (стр. 258—259). В итоге анализа Варьяш дает вывод, что Лейбниц со своим понятием непрерывности был чрезвычайно близок «к признанию диалектики в природе» (стр. 260). В разборе физики Лейбница Варьяш обнаруживает собственные теоретические симпатии, а именно пытается доказать близость Лейбница к релятивистским течениям современной физики, которая, по мнению Варьяша, примыкает к Лейбницу и рассматривает пространство, «как некоторое физическое свойство тел» (стр. 261). Далее автор утверждает, что лейбницевское понимание кинетической энергии чрезвычайно близко к формулам современной релятивистической механики и в частности, что интеллект Лейбница была предшественницей энергетической формулы самого т. Варьяша (стр. 263).

Интересна мысль Варьяша, что устранение понятий атома, пустоты и действия на расстоянии явилось у Лейбница в силу невозможности разрешить — в пределах учения о непрерывности — старых диалектических синоний элеатов. Примыкая к Russell'ю, автор полагает, что при выводе парадоксов бесконечного Лейбниц уже пользовался своеобразным диалектическим методом, сходным с аргументацией Гегеля. Отметим также замечания Варьяша о теории пространства Лейбница, которая, несмотря на идеалистическое основание, гораздо глубже проникает в природу пространства, чем трансцендентальная эстетика Канта, и которая служила «в этом пункте путеводителем Гегеля» (стр. 271). Важно для истории философии и для истории диалектики указание о том, что психологическая теория ощущений Лейбница с ее понятием синтеза многообразия есть прямая предшественница трансцендентальной апперцепции Канта. Наконец, в разделе о лейбницевской теории познания и психологии автор останавливается на теории бессознательного у Лейбница и пытается поставить

ее содержание в генетическую и теоретическую связь с аналогичными теориями современной психологии и психиатрии (школа Фрейда).

Мы изложили основное методологическое задание работы Варьяша, а также выводы, к которым приходит автор на основе своей методологии.

Переходя теперь к критической оценке работы Варьяша, как историко-философского исследования, надо прежде всего учесть большие трудности, стоявшие перед автором. Тов. Варьяш сам предупредил о них своего читателя. Совершенно справедливо его признание в том, что поднятая им задача — почти неосуществима для одного человека, ибо она предполагает, во-первых, систематические знания по всем областям человеческой культуры; во-вторых же — полное овладение марксистским методом» (стр. IV). Все нижеследующие возражения и критические замечания мы делаем в свете ясного сознания этих исключительных трудностей. Но даже при всех этих условиях мы все же должны признать, что книга Варьяша страдает крупными и неустраняемыми недостатками.

Первый и коренной недостаток, независимый даже от особых трудностей темы и материала, есть, на наш взгляд, неправильное представление Варьяша о монизме в историческом исследовании. Перед тем как приступить к специально-исторической части своей книги, т. Варьяш поспешил уверить читателей в том, что он — сторонник самого чистого и строгого монизма. В виде гарантии этого монизма т. Варьяш выдвигает свой постулат однозначной причинной связи между базисом и содержанием философских идеологий. Однако нетрудно показать, что «монистическая» методология Варьяша — метафизична и никакого действительного монизма в себе не содержит. Даже в формулировках основного методологического принципа своей работы Варьяш не сумел избежать противоречий и непоследовательностей. Убедимся, что это так.

Тов. Варьяш надеется преодолеть обычный дуализм, вводя понятие «относительной имманентности». «Содержание идеологии, — утверждает он, — нужно вывести имманентно из логических принципов, но эта имманентность всегда останется относительной, представляя собой следствие из принятой логической системы; однако, в этом случае, сама принятая в качестве масштаба, логика является историческим продуктом» (стр. 26). «Лавласовское уравнение, — иллюстрирует он дальше свою мысль, — выводится только из понятия правильной аналитической функции нескольких переменных, имеющих производные первого и второго порядка» (стр. 27). И все же, рассуждает т. Варьяш, — «хотя невозможно вывести лавласовское уравнение непосредственно из существовавшего во времена Лавласа состояния производительных сил, но зато можно вывести из последних потребность в вычислении траектории брошенного тела, длины и площади конических сечений и в решении всех других проблем, являющихся условием для открытия самого этого уравнения» (стр. 28). Для поверхностного взгляда все это рассуждение кажется достаточно убедительным. Но легко показать, что под гладкой формой аргументации Варьяша кроется самая настоящая двусмысленность. Методологический принцип Варьяша гласит, что содержание идеологии должно быть имманентно выведено из ее логических принципов, но несколькими строками ниже т. Варьяш эти «логические принципы» отождествляет с «логикой» (в общем смысле), а на стр. 24 мы вдруг узнаем, что под «логическими принципами» и «логикой» т. Варьяш разумеет здесь не логическую структуру теории, не логику мышления (формальную или диалектиче-

скую), а лишь философские теории о логическом мышлении. Эта двусмысленность в пользовании термином, несомненно, идет на пользу замыслам Варьяша: так как философские теории и учения о логике и логических принципах действительно имеют общественно-обусловленную историю, то формально Варьяш достигает цели и тезис об «относительно-имманентном» характере идеологической эволюции как будто им доказан. На самом же деле вся эта концепция Варьяша (кстати говоря—насколько релятивистической) никакой «однозначно-причинной» связи базиса с теоретическим содержанием идеологии не демонстрирует, ибо основана она на довольно грубом экивоке, на подмене понятия «логическая структура идеологии» существенно иным понятием «философские теории о логических принципах идеологии». Это—во-первых. Если же мы теперь обратимся к примеру с лапласовским уравнением, который Варьяш избирает в качестве образцового применения своего методологического постулата, то сразу обнаружится, что здесь совершается новая подмена, и на место «теорий логики» подставляется понятие общественно-обусловленной потребности в создании тех или иных теорий. Это—во-вторых. В результате мы опять вернулись к тому, с чего начали, ибо нельзя же думать, будто указание, хотя бы самое полное, общественно-обусловленных потребностей в решении каких бы то ни было познавательных задач равносильно открытию «однозначно-причинной связи» между этими потребностями и логическим содержанием соответствующих теорий. Общественно созревавшая потребность, скажем, в умении летать по воздуху, как таковая, т.-е. как потребность, относить не тождественна с содержанием тех математических, механических и физических теорий, которые необходимы для того, чтобы данная потребность реализовалась и стала технической способностью, умением, достижением<sup>1)</sup>. Думать иначе значит впадать в ошибку, которая на языке логики называется «переходом в другой род».

Впрочем, сам т. Варьяш выдает тайну своей неудачи и в одном месте прямо признается: «Историческим вопросом в строгом смысле является вопрос лишь о том, каким общественным потребностям отвечала данная научная теория или идеология, т.-е. из какой исторической необходимости она возникла. Специальное же содержание идеологии нельзя вывести непосредственно из общественных отношений» (стр. 27, курсив Варьяша). Все это—совершенно правильно, но именно отсюда следует, что монизм историко-философского метода—в том смысле, в каком его понимает т. Варьяш,—не существует, так как «однозначная причинная связь» может быть установлена только между историческим фактом появления известных теорий и общественными потребностями, их вызвавшими, но отнюдь не между этими потребностями и содержанием самих теорий. И это—потому, что всякое рассмотрение содержания теории есть, говоря опять словами логики, переход в «другой род», где масштабом уразумения, оценки и критики будут служить уже не потребности, как факты социальной жизни, но

<sup>1)</sup> Сказанному несколько не противоречит известное положение Маркса гласящее, что «человечество ставит себе всегда только такие задачи, которые оно может решить», так как, при ближайшем рассмотрении, всегда окажется, что сама задача тогда выдвигается, когда существуют уже материальные условия, необходимые для ее разрешения или когда они, в крайней мере, находятся в процессе возникновения» (Маркс, Предисловие к «Критике политической экономии»). Не противоречит, ибо, повторяем, потребность не есть причина логического содержания теории, предназначенной для удовлетворения этой потребности.

теоретические проблемы, как таковые, со своими методами, приемами, логическими принципами, предпосылками и практическим критерием достоверности. Варьяш понимает, что дело обстоит именно так<sup>1)</sup>, но боится, как бы прямое признание этой истины не набросило тень на отстаиваемый им принцип методологического монизма, и потому во что бы то ни стало стремится проложить между базисом и содержанием философских идеологических мостик, по которому причинная связь могла бы распространиться на всю целиком область содержания. В основе всей этой конструкции лежит ложное представление, будто материалистический монизм историко-философского исследования сводится к одному лишь принципу каузальности. Для проведения этой ошибочной конструкции т. Варьяш пришлось выдвинуть, в качестве спасительного мостика, «теории логики», а также совершить недопустимое *quaternio terminorum*, которое в лучшем случае лишь маскирует несостоятельность замысла. Этой беде не случилось бы, если бы т. Варьяш дал себе ясный отчет, что в указанном нами выше соотношении между базисом и содержанием философских теорий никакого «дуализма»—в страшном для Варьяша смысле,—никакого «разрыва» или «отрицания» причинных связей нет. Конечно, причинность—единственный путь научного и, в частности, исторического исследования и рассмотрения. Однако отсюда не следует, что в сложнейшем деле, каким является социологическое рассмотрение истории философии, все, что угодно, должно быть причинно связано со всем, что угодно. Выражаясь в духе математической стилистики самого т. Варьяша, общественное бытие—достаточно «упорядоченный» предмет, чтобы поразмыслить немного что к чему. Если в биологии и в психологии мы, не отступая ни на одну ногу от принципа причинности, все же не имеем никакого права—именно с точки зрения нашей монистической и материалистической методологии—решать, скажем, проблему сознания простым приемом «причинного сведения» качества к количеству, то еще с большим правом можем мы повторить то же, приступая к вопросу об историческом развитии идеологии.

Но если т. Варьяш затрачивает много напрасной энергии для того, чтобы протащить через игольное ушко исторического метода канат своего «однозначного каузального отношения», то, напротив, как раз в той области, где установление «однозначных причинных связей»—прямая обязанность марксистского историка, а именно—в анализах связей между вытекавшими из развития производительных сил общественными потребностями и возникавшими в ответ на них теоретическими проблемами—автор не обнаруживает ни достаточной энергии, ни осмыслительности и точности научного исследователя. Выше мы изложили все главные выводы социологических исследований автора. Нельзя сказать, чтобы они были очень богаты и оригинальны. Во всяком случае скромность их содержания не вполне гармонирует с грандиозностью задач и с превосходными качествами метода, провозглашенными самим автором в начале книги. Но—к горю читателя—мы должны прибавить здесь, что именно эти—важнейшие для историка-марксиста—выводы о социальных, в последнем счете,—экономических корнях и источниках эволюции философских идей не столько обосновываются и доказываются автором, сколько просто им декларируются и возвещаются. Во всяком случае доказатель-

<sup>1)</sup> «Верна или неверна Пифагорова теорема,—говорит он,—зависит от того, верны ли те аксиомы геометрии, из которых она следует. Но то, что она возникла в конце VI столетия до нашей эры в греческом обществе в нижней Италии, объяснимо лишь исторически, из экономических условий этой эпохи и этой страны» (стр. 24).

ства этих выводов—слишком беглые, общие, поспешные—далеки от той убедительности, которой мы в праве ждать и требовать от т. Варьяша, автора с такими претензиями и обещаниями. Тов. Варьяш очень сурово относится к социологическому «анализам», основанным лишь на повторении избитых общих мест и бессодержательных абстракций, но его собственная книга, к сожалению, на каждом шагу дает множество примеров поразительной недифференцированности и даже поверхностности социологического анализа. Так, желая доказать, что Декарт, «несмотря на свое дворянское происхождение...», принадлежал по своим симпатиям к буржуазии», автор приводит слишком мало данных в доказательство своего положения, да и приводимые им малочисленные факты выбраны с большой натяжкой и зачастую вовсе не говорят о том, что хотел в них видеть увлеченный своей социологической конструкцией автор. По Варьяшу, разрыв Декарта с аристократией и идеологическая близость его к буржуазии вытекает из того, что Декарт, во-первых, занимался метеорологией и оптикой—областями, представлявшими для тогдашней буржуазии значительный практический интерес (стр. 104), во-вторых, из того, что он угваривал знаменитого парижского шлифовальщика Феррье переехать в Амстердам и даже обещал нанять ради него французского повара (sic! стр. 104), в-третьих, из того, что Декарт «женится на горожанке и был хорошим отцом для своей дочери» (sic!! стр. 104). Думается, не надо быть слишком придирчивым для того, чтобы не признать за этими «фактами» большой доказательной силы, ибо даже первый—наиболее серьезный и знаменательный—из них говорит лишь о тех общественных условиях, которые могли привлечь внимание Декарта к метеорологии и оптике, но не о его разрыве с аристократией. Говорить же, как Варьяш, будто занятия оптикой и эпизод с приглашением Феррье доказывают не только то, что он страстно увлекался учением об оптике, но и то, что он внутренне порвал со своим классом» (стр. 104),—это значит по нашему мнению, вульгаризировать задачи и метод социологического исследования. Не более основательно и объяснение причин, которые привлекли Декарта в Голландию. Варьяш совершенно справедливо отмечает развитие в XVII в. в Голландии торгового капитала и параллельно идущий рост интеллектуальной культуры, но затем он говорит: «Снелль, Стевин, Гроций, Спиноза, Франц Гельс и Рембрандт являются представителями этого расцвета в культурной области. Нетрудно поэтому понять, почему Декарту хотелось поселиться здесь» (стр. 103). Подобное заключение быть может, верное по сути и в целом, все же совершенно недопустимо в таком выражении и в такой аргументации, ибо здесь в суммарном перечислении объединяются деятели, принадлежащие разным поколениям, в том числе и жившие позже Декарта (Спиноза!), при чем, однако, деятельность этих лиц выступает у Варьяша в качестве фактической «приманки», соблазна, привлекая читателя на подобной мелочи, но вся беда в том, что вся книга т. Варьяша целиком состоит из таких мелочей. Похоже на то, что т. Варьяш имеет заранее ряд готовых социологических «выводов» по вопросам истории философии и что задача его состоит только в том, чтобы подобрать—без всякого отбора—побольше всяких фактов, которые могли бы «привести к его выводам».

Это впечатление—поспешности и неосновательности в социологических исследованиях—еще более усугубляется, когда мы ознакомимся с той позицией и с пропорциями книги т. Варьяша. Прямоу исследованию вопросов, которые сам же т. Варьяш провозгласил главной задачей своего труда, уделено слишком мало места и внимания, и большая часть

книги посвящена подробному пересказу и изложению философских учений. Все исследования социологического порядка, и в центре их—исследования причинной связи между развитием производительных сил, производственных отношений и между генезисом соответствующих идеологий, исследования, которые, согласно прямым заявлениям автора, составляли его главную задачу, фактически занимают в книге ничтожное место, совершенно теряясь на фоне пространного введения, биографий философов, пересказа их систем и экскурсов. Как это ни странно, но книга Варьяша не имеет ясно выраженной и последовательно проведенной «целевой установки». Не то это—чисто-исследовательская работа «большого» стиля, с грандиозными и чрезвычайно ответственными тематическими и методологическими задачами. Не то это—очерк не столько исследовательский, сколько повествовательно-реферирующего типа.

Эта двойственность целевой задачи не могла бы, пожалуй, вызвать особых нареканий, если бы обе установки, между которыми колеблется внимание читателя, были, каждая сама по себе, удачно выполнены. Можно было бы предъявить т. Варьяшу «педагогический» упрек в том, что система его книги перегружена двойным заданием—и только.

Но горе в том, что ни одна из целей, поставленных автором, на деле не достигается. Начнем со второго. Допустим, что книга имеет целью познакомить широкие круги читателей-марксистов не только с социально обусловленной диалектикой философской мысли, но также с идейным составом самих учений. Но в таком случае ни планировка материала, ни характер изложения, ни приемы критики не могут быть признаны удачными. Изложение систем автор ведет зачастую крайне примитивно. Так, философское учение Декарта излагается не по проблемам и не в диалектике его развития, но просто по сочинениям; сначала «Рассуждение о методе», затем «Принципы философии» и т. д. Тот же механический, упрощенный способ применяется автором и при изложении Спинозы—с той только разницей, что, изложив подробно «Этику» и «Богословско-политический трактат», автор почему-то уделил до крайности мало внимания остальным сочинениям Спинозы, в том числе и таким важным, как «Политический трактат» и «Трактат об очищении интеллекта». С другой стороны, элементарным приемом изложения ни в какой мере не соответствует его стиль. Методические требования повествования нарушаются в книге Варьяша на каждом шагу. Сюда относится, во-первых, последовательность. Автор не раз забегает вперед и говорит о вещах, которые не могут быть известны неподготовленному читателю и которые могут стать понятными для него только из последующего изложения. Чтобы не быть голословным, укажу примеры. В самом начале изложения системы Декарта (стр. 76—77), характеризуя общественную среду, обусловившую появление Декарта, автор, не дав еще никакой, хотя бы самой общей характеристики «картезианства» и не объяснив самого термина, вдруг сообщает, что Арно и Николь составили «знаменитую логику Парт-Рояля», «появившись в основание ее одну из работ Паскаля» и что логика эта является попыткой дать аристотелевским принципам картезианское обозначение (стр. 76). Замечательное изложение, написанное как будто с целью навести неопытного читателя на мысль, что именно Паскаль был отцом картезианства! Второй пример того же рода—на стр. 87, где мы узнаем, что рассуждения Декарта о субстанциях, атрибутах и модусах вполне согласуются с положениями Спинозы». Читатель, еще ничего не слышавший о Спинозе, может сколько угодно ломать голову и соображать, когда жили Декарт и Спиноза.

Но еще более тяжкий грех изложения т. Варьяша—его неточность. Недостаток этот тем печальнее, что автор сам поспешил подчеркнуть свое «искреннее стремление к максимальной точности». Но, дав это торжественное обещание на 7-й странице, автор нарушил его уже на 5-й, отождествив «психические» функции с «психологическими», и остался небрежным в терминологии и преступным против точности на всем протяжении книги. Автор не только свободно употребляет, как общепонятные, такие термины, как «интенциональный», «акты», «функции», «имманентность», «трансцендентность», но даже не дает себе труда разъяснить, какое существенное отличие лежит между обычным значением этих терминов и между тем значением, которое они имеют в работах Meinong'a и Husserl'я, откуда он их позаимствовал.

Основная причина промахов Варьяша в изложении и в оценке философских теорий коренится, на наш взгляд, в его неверном представлении о сущности научного материализма, который сводится у него к единственному принципу каузального отношения. Усвоив такое узкое и неадекватное понятие о материализме, т. Варьяш оказался несостоятельным как в интерпретации, так и в критике философских систем. Можно было бы привести множество примеров ошибок, допущенных т. Варьяшем в изложении и в оценке идеалистических и материалистических философских теорий, но для краткости остановимся на двух, особенно показательных. Первая из них состоит в неудачной критике Гуссерля, вторая в такой же неудачной характеристике рационалистического понимания причинности.

Начнем с Гуссерля. В методологическом введении г. Варьяш заявляет, что идеализм—даже в его наиболее искусственных в диалектике современных формах—не в состоянии обосновать принципа причинности. Для доказательства этого утверждения т. Варьяш в качестве объекта и главной мишени критики—избирает... философию Гуссерля! Исходя из убеждения, что кардинальное для Гуссерля различие имманентного и трансцендентного восприятия тождественно с различием двух видов существования (стр. 16), и учитывая известное учение Гуссерля о большей достоверности имманентного сравнительно с трансцендентным, т. Варьяш делает отсюда вывод, что теория Гуссерля не только лишает возможности «воспользоваться принципами причинности в целях реального объяснения действительности» (стр. 16), но что она «одним ударом уничтожает оба основных принципа познания: принцип причинности и принцип достаточного основания» (стр. 17). Для знающих, хотя бы немного, философию Гуссерля вся эта аргументация т. Варьяша звучит так странно, что могла бы показаться шуткой, если бы она не была продуктом прямо-таки удивительного непонимания Гуссерля. Свообразие философии Гуссерля состоит в том, что, не «отрицая», не «уничтожая» и не «критикуя» ни одного из принципов, которыми пользуются частные науки в объяснении реальной действительности, феноменология Гуссерля пытается наметить—в качестве предмета философии—особую область познаваемых объектов, область не «существования», всегда, по Гуссерлю, данного в оттенках, всегда всегда изменчивого и никогда не пребывающего, но отличную от какой бы то ни было «действительности» область «чистой сущностей». Но так как Гуссерль при этом полагает, что не предмет, то у Гуссерля выходит, что философия не только имеет особый объект, отличный от объектов направленного на «действительность» эмпирического знания, но также имеет особый метод и особый идеал познания. В то время, как эмпирические науки: естествознание и история имеют задачей

объяснить действительность, исходя из данных «эмпирической интуиции» и подмываясь в идеале—до грандиозных объяснительных теорий, философия, как наука «эйдетическая», т.е. направленная на познание сущностей, принципиально ничего не объясняет, но, опираясь на «идеальную интуицию сущности», описывает все изучаемое исключительно в сущностных связях, в корне, по Гуссерлю, отличных от каузальных связей реального существования. Но именно в силу того, что философия Гуссерля принципиально хочет быть только описательной—наукой о сущностях, самый вопрос об «обосновании» принципа причинности не может быть в ней не то, чтобы разрешен, но даже не может быть поставлен—в порядке проблемы. Гуссерль и «не собирается» обосновывать принцип причинности. Но он и не думает «уничтожать» его. Ни о каком «уничтожении» принципа причинности, равно как ни о каком «уничтожении» объяснения, не может быть и речи у Гуссерля. Философия Гуссерля ни в каком смысле не есть «критика» принципа причинности. Проблемы феноменологии Гуссерля лежат отнюдь не в плоскости каких бы то ни было исследований или высказываний о действительности. Философия Гуссерля есть философия «недействительного» и именно в этом, и только в этом, смысле и должна быть критикуема. Напомним кстати т. Варьяшу, что Гуссерль не хуже Варьяша знает, что такое «действительность». В тех же «Ideen...», которые так превратно истолкованы Варьяшем, Гуссерль пишет: «Я всегда нахожу налицо перед собой эту одну пространственно-временную действительность, к которой принадлежу я сам так же, как все другие в ней находимые и равным образом к ней относимые люди. «Действительность»,—это уже выражает слово,—я нахожу, как находящееся передо мной наличное бытие (daseinde) и принимаю ее, как она мне дается, так же, как находящееся предо мной наличное бытие»<sup>1)</sup>. Поэтому, хотя феноменология Гуссерля отвергается от «действительного» мира, но не потому, что кроме «этого» мира она признает—над ним или где еще—какой-то «иной» мир, но лишь потому, что, кроме «естественной» установки—на «действительность», т.е. на мир реально существующего и происходящего, по Гуссерлю, имеется еще и «идеальная» установка познания—на сущностное. В этой последней установке объектом познания будет уже не являющаяся в оттенках «действительность», но всегда тождественное, пребывающее сущее. Поэтому сущностное постижение Гуссерля безусловно исключает все методы, «точки зрения» и установки, которыми пользуется эмпирическое знание. Но потому же, очевидно, что Гуссерль не может быть назван борцом против принципов реального знания, каким его хочет представить т. Варьяш: «Если я так поступаю,—говорит Гуссерль,—и в этом я совершенно свободен,—то я таким образом, не отрицаю этого мира, как если бы я был софистом, я не сомневаюсь в его наличном бытии, как если бы я был скептиком: но я произвожу феноменологическую «эту»<sup>2)</sup>, которая мне совершенно закрывает всякое суждение о пространственно-временном наличном бытии» (Ideen..., стр. 56).

Из сказанного совершенно очевидно, что опровергнуть и преодолеть Гуссерля можно только на почве его же проблематики, т.е. при том только условии, если будет показано, что характерный для Гуссерля дуализм «эмпирической» и «идеальной» установок, а вместе с ним вся

<sup>1)</sup> E. Husserl. Ideen zu einer Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie (Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung), 1913 Erster Band, Teil I, S. 52—53.

<sup>2)</sup> «эту» — воздержание от суждений.



классификация видов знания, во-первых, несостоятельны по существу, а во-вторых, суть лишь перелицованные, доведенные до пределов абстракции, проблемы того же «действительного». Кардинальный пункт философии Гуссерля не в вулгарном наукоборстве и не в восстании против научного принципа каузальности—об этом смешно говорить,—а в утверждении им различия и дух видов интуиции: эмпирической и идеальной, которые обе направлены на один и тот же предмет, но раскрывают его для знания в двух принципиально-различных аспектах: перва—объясняет в каузальных связях «действительности», а вторая—описывает, выражает этот же предмет не в причинных связях существования, но в связях сущностных.

Тов. Варьяш не уяснил себе основного у Гуссерля: его философской проблематики, его классификации видов познаваемого и основанной на классификации наук, познавательных задач и методов. Т. Варьяш не понял, что атака против Гуссерля может и должна идти только по линии этого различия. Только подробно показав дуалистическую порочность гуссерлевского понятия сущностного созерцания, только разрушив фундамент проблематики Гуссерля, можно торжествовать действительную над ним победу. Упрекать же Гуссерля в том, что он не может ответить на вопросы, которых он сам себе не ставит, и при этом обходить действительные колоссальные заблуждения, заключающиеся в философии Гуссерля—это значит оказывать слишком плохую услугу марксизму и делать ошибку, тем более печальную, что сам же т. Варьяш на стр. 9 заявляет: «для понимания враждебных нам идеологий нам нужно изучать их по возможности всесторонне, т.-е. основательно и не довольствуясь общими положениями».

После сказанного уже не придется особенно удивляться, читая в книге т. Варьяша утверждения вроде того, что Гуссерль «принципиально воздерживается от пользования принципами даже формальной логики» (стр. 17), из чего дальше т. Варьяш делает «убийственный» для Гуссерля вывод, будто в феноменологической интуиции Гуссерля мы ни разу «не ухватываем» логических связей сущности (стр. 17). Здесь тов. Варьяш безнадежно и—прибавим—скандальным для себя, а не для Гуссерля образом, смешал вопрос о методологическом обосновании гуссерлевой «основной науки» с учением Гуссерля о логической природе знания. Разъяснил и здесь т. Варьяшу, что хотя, по Гуссерлю, феноменология действительно требует выключения из «эйдетической» сферы логического и вообще всей формальной онтологии (куда, кстати, кроме логики, входят еще как это должен был бы знать т. Варьяш, «чистая математика» и «чистые учения о пространстве, времени и движении), однако требует она этого «выключения» вовсе не потому, что Гуссерль не допускает в область феноменологии сознания «существования» логической связи—самая постановка вопроса о «существовании» звучит здесь для Гуссерля, повторяем, как совершенная нелепость,—но лишь потому, что, по мнению Гуссерля, предмет логики сам по себе требует феноменологического обоснования. Что же касается до утверждения Варьяша, будто Гуссерль принципиально воздерживается от «пользования» принципами логики, то это—совершенная нелепость, ибо как раз для Гуссерля и всей его школы характерны утверждения, что наше знание, во всем своем составе, и философское знание—по преимуществу—насквозь логично и что интуитивное знание не составляет в этом смысле никакого исключения, ибо оно, как и всякое другое, выражается в формах логического понятия. «В каждом понятии,—справедливо замечает интерпретатор Гуссерля,—в каждом понятии *implicite*—все связи и отношения того, что есть. Эта особенность

понятия, как логического, которое, как указано, покрывает собою все сознание, придает особый характер философскому знанию, как знанию в понятиях по преимуществу»<sup>1)</sup>. И пусть т. Варьяш не ссылается на то, что описательный характер гуссерлевой феноменологии противоречит ее логической природе: в философии Гуссерля описание «точно так же пользуется понятиями и только понятиями, как и всякий другой прием логики»<sup>2)</sup>. По Гуссерлю, описание, «как свободное и гибкое средство логики, не уменьшает и тем более не уничтожает роли и значения логики, а, напротив, усиливает ее значение и возвеличивает ее роль»<sup>3)</sup>.

Подводя итог выступлению т. Варьяша против Гуссерля, нельзя не признать результата плачевным для критика. И причина тому—вовсе не в неприступности философии Гуссерля, но только в недостатках самого т. Варьяша. Выступив с правильным призывом—изучать и критиковать теории буржуазных идеологов в их принципиальных корнях и в сущности, т. Варьяш на деле выполнил собственный призыв оказался не в силах. Его удары попадают не в Гуссерля, но в какое-то философское чучело, которое сам т. Варьяш себе выдумал. Мы не останавливались бы так долго на Гуссерле, но мы считаем борьбу с Гуссерлем—действительную, принципиальную и победоносную борьбу—чрезвычайно важным и серьезным делом. И именно поэтому критические потуги т. Варьяша ни в какой мере нас не удовлетворяют. Марксистская критика Гуссерля и после Варьяша ждет еще своего исполнителя.

Второе крупнейшее заблуждение в историко-философской интерпретации т. Варьяша заключается в совершенно неправильном понимании рационалистических учений о принципах причинности и достаточного основания. Исходя из того же неверного положения, будто основное различие между идеализмом и материализмом состоит только в трактовке принципа каузальности, т. Варьяш пришел к полному извращению всей перспективы истории философии и к ряду крупнейших ошибок в интерпретации отдельных философских систем. А именно: т. Варьяш утверждает, что все идеалистические системы покоятся на пренебрежении чрезвычайно важным различием между взаимной связью истины и взаимной связью действительно существующих вещей. «Если два явления, *a* и *b*,—утверждает т. Варьяш,—относятся друг к другу как причина и действие, то выражаемые через «*a*» и «*b*» понятия этих явлений находятся между собой в зависимости по достаточному основанию. Идеалисты,—продолжает автор,—сомневаются в правомерности такого различия» (стр. 18, курсив А. Варьяша). Если бы т. Варьяш не был релятивистом математизирующего типа, то он должен был бы понимать, что отстаиваемое им принципиальное различие материальной причины и достаточного основания появляется впервые в истории новой философии у скептика и субъективиста Канта! Именно Кант—и в этом пункте он оказался вдохновителем всей новой философии—в отличие от всего предшествующего рационализма, в отличие от Вольфа, например, установил различие между логическим и реальным основанием. Уже в «Опыте об отрицательных величинах» он отмежевывается от предложенного Кризисом деления оснований. «Согласно его положениям,—говорит Кант,—западный ветер есть реальное основание дождевых облаков, а вместе с тем идеальное основание, так

<sup>1)</sup> См. у интерпретатора гуссерлевой феноменологии—Г. Шпет: «Мудрость или разум» (сб. «Мысль и слово», I. М. 1917), стр. 50.

<sup>2)</sup> Там же, стр. 53.

<sup>3)</sup> Там же, стр. 53.

что отсюда я могу узнать о них и наперед их предполагать. Но по нашим понятиям,—возражает Кант,—реальное основание никогда не бывает логическим основанием, и по ветру дождь устанавливается не вследствие правила тождества». Еще отчетливее это различие проводится Кантом в полемике с Эбергардом. В специальной статье Кант различает «логический (формальный) и трансцендентальный (материальный) принцип познания»<sup>1</sup>). «Всякое положение,—говорит Кант,—должно иметь основание,—это—логический (формальный) принцип познания, который не стоит рядом с положением противоречия, а подчиняется ему. Всякая вещь должна иметь свое основание,—это—трансцендентальный (материальный) принцип, который никто никогда не доказал из положения противоречия (и вообще из одних только понятий, без отношения к чувственной интуиции) и не докажет»<sup>2</sup>). Мы уже не говорим о Шопенгауере, который в сочинении о «четверюшке корня закона достоятельного основания» целиком примыкает к разделению Канта.

Нам кажется, что т. Варьяш не пришел бы к столь вопиющему расхождению с действительными фактами истории философии, если бы он не владела влосчастная мысль о том, что корень материализма и основное его отличие от идеализма—в трактовке понятия причинности. Пока же мы стоим перед рядом неверных характеристик, вытекающих из первородного греха т. Варьяша. Из них центральное место занимает интерпретация Спинозовской субстанции, которая в толковании Варьяша, если не что иное, как «мировая всеобъемлющая закономерность в объективном смысле слова» (стр. 143—144). Тов. Варьяшу известно, что феерфоровская интерпретация открыла в Спинозе задрапированного в теологические одежды материалиста, но так как материализм, в понятии тов. Варьяша, исчерпывается закономерностью и каузальностью, то т. Варьяш просто подставляет под субстанцию Спинозы свое скудное определение, чтобы затем с легким сердцем перейти к другим делам.

Здесь мы должны вскрыть еще один крупный дефект работы Варьяша. Тов. Варьяш, как мы видели, борется против современного идеализма в достигающими цели негодными средствами. Но он сам находится под сильным влиянием новейшего идеализма. Один из рецензентов т. Варьяш отмечал эклектизм Варьяша, влияние Фрейда. Мы не будем останавливаться на этом пункте. Отметим другое. Если методологическое введение эклектично, то специально-историческая часть книги страдает противоположным недостатком: специализмом. На всю историю философии Варьяш смотрит глазами математика, увлеченного идеями математической логики и всеми вообще формально-онтологическими учениями новейшего идеализма. Это увлечение сказалось не только введением непонятного приложения, в котором автор кладет спинозовскую субстанцию на прокрустово ложе современной логики, но еще в большей степени в преувеличениях, ошибках и односторонних уклонах исторической интерпретации. Особенно пострадало учение Спинозы об атрибутах, которые т. Варьяш «исправляет» введением, кроме протяжения и мышления, еще новых атрибутов, не предусмотренных Спинозой (стр. 176, где у т. Варьяша появляется третий атрибут Спинозы (?)—самосознание). В том же духе и *realitas objectiva* Декарта превращается на стр. 82 в «инте-

<sup>1</sup>) I. Kant, Ueber eine Entdeckung, nach der Alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlieh gemacht werden soll. 1790. Изд. Гартенштейна, В. III, S. 319, Раздел A: Beweis der objectiven Realität des Begriffs von zureichenden Grunde, nach Herrn Eberhard S. 327 f.

<sup>2</sup>) Там же. Ср. еще Кант, третье письмо к Рейнгольду по поводу Эбергарда (изд. Гартенштейна, В. X, S. 508 ff).

циональный предмет представления», что было бы возможно разве в том случае, если бы Декарт окончил не школу Лафлеш в Анжу, а геттингенский философский факультет у Гуссерля.

Сказанным мы можем ограничить нашу критику. Можно было бы как угодно долго умножать список погрешностей, допущенных т. Варьяшем в его книге, но еще важнее вскрыть их корень, указать источник, их питающий. Анализ этого источника сулит мало утешительного. Основание, на котором т. Варьяш строит огромное здание своего труда (пока обещано три тома, в сумме листов на 140 печатной бумаги), настолько ненадежно, что от последующих выпусков и томов не ждешь особой радости. Мы были бы приятно изумлены, если бы увидели, что в дальнейших выпусках автор переступил свое основание.

**В. Асмус.**

**У Ленинский сборник**, под редакцией Л. Каменева. Гос. Изд. М.—Л. 1926. Стр. 610.

У Ленинской сборник посвящен всего одному году, 1905, и представляет собой богатейшее собрание черновики и конспекты различных статей и речей В. И. в этот ответственный и интереснейший период развития нашей революции. Не давая каких-либо особенно новых материалов, сборник послужит, несомненно, одним из основных источников изучения того, как, с одной стороны, развивались и уточнялись основные идеи большевизма, с другой—как работал Ленин. Каждая статья представляет собой результат проработки огромного фактического материала, восстановления подлинных воззрений основоположников марксизма, тщательного классового анализа политического положения и лозунгов. Более всего чуждо Ленину революционное «мифотворчество», столь типичное для буржуазных и мелко-буржуазных революционеров. Обязанность пролетарского революционера, марксиста, давать всегда себе точный отчет в том, каково (1) классовое содержание (данных) социальных сил; (2) каково содержание реальное, экономическое, их борьбы теперь, в данный момент» (444). Под этим углом зрения Ленин подходит к оценке революции 1905 г. Он юбрасывает как «нелепую» ближайшую задачу—борьбу за социалистическую диктатуру. В основе соответствующей ошибки Парвуса и Троцкого лежит, по Ленину, с одной стороны, недооценка сил революционной демократии (123), с другой—ход мысли, аналогичный рассуждениям Мартынова, но с той лишь разницей, что, занимая более левую позицию, Парвус и Троцкий там ставили плюс, где Мартынов—минус: раз пролетариат и бедное крестьянство придут к власти, они-де не смогут не добиваться немедленного осуществления социалистического переворота.

Ленин принимает теорию перманентной революции Маркса. Пролетариат не может удовлетвориться тем, чем удовлетворяется мелкая буржуазия. «Смешение мелко-буржуазной борьбы за полный демократический переворот с пролетарской борьбой за социалистическую революцию грозит политическим крахом социалисту. Это предостережение Маркса вполне правильно» (318). Но из того, что предстоящая революция будет буржуазной, а «наша партия есть классовая, и ее задачи гораздо выше задач демократической (буржуазной) революции»—«из этого вытекает (вопреки меньшевикам) не отстранение от других классов, а руководство ими, не пассивное отношение к буржуазной революции, а самое смелое утверждение ее до конца» (323).

«Признавая безусловно буржуазный характер революции, неспособной непосредственно выйти из рамок только демократического

переворота, наш лозунг толкает вперед этот, данный, переворот, — стремится придать этому перевороту наиболее выгодные для пролетариата формы, — стремится, следовательно, к наибольшему использованию демократического переворота в целях успешнейшей и дальнейшей борьбы пролетариата за социализм» (318).

Так наполняется плотью и кровью марксовская алгебраическая формула «перманентной революции», так Ленин, развивая и уточняя ее, показывает, какими именно путями и под какими лозунгами пролетариат, участвуя в буржуазно-демократической революции, может и должен бороться за перерастание ее в социалистическую.

Особое значение поэтому имеет представляющая огромный выклад в сокровищницу ленинизма ныне впервые публикуемая рукопись Ленина «Этапы, направление и перспективы революции», относящаяся к концу 1905 г.»

Этот важнейший документ для истории и теории ленинизма мы даем здесь целиком. Первая половина его дает замечательную периодизацию истории нашего революционного движения в начале XX века, вторая — намечает конкретно пути перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую.

Вот он:

«1) Рабочее движение поднимает пролетариат сразу под руководством РСДРП и будит либеральную буржуазию: 1895—1901/2.

2) Рабочее движение переходит в открытую революционную политическую борьбу и присоединяет политически проснувшиеся слои либеральной и радикальной буржуазии и мелкой буржуазии: 1901/2—1905.

3) Рабочее движение разгорается в прямую революцию, при чем либеральная буржуазия уже слиялась в конституционно-демократическую партию и думает об остановке революции путем соглашения с царизмом, но радикальные элементы буржуазии и мелкой буржуазии поворачивают, склоняются к союзу с пролетариатом для продолжения революции 1905 (особенно конец).

4) Рабочее движение побеждает в демократической революции, при пассивном выжидании либералов и при активной поддержке крестьянства. Плюс радикальная, республиканская интеллигенция и соответствующие слои мелкой буржуазии в городах. Восстание крестьян побеждает, власть помещиков сломана.

(«Революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства»).

5) Либеральная буржуазия, выжидательная в 3-м периоде, пассивная в 4-м, становится прямо контр-революционной и организуется, чтобы отнять у пролетариата завоевания революции. В крестьянстве вся его защиточная часть и изрядная доля среднего крестьянства тоже «умиляет», успокаивается, поворачивает на сторону контр-революции, чтобы выбить власть из рук пролетариата и крестьянской бедноты, сочувствующей пролетариату.

6) На почве отношений, сложившихся в период 5-й, растет и разгорается новый кризис и новая борьба, при чем пролетариат борется уже за сохранение демократических завоеваний ради социалистического переворота. Эта борьба была бы почти безнадежна для одного российского пролетариата и его поражение было бы так же неизбежно, как поражение немецкой революционной партии в 1849—50 гг. или как поражение французского пролетариата в 1871 г., если бы на помощь российскому пролетариату не пришел европейский социалистический пролетариат.

Итак, в этой стадии либеральная буржуазия и крестьянство и защиточное (+отчасти среднее) крестьянство организуют контр-революцию. Российский пролетариат плюс европейский пролетариат организуют революцию.

При таких условиях российский пролетариат может одержать вторую победу. Дело уже не безнадежно. Вторая победа будет социалистическим переворотом в Европе.

Европейские рабочие покажут нам, «как это делается», и тогда мы вместе с ними делаем социалистический переворот» (451—452).

\* \* \*

Очень важны и интересны среди материалов сборника блестящие характеристики Лениным оппортунизма. Так, в плане реферата М. Ольгинского он пишет:

«4) Характеристика оппортунизма. Основная черта — смена принципов, беспринципность, неумение связать принципы с текущей работой. Метание, скачки, «применяются»... Погоня за ходкими фразой и словечком: тактика-процесс, организация-процесс. Оппортунизм готов подписаться под любым принципом. (Смотря по удобству). Все это — в пределах. За пределом оппортунизм — измене. Оппортунизм — маленькая измена. Измена — большой оппортунизм» (86—87).

Разбирая аграрную программу, Ленин особое внимание уделяет сельскому пролетариату и подчеркивает, что важнейшей обязанностью социалистической пролетарской партии в отличие от мелко-буржуазных революционеров является «неуклонно стоять на точке зрения пролетариата вообще и сельского пролетариата в особенности» (199).

Все статьи и письма проникнуты духом глубокой революционной страсти, бешеной энергии и презрения к оппортунизму. Они могут и должны служить прекрасным примером того, как любить дело пролетариата и как ненавидеть его классовых врагов.

Интересные материалы сборник дает об отношении Ленина к Плеханову, которого В. И. до последнего момента надеялся удержать на стороне большевиков.

Наконец, следует отметить особо статью «Задачи отрядов революционной армии» (456—460) и письмо к Стасовой и товарищам в Московской тюрьме о том, как держать себя на суде. Обе эти статьи следовало бы немедленно перевести на иностранные языки.

В заключение нам хотелось бы выразить пожелание, чтобы было ускорено издание очередных сборников и, в частности, философского сборника. О выходе его объявлено уже около двух лет, идейная борьба в области философии делает потребность в нем крайне ощутительной, а между тем до сих пор неизвестно точно, когда же он появится в свет.

Ник. Карев.

У. Г. Брэгг. О природе вещей. Перевод с английского А. А. Леонтьевой, под редакцией проф. Г. В. Вульфа. Серия «Природа и Культура». Книга 24. Москва. Госиздат. 1926. Стр. 164+VI. Цена 1 руб. 75 коп.

Выпуском перевода книги английского физика Уильяма Генри Брэгга редакторы серии «Природа и Культура» снова доказали свое умение выбирать для перевода действительно ценные произведения zahraniчного книжного рынка. В самом деле, достаточно упомянуть такие имена, как Максвелл, Планк, Аррениус, Гольдшмидт, Кис, Де-Морган,

Содди и Сведберг, представленные в этой серии ценными и оригинальными трудами, чтобы понять культурное значение этой серии популярных книг по естествознанию, ничуть не уступающей, а в целом в некотором отношении даже превосходящей аналогичные серии в Германии (Тейбнер, Фивег), Франции (Алькан, Фламмарин), Англии и Америки.

Имя лондонского профессора физики русским естествоиспытателям уже знакомо по появившемуся в 1916 г. переводу книги Уильяма Генри Брэгга и сына его, профессора физики Манчестерского университета, Уильяма Лоренса Брэгга «Рентгеновские лучи и строение кристаллов» (В прошлом году вышло 5-е английское издание).

Уильям Генри Брэгг (отец) известен своими многочисленными исследованиями над рентгеновскими и гамма-лучами, в особенности же своими работами по применению рентгеновских лучей к анализу тончайшей архитектуры материи. Научные методы германского физика Лауэ, Брэгг и московского профессора кристаллографии Г. В. Вульфа открыли науке новые перспективы проникновения в тайны решётчатого строения вещества, в частности кристаллов, подводящее под атомистическое учение незыблемый фундамент. Открытия этих ученых были сделаны в 1912—1913 гг., т.-е. в период самой настойчивой атаки против атомистической теории в целом<sup>1)</sup> со стороны эмпириокритиков всех мастей с Эрнстом Махом во главе, незадолго до этого писавшего в полемике против материалиста Макса Планка: «Главное, пока проявившееся разногласие (с современной физикой. М. Л.) состоит в вере в реальность атомов (курсив Маха)... Как видно, у физиков уже налицо все данные для основания церкви; они уже начинают усваивать и обычные для последней приемы. В таком случае я просто-напросто заявляю: Если для вас столь существенна вера в реальность атомов, то я отрекаюсь от образа мысленной физика, не хочу быть настоящим физиком, отказываюсь от какой бы то ни было претензии на звание ученого. Коротко говоря, я покорно благодарю за честь принадлежать к общине верующих, но свобода мысли мне дороже»<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Один из наиболее ярких противников атомистики, химик Вильгельм Оствальд к этому времени сложил оружие и уже в 1908 г. публично раскаялся, признав реальное, объективное существование атомов. В предисловии к 4-му изданию «Grundriss der allgemeinen Chemie», помеченном ноябрем 1908 года Оствальд заявляет, выделяя свое заявление курсивом:

«Я убедился в том, что с недавнего времени мы обладаем экспериментальными доказательствами скрытого или коренного существа природных веществ, которых тщетно искали в течение столетий и даже, пожалуй, тысячелетий».

Перечислив ряд открытий, говорящих в пользу объективного существования микроструктуры вещества, Оствальд сознается, что все эти данные «теперь дают также право осторожным ученым говорить об экспериментальных (курсив В. Оствальда) доказательствах атомистического строения, наполняющих пространство веществ. Этим существовавшая до сих пор атомистическая гипотеза переводится в разряд научно вполне обоснованной теории».

Мы вполне удовлетворены. Errare humanum est.

<sup>2)</sup> Cp. E. Mach. Die Zeitgedanken meiner naturwissenschaftlichen Erkenntnislehre und ihre Aufnahme durch die Zeitgenossen. Scientia, Band VII, Nr. 14, Leipzig 1910 (Русск. перев. в «Новые идеи в философии». Сборник № 2, 1913 г.). Эта статья, вместе со статьей «Sinnliche Elemente und naturwissenschaftliche Begriffe» вышла также в виде отдельной брошюры. (Leipzig, J. A. Barth, 1910). Интересно также отметить, что в 4-м издании «Die Prinzipien der Wärmelehre», вышедшем уже после смерти Маха в 1923 г., подготовленном, однако, автором, снабдившим его рядом добавлений и исправлений, о чрезвычайных достижениях атомистики не говорится ни слова. Polemika protiv storonnikov

Это писалось 15 лет тому назад. За эти годы атомистика, имевшая уже в 1910 г., когда появилась статья Маха, чрезвычайно солидное основание (спинтарископ, Броуновское, молекулярное движение, опыты Перрэнна и т. п.), проделала столь бурное движение вперед, что наставление на субъективной точке зрения и на оценке атомов и электронов, как фикций, может вызвать лишь гомерический хохот. Слишком успешны были заключения господ махистов. Поспешили—людей наместили. С тех пор господа субъективисты или просто молчат о замечательных открытиях экспериментальной физики или же прикидываются, будто они никогда не имели в виду молекулы, атомы, ионы и электроны, а лишь отвлеченные корпускулы, «изображения» («Bilder»), своего рода математические точки». Знаем мы эти фокусы! Шулерство ведь и в науке не редкая вещь, на что неоднократно приходилось указывать еще Марксу. Вспомним хотя бы его убийственную отповедь Мальтусу во 2-м томе «Теории прибавочной стоимости».

Поэтому мы особенно приветствуем появление на русском языке книги У. Г. Брэгга, ясно показывающей плодотворность атомистического учения. У. Г. Брэгг—большой мастер общедоступного научного изложения. Рецензируемая книга лишней раз свидетельствует о замечательном популяризаторском таланте англичанина, выдвинувших из среды корифеев науки таких выдающихся популяризаторов как Фаралей, Максвелл, Тиндаль, Гёксли, в последнее время А. Н. Уайтхед, Б. Рёссель и т. д. У. Г. Брэгг дал в своей небольшой книжке превосходное введение в науку о тончайшем строении материи или лептологии, как ее назвал выдающийся лейпцигский кристалловед Ф. Ринне<sup>1)</sup>. Среди многочисленных популярных книг по строению материи книга Брэгга является, безусловно, наиболее общедоступной. Для усвоения развиваемых автором взглядов на микроструктуру «вещей» не требуется никакой специальной подготовки, в частности математической. Это и понятно, т. к. книга Брэгга, не претендующая на систематическое изложение всех основных положений атомистики, а останавливающаяся лишь на некоторых ярких опытах и всем доступных примерах атомистического воспроизведения строения вещества, представляет из себя небольшой курс из 6-ти лекций, вернее бесед, «рассчитанных на юную аудиторию», как говорит сам автор. Это так называемые рождественские лекции, читаемые в Лондоне по традиции еще со времени Фарадея. И мы также рекомендуем их в первую очередь нашей молодежи. Усвоение приведенного Брэггом материала, несомненно, вызовет у читателя потребность в чтении более обстоятельных произведений о том же предмете

атомной теории, в частности против своего гениального коллеги по университету, венского физика Л. Больцмана, остался без всяких перемен. Ни об одном открытии в области молекулярной физики, атомной и электронной теории не упоминается, зато по старому повторяются нудные и фальшивые аргументы об атомах, как «изображениях», об их «наглядности», об атомистике, как «рабочей гипотезе», ее «евристическом значении» и т. п. размазня. На место атома Мах выдвигает понятие «элемент объема» («Volumelement»), совершенно не принимая в расчет, что, если всякий атом и является одновременно «элементом объема», то, наоборот, всякий «элемент объема» еще отнюдь не является атомом.

<sup>1)</sup> F. Rinne. Das feibauliche Wesen der Materie nach dem Vorbilde der Kristalle. 3. Aufl., Berlin, 1922. Прекрасное, увлекательно написанное популярное введение в трактат Уильяма Брэгга предмет. Небольшого объема (162 стр.) книга отличается чрезвычайным богатством материала, ясностью изложения и чудесно выполненными иллюстрациями. Серии «Природа и Культура» следовало бы и эту книжку перевести, дополнив ее данными научных открытий последних пяти лет.

и облегчит ему разобраться, например, в таком интересном труде, как только что вышедшей во 2-м издании книги недавно скончавшегося московского профессора Г. В. Вульфа «Кристаллы, их образование, вид и строение». Полезным и ценным добавлением могут затем послужить сочинения Ф. Содди «Радий и строение атомов» и Г. А. Крамера и Г. Гольста «Строение атома и теория Бора», входящие также в серию «Природа и Культура», а также сочинение Миллихэна «Электроны, входящие в серию «Современные проблемы естествознания».

Особенным достоинством книги Брэга, на наш взгляд, следует считать изобилие остроумных и оригинальных приборов и опытов, демонстрирующих расположение атомов в молекуле, в особенности же протонов и электронов в атомах. Впрочем, широкое использование модели вообще характерно для англичан.

Тут следует сделать оговорку. Мы, диалектические материалисты, всегда признавали ценность механических моделей, однако мы в то же время не упускали из виду и некоторые опасности, связанные с увлечением моделями и кроющиеся в том, что механические аналогии часто заставляют физиков забывать о необходимости тщательного методологического и гносеологического анализа естественно-научных теорий и гипотез. Модель еще не есть объяснение явления, точно так же, как кривые экономической статистики не являются еще объяснением экономической закономерности.

Некоторые увлечения модельной стороной изложения мы наблюдаем и у Брэга. Так, у него вопрос о структуре вещества почти совсем заслоняет вопрос о причинах структуры, о взаимодействии мельчайших частиц,—одним словом, о динамике или энергетике совершающихся в молекулах и атомах процессов. «Чрезвычайно удивительно,—говорит Брэгг (стр. 24),—что все бесконечное разнообразие природы разрешается в ряде простых чисел». Более чем удивительно присвоим мы. Неужели природа состоит из одних количеств, и не свидетельствует ли, наоборот, как раз новейшая атомистика о том, что все многообразие процессов в природе результат сложнейшего переплета качественно-количественных превращений? Или такая фраза (стр. 3): «Только ими самими (т.е. атомами. М. Л.) и тем, что в них заложено, обуславливается все разнообразие вселенной». Vos yeux sont plus grands que votre bouche! хочется возразить Брэгу. Это давно оставленная точка зрения, по существу, приводит к признанию пустого пространства между мельчайшими частицами, т.е. к признанию действия на расстояние. Такое превращение атомов в Робинзонов, их изолирование от связей с другими, есть упрощенчество в духе механистов, есть забвение самого главного и сложного вопроса молекулярной физики, именно вопроса о взаимодействии атомов—с одной стороны, взаимодействии электронов и протонов и эфира—с другой. Правда, в данном случае большой беды в этой односторонности Брэга мы не видим, т.к. для намика атомов и электронов не может быть ныне рассматриваемая без предварительного ознакомления читателя с основами замечательной теории квантов Планка, что, однако, вряд ли достижимо в рамках той общедоступности, которой придерживается Брэгг. Но увлечение механической моделью приводит Брэга местами и к умалчиванию или недооценке уже ранее достигнутых успехов в области атомистики. Напр., строение алифатических соединений излагается так, будто пространственное расположение атомов в молекулах является исключительно достигнутым

Лауз-Брэгг-Вульфского метода. Так, Брэгг пишет (стр. 130): «Такая модель (пентана М. Л.) дает больше деталей, чем схематические изображения, которыми пользуется химия; там все изображается на плоскости, мы же пользуемся тремя измерениями. Химик не мог раньше дать таких изображений, потому что он не представлял себе отчетливо, как их надо строить».

Такая апологетика мастиковых шариков, такое открытое пренебрежение завоеваниями целой отрасли химии, давно представленной в виде особых руководств, именно: стереохимии, в устах столь выдающегося естествоиспытателя, как Брэгг, звучит несколько странно. Ведь основание именно пространственной химии было заложено уже 50 лет тому назад голландцем Вант-Гоффом и французом Ле Бель-ом учением о тетраэдре углерода. Знаменитый труд Вант-Гоффа, появившийся в 1875 г., даже прямо был озаглавлен «Пространственная химия» («La chimie dans l'espace»). На работы этих основателей стереохимии, в свою очередь, опираются известные исследования химика Байера и целого легиона других, а в последнее время исключительно интересные труды цюрихского химика Альфреда Вернера (умер в 1919 г.)<sup>1)</sup>.

В своем предисловии Брэгг пишет: «В моих рождественских лекциях, читанных в Королевском Обществе в 1923—1924 гг., я поставил себе целью изложить последние открытия в области физики». Здесь снова скрывается преувеличение значения собственной специальности. Укладывать «последние открытия в области физики» в рамки лишь учения

<sup>1)</sup> Несколько значительны и многообещающи успехи атомистической теории вещества, опирающейся на стереохимию, в особенности на теория Альфреда Вернера, показывает вышедшая в 1924 г. книга Бёрмингемского химика Дж. Д. Мейн Смита (I. D. Main Smith) Chemistry and Atomic Structure (London. Ernest Benn Limited. 1924), посвященная памяти А. Вернера. В этой книге впервые делается попытка обобщения гипотез А. Вернера о координационном числе, побочных или дополнительных валентностях, стереометрии и октаэдрического расположения атомов в неорганических соединениях.

Мейн Смит развивает взгляды Вернера, координируя их в то же время с последними достижениями в области атомистической физики, с работами Планка, Бора, Брэга и т.д. Он показывает, как различные течения научного исследования встречаются в одном русле, в одном мощном потоке.

Вот как отзывался другой английский химик того же Бермингемского университета Г. Т. Морган в 1920 г. о реформаторе Вернере: «Обобщение Вернера обладает всеми признаками научной теории, имеющей первоклассное значение. Она находится в точном соответствии с известными фактами, которые она объясняет и обобщает логически и понятным образом. Она придает своим доказательствам характер пророческий; многие, далеко идущие предсказания ее, основанные на простых гипотезах, были впоследствии подтверждены путем непосредственного опыта» (jour. Chem. Soc., 1920, 117, pag. 1639).

В том-то и величие монистической пространственной атомной теории, что к ней приходят с самых разных сторон и самыми различными материалистическими путями: и со стороны теории излучения, и со стороны теории вероятностей и статистической механики, и со стороны термодинамики, и со стороны спектроскопии, и со стороны электродинамики, и, наконец, со стороны стереохимии. Прочтите отдел «Atomund Molekul» в новом 15-м издании капитального, ставшим уже классическим руководстве Вальтера Нейрста по физической химии «Theoretische Chemie», вышедшее в этом году, и вас поразит разнообразие источников, питающих теорию статики и динамики атомов. Один этот отдел занимает 342 стр. из всего 911 стр. учебника. Нет, Брэгг в этом отношении столь же узкий специалист, как и многие из наших апологетов гормонов в биологии. Сильны в анализе, но слабы в синтезе, хотите учиться синтезировать, читайте и снова и снова перечитывайте «Диалектику природы» Ф. Энгельса. Клад!

о строении атомов, молекул и кристаллов значит скрывать истинный размах изысканий и сложность проблем современной физики.

Все эти наши замечания, однако, не умаляют общей ценности умело написанных лекций Брэгга.

Книга распадается на следующие главы:

1) Об атомах, из которых построены вещи; 2) о природе газов; 3) о природе жидкостей; 4) о природе кристаллов: алмаз; 5) о природе кристаллов: снег и лед; 6) о природе кристаллов: металлы. Имеется еще краткое добавление с полезными указаниями способа построения модели атомных структур. Книга снабжена кратким предисловием уже упомянутого московского минералога Г. В. Вульфа. Переведена книга, насколько можно судить, не имея под руками английского подлинника, хорошо. Имя Брэгг следует писать Брэгт, а слова солнце и луна не с большой, а с малой буквы,—мы не анимисты. Рисунок 57, хоть и четок, но неудачен и ничего не говорит читателю. Рис. 54 не отчетлив, буквы в тексте не соответствуют буквам в рисунке, где вместо А, А, А следует читать А', А'', А'''. Внешность издания, как и вообще всех книг серии «Природа и Культура», вполне удовлетворительна. Шрифт четок, на опечатки не наталкивались. Цена книги, рассчитанной на широкий круг читателей, несколько высока.

М. Левин.

**Б. М. Завадовский.** Дарвинизм и марксизм. Госиздат. 1926.

Выяснению сложной проблемы взаимоотношений принципов дарвинизма и марксизма посвящено уже немало книг и статей. Внимание многих социологов, а также биологов, не беззаботных насчет вопроса общего мировоззрения, приковывала эта проблема. Несмотря на усилия многих, сложный вопрос продолжает оставаться недостаточно разработанным и освещенным; он ждет еще более глубокой и всесторонней разработки. Это и понятно: проблема о взаимоотношении дарвинизма и марксизма охватывает чрезвычайно широкий круг трудных и сложных вопросов биологии и социологии. Но все же работа коллективной мысли марксистов-дарвинистов наметила уже целый ряд общих для дарвинизма и марксизма идей, установила у них много общепризнанных параллелей и тождественных положений.

Б. М. Завадовский в своей брошюре «Дарвинизм и марксизм» вновь поднимает старый вопрос о соотношении принципов эволюционной теории и марксизма и рассматривает его в свете новых данных физиологии и генетики. Брошюра составлена из переработанной статьи, помещенной в «Под Знаменем Марксизма», и доклада, прочитанного в Ком. Академии. Содержание ее распадается на следующие главы: 1) Естественство и марксизм; 2) Дарвинизм и ламаркизм; 3) Наследственность и психика; 4) Дарвинизм и диалектический материализм.

К сожалению, вопрос о взаимоотношении дарвинизма и марксизма рассматривается автором не во всей широте, а из всего комплекса входящих в проблему вопросов автор останавливает свое внимание, главным образом, на тех социальных выводах, которые вытекают из его попытки в результате анализа взглядов неодарвинизма и ламаркизма построить цельную систему внешних и внутренних факторов эволюции. Другая сторона вопроса он касается в самых общих чертах или в заключительных только тезисах. Поэтому взгляды автора не выявлены во всей полноте. Выраженные же в брошюре элементы мировоззрения его не всегда выступают в ясной и определенной форме; в некоторых случаях они не

свободны от внутренних противоречий. В данном случае сказалось, конечно, состояние нерешенности наукой затрагиваемых автором вопросов.

Б. М. Завадовский выступает в рассматриваемой брошюре непосредственно сторонником теории преформации. Отводя первостепенную роль эндогенным факторам, считая, что уже в первом комке живой плазмы заложены были все возможности и даны направления всей дальнейшей эволюции (стр. 58), автор не исключает и внешних факторов эволюции, которые всецело творили первые формы жизни (стр. 59), но роль которых все более слабела по мере эволюционного развития организма. Немотивированным остается первое положение, гласящее, что направление эволюции было определено структурой и физико-химическими особенностями первичных комков живой плазмы. Едва ли можно привести какие-либо веские соображения и доводы для аргументации этого принципиально важного тезиса преформизма. Неразрешенным остается противоречие между признанием за внешней средой исключительной роли в создании первых живых существ и необычайным умалением этой роли в дальнейшей эволюции. Раз внешняя среда обладала творческой способностью создать первые формы жизни и определить весь ход их эволюции, то в силу каких причин она утратила способность, по крайней мере, регулировать направление эволюции прямым своим воздействием на живую плазму организмов, а не только косвенным путем—путем борьбы за существование и естественного отбора, каковой способ влияния оттеняет автор. Аргументация и в этом пункте не может не отсутствовать. Если внешняя среда, несмотря на разнообразие и длительность воздействия на организмы, не в состоянии регулировать ход эволюции, то совершенно неудовлетворительной оказывается выраженная автором уверенность, что в будущем мы сумеем найти гораздо более верные доступы к управлению народными массами и видообразованиями (стр. 62).

Автор значительную часть брошюры посвящает анализу взаимоотношений между дарвинизмом и ламаркизмом, при чем под дарвинизмом он разумеет преимущественно неодарвинизм, на что он указывает на 17—18 стр. Дарвинизм же в истолковании его основоположником и его видными последователями (Геккель, Плате и др.) охватывает и принцип естественного отбора и ламаркистские принципы (влияние внешней среды и унаследование результатов этого влияния и действия упражнения органов). Поэтому нельзя согласиться с утверждением заключительного тезиса автора, что его точка зрения совпадает с позицией, которую занимал Дарвин (стр. 109). Взгляды Дарвина, отводившие все большую роль влиянию внешней среды в процессе эволюции, были далеки от точки зрения непоследовательного преформизма—автогенеза, которую развивает автор. Несмотря на крепкие эпитеты, которые он посылает по адресу сторонников автогенеза, ему не удалось резко отмежевать свою позицию от взглядов последних.

Автор для подтверждения своей непоследовательной преформистской точки зрения ссылается на исторический материализм и находит, что принцип преформизма в его понимании «является краеугольным камнем концепций исторического материализма» (стр. 104). Но несомненные элементы неизбежной predeterminedности, фатальной предопределенности, приписываемые преформизмом органической эволюции, чужды марксизму в его понимании исторического развития человеческого общества. Фаталистические нотки звучат в словах автора: «Хотим ли мы этого или не хотим, экономические и производственные отношения сил таковы, что они неизбежно предрешают водворение социалистического строя» (стр. 105). В приведенных словах выразилась недооценка автором такого важного фактора,

как самосознание, активность, «воля к власти» рабочего класса. Преформистская точка зрения дуалистична: она отрывает резко «телесный футляр» от зародышевой плазмы. «Внешняя среда вызывает ряд индивидуальных вариаций (в футляре. Д.), не отражаясь на основных свойствах наследственной плазмы» (стр. 105). Исторический же материализм рассматривает историческое развитие, как монистический процесс, определяемый основным движущим фактором—развитием производительных сил, создающим определенные формы производственных отношений и на их основе «надстройку», при чем «надстройка» способна оказывать известное обратное воздействие на «базис». Все стороны общественного «организма» взаимно связаны и влияют друг на друга, хотя одни из них являются основными, первичными, другие—производными.

Автор считает, что выводы преформизма более оптимистичны для народных масс, чем взгляды сторонников наследования приобретенных признаков. С этим положением нельзя согласиться. Преформизм, несомненно, не доценивает значения длительного влияния внешней среды. Нельзя, конечно, заниматься «массовым производством» гениев и талантов «воздействием внешних условий и воспитанием» и «не всякий рабочий, при всех его усилиях, имеет данные стать хорошим инженером» (стр. 73). Но всякий средний рабочий с средней наследственностью (средних—большинство) может стать хорошим инженером (в обычном смысле слова), если его умственное развитие с малых лет (а не с 20 лет) будет протекать в благоприятных условиях. Иначе автор вынужден будет согласиться отчасти с тем положением, которое он отрицает: «интеллигенция и высшие классы—это есть собрание лучших генетических качеств страны» (стр. 70).

Автор находит, что его «понимание концепции преформизма не только не противоречит марксистскому мировоззрению, но, наоборот, целиком и полностью совпадает с его основными положениями» (стр. 108). Но на стр. 97—98 он подвергает сомнению «так прочно ассимилированную марксистом схему» эволюции человека под влиянием употребления орудий труда и унаследования результатов упражнения рук и мозга. Этот взгляд на роль орудий труда в происхождении человека и в развитии человеческого общества является одним из основных положений материалистического понимания истории. В этом пункте положения дарвинизма и марксизма близко соприкасаются между собой, поскольку тот и другой признают унаследование результатов упражнения органов и тем самым эволюцию человека ставят в зависимость от воздействия внешней среды. Отказаться от этого положения—значит отказаться не только от общепринятого положения, но и произвести разрыв между дарвинизмом и марксизмом и подорвать одну из основ марксистского мировоззрения. На место марксистского понимания эволюции человека автор выдвигает неodarвинистскую схему, объясняющую процесс происхождения человека путем мутаций. Но этот ответ автора является, несомненно, «менее отчетлив и конкретен», как он сам сознается. Мутации, вероятно, играли свою роль в развитии человека, но какую—мы не знаем. Как мы сможем с точки зрения мутационной теории объяснить наличие в человеческом теле более ста рудиментарных органов и наблюдаемую в нем необычайно стройную сложную координацию и корреляцию отдельных его частей? Данных для замены прежних воззрений дарвинизма и марксизма по этому вопросу нет.

Кратким критическим анализом рассмотренных положений автора мы и ограничимся.

Книжка Б. М. Завадовского представляет интересную попытку провести переоценку старых воззрений на основе новейших достижений

биологии и наметить новый синтез факторов эволюции. Задача чрезвычайно сложная и трудная. Она будет выполнена в будущем коллективной работой научной мысли. В настоящее время многие проблемы биологии остаются нерешенными. В рассматриваемой брошюре содержится много спорных, необоснованных положений. Они толкают критическую работу мысли в направлении более углубленной их разработки.

Ф. Дучинский.

Scott Nearing and Joseph Freeman. Dollar Diplomacy. A study in American Imperialism by New-York 1925.

Скотт Ниринг и Иосиф Фриман. Дипломатия доллара. Очерк об американском империализме. Нью-Йорк—Лондон, 1925 г.

Как указывают авторы в своем предисловии, задачей этой книги является—дать представление об империалистической политике Соединенных Штатов. Авторы не претендуют на исчерпывающее изложение истории американского империализма. Их внимание, главным образом, сосредоточено на внешней политике правительства Соединенных Штатов или, правильнее сказать, на политике финансового капитала. Работа дает последовательно выдержанный марксистский анализ империалистической политики, и небольшая теоретическая часть базируется на «Империализме» Ленина и «Финансовом капитале» Гильфердинга. Выяснению корней современной империалистической политики Соединенных Штатов посвящены лишь первые 20 страниц работы.

«С тех пор как Соединенные Штаты достигли фазы финансового империализма, их внешняя экономическая политика развивается по трем направлениям: 1) поиски источников снабжения сырьем, 2) поиски рынков сбыта и 3) поиски рынков приложения капитала» (стр. 6).

Особенно важное значение авторы правильно придают экспорту капитала. Поскольку и борьба за сырье в конце концов сводится к борьбе за возможность приложить капитал в колониальных и полуколониальных странах для получения этого сырья, постольку значение, которое автор придает экспорту капитала, можно считать правильным.

Экспорту капитала или заграничным инвестициям Соединенных Штатов посвящена, почти одновременно вышедшая, книга Роберта Дана—«Американские заграничные инвестиции». Судя по замечаниям Скотта Ниринга и Дана, можно думать, что авторы сознательно разделили тему. И поэтому авторы настоящей работы только лишь приводят суммарные цифры распределения американских вкладов за границей; вся же остальная часть книги посвящена исключительно изложению истории внешней политики, проводящей интересы держателей инвестированного за границей капитала.

Последующие страницы книги Ниринга читаются с захватывающим интересом. Перед читателем проходит вся история американского империализма, начиная с 80-х годов прошлого столетия, когда впервые Соединенные Штаты выступили на сцену мирового империализма. Методы американского империализма отличаются крайним разнообразием: мирное экономическое проникновение в Канаду сменяется устройством «народных революций» в Папане, Мексике, Гавае и т. д. Где эти методы не помогают, дело доходит до непосредственной интервенции, как в Гаити, Сан-Доминго и т. д.; далее идет покупка целых стран, как это случилось в 1916 г. с Виргинскими островами, и наконец, в последние годы выступает на сцену знаменитый план Дауэса. Как ни разнообразны эти методы, своей целью

они имеют подчинить все новые и новые страны ненасытному финансовому капиталу. Несколько примеров будет достаточно, чтобы охарактеризовать внешнею политику американского финансового капитала. Небольшие государства Центральной Америки и Вест-Индских островов уже до войны находились в сильной финансовой зависимости от Соединенных Штатов. Война, занявшая все внимание европейских хищников, окончательно развязала руки Соединенным Штатам. В то время, когда Вильсон выдвигал один за другим лозунги «самоопределения народов», защиты прав мелких государств и т. д., под его непосредственным руководством творилась политика, говорившая о чем угодно, но не о проведении его лозунгов в жизнь. Началось с маленькой республики Гаити, которая в 1804 г., после упорной борьбы, получила свою независимость от Франции. До начала войны Соединенные Штаты имели крупные интересы на этом острове и больше всех был заинтересован Национальный Сити Банк.

Соединенные Штаты давно были не прочь прибрать эту республику к рукам, и в 1915 г. они просто предложили маленькой республике передать в руки американцев таможни. Когда в этом им было отказано, предложили заключить договор, отдававший республику под военный контроль Соединенных Штатов. Начались переговоры, правда, довольно безуспешные, а потом пошло все как по писанному: на острове вспыхнула революция, появилась «необходимость» вмешаться американскому флоту. В результате осенью 1915 г. республика Гаити должна была заключить договор, по которому президент Гаити должен был назначать двух финансовых советников по выбору президента Соединенных Штатов; последние должны были получать все доходы от таможни, контролировать работу министерства финансов и т. д. Но этим дело не закончилось, и в 1920 г. было подписано новое соглашение, по которому государственный банк Гаити фактически стал отделением Национального Сити Банка. Затем немного позже все железные дороги перешли к американскому синдикату, который финансировался Национальным Сити Банком.

Экономическое порабощение Гаити закончилось. К сказанному можно лишь прибавить, что в 1918 г. под наблюдением американского морского командования была принята новая конституция в Гаити, измененная в желательном для Соединенных Штатов смысле.

Почти так же шло дело с республикой Сан-Доминго: в 1916 г., пользуясь «революционным движением», республика была оккупирована американскими войсками, которые занимали ее до 1924 г. За это время был подписан ряд финансовых соглашений, даны республике новые займы, и в результате, когда войска были отозваны, республика была окутана такой сложной сетью финансовых обязательств, что о самостоятельности нечего было думать.

Особенно интересны взаимоотношения между Соединенными Штатами и Кубой. Как известно, испано-американская война велась «великой демократией» ради освобождения Кубы от гнета испанских завоевателей. Когда Куба получила свою самостоятельность, она принуждена была заключить в 1901 году договор с Соединенными Штатами. На ряду со многими другими пунктами договор содержал и следующий великолепный абзац: «Правительство Кубы соглашается, что Соединенные Штаты могут использовать свое право интервенции для защиты независимости Кубы, поддержки правительства, а также защиты жизни, имущества и индивидуальной свободы граждан» (U. S. Foreign Relation, 1902, ст. 32, цитировано у автора, стр. 176). Этим своим правом Соединенные Штаты не преминули воспользоваться в 1906 и 1909 годах, но особенно характерен повод вмешательства в 1917 г. На острове у власти стояло консерва-

тивное правительство, проводившее интересы Соединенных Штатов. Предстояли новые выборы, предварительные данные показывали, что победу одержат либералы. Неожиданно выборы принесли победу консервативному президенту. Либералы обратились к верховному суду Кубы, который констатировал, «что избирательные урны были открыты до официального подсчета, избирательные листки подменены, а в отдельных местностях избиратели, принадлежащие к либералам, просто силой оружия не допускались к урнам».

Были назначены новые выборы, но тут вмешались Соединенные Штаты, это при архи-демократическом Вильсоне, и указали, что они не потерпят правительство незаконно избранного (?) и всякие революционные поступки не будут терпимы» (стр. 183, 184 укр. соч.). Придравшись к последовавшему потом вооруженному выступлению отчаявшихся в конституционных методах либералов, Соединенные Штаты послали войска в Кубу. Дальше все пошло, как в соответствующих случаях. Было выбрано подходящее правительство, назначен американский финансовый советник, обследовавший положение, и затем в 1920 г. Соединенные Штаты приняли ряд финансовых мероприятий, передавших основные нити финансового хозяйства в руки Соединенных Штатов. Нужно еще добавить, что параллельно с этим финансовым оздоровлением Кубе был дан заем в 50 миллионов долларов.

Вот как рисуют авторы взаимоотношения между Соединенными Штатами и Кубой. «Теоретически Куба — суверенное государство, фактически — над экономической и политической жизнью Кубы господствует Нью-Йорк и Вашингтон. Контроль над Кубой почти целиком находится в руках Национального Сити Банка. Банк контролирует непосредственно «Всеобщую сахарную компанию», его директора контролируют «Объединенную железнодорожную компанию» и громадные сахарные плантации «Кубанской компании», а также другие многочисленные кубанские акционерные о-ва. В дополнение: 24 отделения Национал Сити Банка ссужают деньгами туземных плантаторов под обеспечение сахара по 10%» (стр. 196) и т. д.

Таким образом, здесь мы имеем систему финансового капитала в ее наиболее чистом виде!

Не лучшая участь постигла Филиппинские острова, которые во время испано-американской войны путем революционного выступления добились своей самостоятельности от испанцев только для того, чтобы через несколько лет попасть под протекторат Соединенных Штатов. Соединенные Штаты все время обещали Филиппинам независимость и, наконец, великий демократ Вильсон выступил на выборах в 1912 г. со следующей платформой: «Мы подтверждаем трижды объявленное демократами отрицательное отношение к политике империализма и колониальной эксплуатации на Филиппинах, или где бы то ни было. Мы являемся сторонниками немедленного объявления независимости Филиппинских островов, как скоро возможным станет организация устойчивого правительства».

Вопрос только заключался в том, что называть устойчивым правительством, и так как «определять» должны были Соединенные Штаты, что они, конечно, не торопились. Между тем интересы американского капитала на этих островах становились все более значительными. Уже в 1920 г. 135 акционерных о-в Соединенных Штатов были зарегистрированы на Филиппинских островах с капиталом в 1/2 миллиарда долларов. И когда в 1924 г. жители Филиппин напомнили недавно избранному президенту Кулиджу, что пора реализовать неоднократно данные обещания, Кулидж разразился длинным письмом, датированным 21 февраля 1924 г. Письмо



это представляет великолепный образчик политического лицемерия. Президент, например, считает, «что хотя филиппинский народ сделал чудесные успехи за последнюю четверть века, они не настолько богаты и опыты, чтобы взять на себя тяжелое бремя, которое легло бы на них при политической независимости. Их мировое положение таково, что без американского протектората у них появилось бы неограниченное искушение поддерживать многочисленные и дорого стоящие дипломатические представительства и ценные дорогие стоящие сухопутные и морские силы». После ряда подобных же аргументов президент заканчивает письмо следующим утешением: «Если же придет время, когда станет ясным, что независимость была бы лучше для народа Филиппин и если к тому времени филиппинский народ пожелает получить полную независимость, то не приходится сомневаться, что американское правительство и народ с радостью на это согласятся (Нью-Йорк, «Таймс», март 6, 1924 г., цитировано автором, стр. 208). Если перед нами не был бы официальный документ, то можно было бы подумать, что он вымышлен врагами американской демократической политики.

Характерный штрих для американской империалистической политики дает случай с покупкой Виргинских островов, принадлежавших до 1915 г. Дании. Еще задолго до войны Соединенные Штаты хотели купить этот остров, но по разным причинам это им не удавалось. Когда началась война, Соединенные Штаты боялись, что Дания принуждена будет уступить эти острова Германии, которая получит возможность постоянно угрожать Соединенным Штатам. Вот как описывает американский посол в Дании Иган в своей книге «Десять лет на германском фронте» (New-York 1914), покупку этих островов. «В середине 1915 г. было ясно, что мы не сможем оставаться вне войны». Посол был уполномочен начать переговоры о покупке. Когда начался разговор с датским министром, Иган подумал:

«Он, т. е. датский министр, попросит 50 миллионов. Он знает лучше, чем кто бы то ни был, что мы будем в войне с Германией в течение ближайшего года». Американский посол чувствовал головокружение при мысли о возможности потери Гибралтара и Караибии. Однако вместо 50 миллионов датский министр потребовал только 30 миллионов, прибавив, извиняясь: «Цена ужасная, я понимаю». На это посол быстро возразил: «Моя страна более щедрa, чем богата. Сделка должна быть заключена прежде чем...» Посол остановился, но датский министр понял значение этой паузы. В следующем году, несмотря на сильную оппозицию датского общества, беспокоряющегося за судьбу негритянского населения острова, сделка была совершена. И, как указывает цитированный выше посол, эта покупка была частью военной программы, подготовлявшейся Вильсонской администрацией (цитировано у автора, стр. 212—213).

Только что приведенный отрывок характерен в том отношении, что показывает, что Соединенные Штаты вступили в войну не неожиданно вследствие объявления беспощадной подводной войны Германией, а готовились уже к ней исподволь. Что касается судьбы населения Виргинских островов, то худшие предположения датского общества, конечно, оправдались. Пользовавшись до перехода к Соединенным Штатам всеми правами, негритянское население этих несчастных островов стало испытывать на себе все прелести американской политики по отношению к неграм.

Мы пропустили огромное число других эпизодов, приводимых автором: борьба за сферу влияния в Китае, участие в концессиях Турши, нефтяная политика в Мексике, оздоровление Никарагуа и т. д. Всюду мы встречаем одни и те же методы и приемы Соединенных Штатов

и, когда авторы затем переходят к краткому изложению плана Дауэса, несколько бросается в глаза, что план Дауэса не есть гениальное открытие генерала Дауэса, как многие себе представляют, а что это есть лишь «причесанный», слегка европеизированный «оздоровительный проект» из тех, какие неоднократно Соединенные Штаты навязывают многочисленным независимым вневропейским государствам. Та же система передачи контроля основных нервов страны: государственного банка и железных дорог в руки американского «советника», тот же «оздоровительный» заем, а затем постепенное прибирание к рукам промышленности, банков и торговых предприятий. Только первую часть работы, наиболее «грязную и неблагодарную» — поставить страну на колени и заставить ее «добровольно» подписать договор, Соединенные Штаты на этот раз предоставили Союзникам, и вот почему еще в глазах части германского народа Соединенные Штаты являются лишь благодетелями и благожелателями.

После всех фактов, приводимых авторами, не приходится сомневаться, что, если нужно было бы — Соединенные Штаты с меньшей жестокостью умиротворили бы Германию и заставили ее принять свои условия. Американский империализм не уступает по своей циничности, жестокости и аппетитам английскому или французскому. Это, по нашему мнению, является наиболее ценным выводом, который напрашивается при чтении этой книги...

Книга эта должна быть прочтена каждым европейским рабочим, ибо она познакомит его с истинным лицом американского дядюшки, и не приходится говорить, что книгу эту необходимо перевести на русский язык. К книге приложен ряд интересных документов и богатейшая библиография, дающая возможность желающим работать дальше над вопросами американского империализма.

Одновременно с этим к книге приложен ряд копий банковских контрактов, концессионных договоров и других интересных источников. Мировая литература об империализме обогатилась новой хорошей марксистской работой.

М. Изольсон.

# Издательство „ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДАНИЯ.

НАЗВАНИЕ ИЗДАНИЙ.	ЦЕНА		НАЗВАНИЕ ИЗДАНИЙ.	ЦЕНА
	р.	к.		
Бухарин, Н.—Международная буржуазия и Карл Каутский, ее апостол . . . . .	—	45	Алексей Толстой.—Голубые города	—
Бухарин, Н.—Цезаризм под маской революции . . . . .	—	30	С. Зорин.—Тяжелый год . . . . .	—
За линию партии.—Сборник статей из „Правды“ к XIV парт'езду Куйбышев.—К вопросу о производительности труда . . . . .	1	50	Андрей Соболев.—Рассказы о голубом покое . . . . .	—
Быт и волаодень.—Сборник статей под ред. А. Слепкова . . . . .	—	15	А. Воронский.—Об искусстве . . . . .	—
Семенов.—Китай в борьбе с империализмом . . . . .	—	30	Ефим Зоуля.—Лимчада . . . . .	—
Вансов.—Семь дней, которые потрясли Японию . . . . .	—	50	Ив. Касаткин.—Тюли-Люли . . . . .	—
Безыменский.—Пути-дороги (поэма)	—	25	Вл. Лидин.—Горит земля . . . . .	—
Дж. Т. Мерфи.—Новый этап в английском рабочем движении . . . . .	1	—	Павел Низовой.—Среди гор . . . . .	—
З. Осинский.—Мои блуждения о Соединенных Штатах Северн. Америки . . . . .	—	35	В Четвериков.—Волшебное кольцо	—
Против упадочничества, против „есенищины“ . . . . .	—	40	Павел Сухотин.—Лисьи норы . . . . .	—
			Жюль Ромен.—Белое вино набережной ла Вильетт . . . . .	—
<b>Библиотека РАБСЕЛЬКОРА.</b>			Новиков Прибой.—Лишний . . . . .	—
Бухарин, Н.—О рабкоре и селькоре . . . . .	—	50	Лариса Рейснер.—В стране Гинденбурга . . . . .	—
Борисов.—Как организовать рабкоров	—	30	А. Яновлев.—Мужик . . . . .	—
Грунт.—Как и о чем писать рабкору	—	30	А. Зорич.—Буква закона . . . . .	—
Зиновьев.—Новый великий почин . . . . .	—	15	Иосиф Уткин.—Повесть о рыжем Моэтэле, господине инспекторе, равнине Исаеи и комиссаре Влох . . . . .	—
Пилцная и Зуев.—Кружок рабкоров и стенная газета . . . . .	—	30		
Борисов.—За правду . . . . .	—	30	<b>Библиотека „ПРЕДПРИЯТИЯ“</b>	
Сосновский.—Дымовка . . . . .	—	30	Наумов, проф.—Уход за нефтяными двигателями . . . . .	—
Партия, рабкор и селькор.—Сборник статей . . . . .	—	40	Соколов.—Закалка инструментов	—
Итоги и перспективы рабселькоровского движения. (Стенографический отчет 2-го Всесоюзного совещания рабкоров) . . . . .	1	50	Троицкий.—Шихтовка, правка и уход за вагранкой . . . . .	—
Стенографический отчет 3-го Всесоюзного совещания рабселькоров . . . . .	—	50	Гузевич.—Как измерять изделия при обработке на станках . . . . .	—
Ив Богвой.—Под обстрелом . . . . .	—	30	Гузевич.—Как устанавливать на токарный станок изделие из инструмент . . . . .	—
Н. И. Бухарин.—Партия и руководство рабселькорами . . . . .	—	30	Рыбари.—Ковка и штамповка . . . . .	—
			Рыбари.—Рецепты для мастеров . . . . .	—
<b>Библиотека „ПРОЖЕКТОРА“.</b>			<b>Крестьянская библиотека.</b>	
Всеволод Иванов.—Рассказы о себе . . . . .	—	25	Сборник рассказов.—Девичий век . . . . .	—
Н. Крупская.—Воспоминания . . . . .	—	25	Борисов.—Свинья—крестьянская копия . . . . .	—
Пантел. Романов.—Крепкий народ . . . . .	—	25	Ряницын.—Как получить землю в пользование . . . . .	—
Л. С. Сосновский.—Советская новь . . . . .	—	25	Борисов.—Спасайте поля от вредителей . . . . .	—
			Волганин.—Переделы и выделы земли . . . . .	—
			Волганин.—Как вести спорные земельные дела . . . . .	—
			Киселев.—Права наследников . . . . .	—

Все цены указаны с пересылкой.

Заказы и деньги направлять: Издательству „ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“ М. Москв. кассий. 3/4, и во все провинц. отд. „ПРАВДА“

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА  
на

## ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ:



### „ПРАВДА“

Орган ЦК ВКП(б).

Подписная цена:

1 мес.—1 р., 3 мес.—2 р. 85 к.

### „КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА“

Орган ЦК и МК ВЛКСМ.

Подписная цена:

1 мес.—75 к., 3 мес.—2 р. 15 к.

### „БЕДНОТА“

Издание ЦК ВКП(б).

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

1 мес.—70 к., 3 мес.—2 р.

### „ПРОЖЕКТОР“

Двухдольный иллюстрированный художественный и сатирич. журнал.

„ПРОЖЕКТОР“ печатается в несколько красок, каждый номер включает 32 стр. иници большого формата и содержит стихи, очерки, рассказы и свыше 60 художеств, сников, рисунков и карикатур.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

1 мес.—50 к., 3 мес.—1 р. 40 к.

Цена отд. номера—30 к.

### „БОЛЬШЕВИК“

Политико-экономический двухдольный ЦК ВКП(б).

„БОЛЬШЕВИК“ предназначен для широких слоев партийного актива.

Подписная цена:

1 мес.—60 к., 3 мес.—1 р. 75 к.

Цена отдельного номера 40 к.

### „ДЕРЕВЕНСКИЙ КОММУНИСТ“

Двухдольный орган ЦК ВКП(б). Журнал ставит своей задачей быть помощником коммунистам-руководителям в деревне и способствовать политическому росту деревенских активных работников.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

1 мес.—25 к., 3 мес.—75 к.

Цена отдельного номера—15 к.

### „РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКИЙ КОРРЕСПОНДЕНТ“

Двухдольный руководящий орган рабкоров, селькоров и военкоров.

Совещания рабкоров, съезд заведующих Отд. Печати, совещания редакторов неизменно рекомендовали „Рабоче-Крестьянский Корреспондент“ как необходимый журнал для каждого редактора, для каждого рабкора и селькора.

Подписная цена: 1 мес.—50 к., 3 мес.—1 р. 40 к.

Цена отдельного номера—30 к.

### „Под Знаменем Марксизма“

Ежемесячный философский и политико-экономический журнал „Под Знаменем Марксизма“ предназначается для активистов, преподавателей и слушателей комвузов, вузов и рабфаков, марксистских кружков и т. п.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

1 мес.—1 р. 50 к., 3 мес.—4 р. 25 к.

Цена отдель. номера—1 р. 50 к.

### „ПРЕДПРИЯТИЕ“

Орган красных директоров. Большой ежемесячный иллюстрированный производственно-экономический и технический журнал.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

1 мес.—1 руб., 3 мес.—2 р. 85 к.

Цена отдельного номера—1 р. 25 к.

### ПОДПИСКА в гор. Москве ПРИНИМАЕТСЯ:

1) В Главной Конторе „Правды“—М. Черкасский, 3/4. 2) На почтамте и во всех городских почтовых отделениях. 3) Каждый письменный заказ, кроме того, можно возложить по тел. 2-90-22 и 2-89-24 или в любое почтовое отделение и вызвать к себе на дом сотрудника для приема подписки или же, наконец, просто написать заказ и опустить его без марки в любой почтовый ящик. Подписка будет принята, а за деньгами к вам явится письмомоноец.

Подписка в провинции принимается всеми отделениями и представительствами „Правды“.